



# А.Э. Штекли

# УТОПИИ

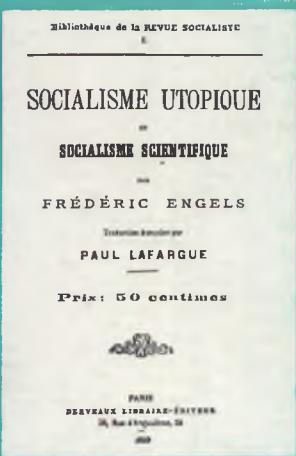
# и

# СОЦИАЛИЗМ

·Наука·



Задача исследования — попытка разрешить давний спор: где граница, отделяющая социализм от его "предыстории". Возникшие на заре XIX в. собственно социализм и коммунизм — выражение борьбы разнообразных социальных сил с негативными последствиями капиталистического способа производства и господства буржуазии, а не просто призывы к "справедливости" и "общности имущества". Здесь главное отличие социализма от предшествовавших ему социальных утопий. Автор по-своему подходит ко многим утопистам — как известным читателю, так и ему неведомым. Он не считает возможным видеть в Т. Море "основоположника утопического социализма" и расценивать социализм чуть ли не как синоним утопии.



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

А.Э.Штекли

УТОПИИ  
и  
СОЦИАЛИЗМ



МОСКВА НАУКА

1993

63.3(0)  
Ш89

Ответственный редактор  
К. М. АНДЕРСОН

Рецензенты:  
доктор исторических наук А. А. КИСЛОВА  
доктор исторических наук Н. Ю. КОЛПИНСКИЙ

### Штекли А. Э.

Ш89 Утопии и социализм.—М.: Наука, 1993.—272 с.  
ISBN 5-02-009727-6

Задача исследования — попытка разрешить один из спорных вопросов историографии: где проходит граница между социализмом и его «предысторией». Автор полагает, что возникшие на рубеже XVIII и XIX вв. собственно социализм и коммунизм — идеяное выражение реальной борьбы разнообразных социальных сил с негативными последствиями торжества капиталистического способа производства и господства буржуазии, а не просто туманные призыры к «справедливости» или «общности имущества». В этом главное отличие собственно социализма от предшествовавших ему социальных утопий. Автор, специалист по общественной мысли XVI—XVII вв., по-своему подходит ко многим утопистам — как и известным русскому читателю (Мор, Мюнцер, Морелли, Бабеф и др.), так и ему неведомым (Каспар Штюблин). Он не считает возможным видеть в Томасе Море «основоположника утопического социализма» и расценивать социализм чуть ли не как синоним утопии. В книге показаны истоки многих заблуждений нашей историографии.

Для всех интересующихся историей.

Ш 0503010000-305  
— 29-93, I полугодие  
042(02)-93

ББК 63.3(0)

ISBN 5-02-009727-6

© А. Э. Штекли, 1993  
© Российская академия наук, 1993

## ВВЕДЕНИЕ

\*

Читатель, привлеченный в заголовке словом «утопия» и то ли из-за нынешних наших неурядиц, то ли под влиянием лицеприятных публицистов поверивший, будто «утопия» — чуть ли не синоним «социализма», может, не раздумывая, отбросить эту книгу. Автор сразу же признается, что всегда любил и любит тех утопистов, кто, не боясь насмешек, шел против течения и терпеливо искал путь, который позволил бы пробудить лучшие стороны человеческой натуры и противопоставить гармоничное общество жестокому миру частного интереса.

Да, именно великие утописты породили социализм, на смену им пришли философы, вселившие в рабочий класс ощущение собственной его силы. С тех пор социалистические идеи, многоликие и неумирающие, преображают, очеловечивая, современную цивилизацию, созданную неумолимой эффективностью капиталистического способа производства.

Замысел этой книги возник лет 15 назад, возник из неудовлетворенности состоянием нашей историографии, посвященной утопическому социализму, не столько качеством конкретно-исторических исследований (среди них есть очень стоящие работы), сколько их странной «теоретической оснащенностью».

Известный тезис об утопическом социализме как одном из источников марксизма, наложившись на распространенные историографические штампы, принес плоды двоякого рода. С одной стороны, расширительное толкование понятия «утопический социализм», когда его родоначальником объявлялся Томас Мор, узаконивало и поощряло изучение утопистов XVI—XVIII вв., оправдывая их появление в ценной серии «Предшественники научного социализма», а с другой — вызвало полнейшую путаницу и бесконечные споры о том, когда возник социализм и что отличает его от других социальных доктрин.

Можно было бы написать целое исследование о баталиях вокруг признаков «социалистичности», которые захватили многих наших историков и философов. Но это был бы скорбный труд; потому что велись, главным образом, битвы цитат; они доказывали лишь одно — чувство историзма присуще далеко не всем.

Это поветрие долгие десятилетия иссушало наши общественные науки, и не только в силу «неблагоприятных» объективных

причин. Общедоступная метода, когда произвольно усеченные, намеренно препарированные или просто вырванные из контекста высказывания основоположников были превращены в вечные цитаты, пригодные на все случаи жизни, причинила как изучению социалистических идей, так и самому марксизму вред труднопоправимый. Ирония истории на сей раз проявилась весьма своеобразно: судьбой сочинений энциклопедически образованных мыслителей распоряжались порой люди далекие от науки и малознающие.

Но этот невеселый вывод не снимает доли ответственности и с тех, кто, принимая «условия игры», довольствовался подходящей цитатой там, где не грех было и задуматься. Поэтому многое в истории социалистических учений нуждается в новых исследовательских подходах. Даже о времени возникновения утопического социализма, к примеру, историки-марксисты держались совершенно различных взглядов: одни находили его в древнем мире и средних веках, другие начинали с эпохи первоначального накопления капитала, третьи — с Английской революции, четвертые — с Просвещения, пятые полагали, что социализм появился лишь на заре XIX в. Такой разнобой мнений возможен только тогда, когда в само понятие вкладывают различный смысл. А если еще учесть, что противоборствующие в полемике авторы прибегали к помощи зачастую почти одних и тех же цитат из основоположников, то состояние этой недавно столь еще важной отрасли нашей исторической науки говорит за себя.

Много лет назад, когда книга об утопии Кампанеллы<sup>1</sup> была уже в печати, начались первые сомнения. Разделяя господствовавшие в советской историографии представления, мы тоже, имея в виду Томаса Мора и Кампанеллу, писали об утопическом коммунизме XVI—XVII вв., хотя и видели, что содержание их утопий разительно отличалось от утопическо-коммунистических идей начала XIX в.<sup>2</sup> Стало ясно: тезис о Томасе Море как родоначальнике утопического коммунизма требовал от его сторонников такого «косовременивания» «Утопии», с которым историку-медиевисту невозможно было согласиться. Так появилась необходимость специально изучить ряд определяющих для мировоззрения Мора проблем. А это совпало со значительным оживлением и за рубежом, и у нас<sup>3</sup> исследований, ему посвященных.

<sup>1</sup> См.: Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. М., 1978.

<sup>2</sup> См.: Штекли А. Э. «Утопия» Томаса Мора и социалистическая мысль // Коммунист. 1978. № 18. С. 74—75.

<sup>3</sup> Монография И. Н. Осиновского «Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация» (М., 1978), как и другие его статьи и публикации, сыграла тут важную роль.

В разных странах люди самых различных взглядов проявляли и проявляют большой интерес к «Золотой книжечке» и судьбе ее творца. Одни видят в Томасе Море великого мыслителя, провозгласившего, что в обществе, основанном на частной собственности, не может быть ни подлинной гражданской жизни, ни торжества высоких принципов гуманизма; другие славят его как воителя с приверженцами Реформации и мученика, канонизированного католической церковью; третьи вспоминают о нем как о «человеке во все времена», сложившем голову за верность собственным убеждениям. У нас издавна чтут Мора: в Москве, у Кремлевской стены, высится обелиск, где начертано и его имя.

Хотя в нашей стране круг исследований творчества Томаса Мора значительно расширился, ряд важных вопросов, связанных с его наследием, нуждается в тщательной разработке. Речь идет среди прочего и о том, как оценивать место «Утопии» в общей истории социализма. Солидные справочные издания, говоря о Море, нередко прибегают к дефинициям, вызывающим настороженность. В «Философской энциклопедии» он предстает перед нами как «основатель утопического социализма», а в «Большой советской энциклопедии» он назван его «основоположником»<sup>4</sup>. Несмотря на широкое распространение подобных оценок Томаса Мора, оценок, ставших в известном смысле традиционными для нашей историографии, давно раздаются настойчивые возражения<sup>5</sup>.

Высокий ранг, в который возвели Томаса Мора, преисполняется иных авторов — уж чего греха тайти! — таким пиететом, что порой приносится в жертву объективность исследования. Культ Мора, гуманиста и святого, так пышно расцветающий ныне на Западе благодаря стараниям историков, философов и богословов, может вылиться в новую его разновидность, коль скоро мы вольно или невольно будем преуменьшать историческую дистанцию между «Утопией» и социализмом второй половины XIX столетия. Восторг перед находимыми у Томаса Мора всякого рода «предвосхищениями» «коммунистического (или социалистического) образа жизни» столь же мало помогает делу, как и ретроградное стремление «прояснить» всю «Утопию» ссылками на отцов церкви или Фому Аквината.

Идеализация Томаса Мора — его гуманистических взглядов, религиозных сочинений, служебной карьеры, связей с двором, роли в борьбе со сторонниками Реформации — только мешает углублению исследований. А восторженно-апологетическое отношение

<sup>4</sup> ФЭ. Т. 3. С. 497; БСЭ. 3-е изд. Т. 16. С. 557.

<sup>5</sup> См., например: Володин А. И. Утопия и история: Некоторые проблемы изучения домарксистского социализма. М., 1976.

к «Утопии», когда и высказанные там иные, достаточно сомнительные рецепты, находят безусловное оправдание в качестве одного из гениальных «предвосхищений»<sup>6</sup>, не дает возможности увидеть подлинный смысл этого замечательного произведения.

Интерес к эпохе Возрождения растет изо дня в день. Но пора, пожалуй, умерить восторги по поводу ренессансного «гуманизма вообще». Настало время трезво оценить различные его проявления, взвесить несомненные достоинства, столь притягательно сверкающие на фоне «феодальной мглы», и непредубежденно, без всякой попытки что-то затушевать или приукрасить, разобраться в присущих различным направлениям гуманизма «родимых пятнах» эпохи.

Мы уже почти привыкли к однобокому подходу: наследие древних помогало-де гуманистам бороться с аскетическим мировоззрением и помогало, стало быть, теснить «тьму средневековья». Неплохо несколько сдержать наш энтузиазм и признать: осваивая античное наследие, гуманисты воспринимали не только самые что ни на есть «прогрессивные» идеи, иные из них не оставались подчас глухи к весьма дремучим представлениям, которые, и будучи воскрешенными, звучали как анахронизм. Один, отменный знаток Платона, доказывал необходимость учредить идеальное рабовладельческое государство, другой, ссылаясь на Аристотеля, предлагал совершенно отстранить ремесленников, занятых «механическими искусствами», от всякого участия в политической жизни города. Вино, которое вливали в старые, античные мехи, не всегда было новым вином.

В нашей историографии еще недавно была заметна известная недооценка идейного материала, влиявшего на утопистов, недооценка, выражавшаяся в отвлеченно-уважительных отзывах и крайнем равнодушии к конкретному анализу. Здесь,вольно или невольно, сыграла определенную роль и тенденция всячески сближать представления XVI—XVII столетий с идеями социализма XIX в. Об идеалах бесклассового общества, равенства, общности имущества, уничтожения эксплуатации подчас говорили и говорят в одних и тех же выражениях, независимо — идет ли речь о Томасе Море, Морелли, Вейтлинге или Дезами, — употребляя эти понятия так, словно их содержание не менялось на протяжении веков. У нас, к примеру, долго не было ни одной работы, где бы специально ставили вопрос о том, поборником какого равенства был автор «Утопии».

Та историографическая волна, поднятая клерикальными авторами, которая все выше и выше возносит «Утопию» как сочи-

<sup>6</sup> См., например: Застенкер Н. Е. Будущее по Томасу Мору // Будущее науки: Международный ежегодник. М., 1976. Вып. 9. С. 283.

нение католического святого, как некий «манифест христианского гуманизма»<sup>7</sup>, уже почти накрыла или по крайней мере отбросила в сторону труды историков, любивших чуть ли не в каждом утопийском установлении видеть по-старинке влияние Платона. Стремление во что бы то ни стало «христианизировать» «Утопию» отодвигает порой на второй план даже очевидные свидетельства о ее языческих корнях.

Желание во что бы то ни стало «подтянуть» Мора хотя бы к социалистическим представлениям первой половины XIX в. неизбежно ведет к тому, что его отрывают от почвы, которая его породила. Все попытки приукрасить Мора, сделать его более «современным» неминуемо нарушают основной принцип подлинного исследования — принцип историзма, а излишнее усердие в отыскании «предвосхищений» порой обворачивается столь опасной для историка « дальновозоркостью», когда он видит, как та или иная мысль развивалась в веках, но не замечает, что собой представляла она в эпоху, им непосредственно изучаемую.

Многие, в том числе и автор этих строк, писали, что Мор-де отринул как феодальные порядки, так и зарождающийся капитализм. Тезис сей выглядит эффектно, однако его слабость в том, что постижение Мором-капиталистических отношений принимается как нечто само собой разумеющееся, когда, по правде говоря, сие и требуется доказать. Среди историков нередки преувеличения относительно того, куда направлено острье критических высказываний автора «Утопии». Нет оснований, к примеру, соглашаться с мыслью, будто Мор проник в сущность капиталистического способа производства.

Великие неурядицы, вызывавшие страстное возмущение Мора, порождались зачастую не злодействами английских капиталистов, а своекорыстием феодалов, ориентировавшихся на фландрский рынок. Бродяжничество, например, как отмечалось еще в «Немецкой идеологии», «было тесно связано с распадом феодализма»<sup>8</sup>.

В своем стремлении к абсолютизму королевская власть форсировала роспуск феодальных дружины и тем множила ряды экспроприированных. «Крупные феодалы,— писал Маркс в «Капитале»,— стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно более многочисленный пролетариат, узурпировав общинные земли и согнав крестьян с земли, на которую последние имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы. Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландрской шерстяной

<sup>7</sup> Prévost A. Thomas More et la crise de la pensée européenne. Р., 1969. Р. 105.

<sup>8</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 56.

мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть. Старую феодальную знать поглотили великие феодальные войны, а новая была детицем своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил. Превращение пашни в пастище для овец стало лозунгом феодалов<sup>9</sup>.

Об этих словах необходимо помнить, чтобы не переоценивать важность «Утопии» как свидетельства будто бы очень значительного продвижения Англии по капиталистическому пути. Грешно наделять Мора такой исторической прозорливостью, которой он не мог обладать: до проникновения в сущность капиталистического способа производства должны были миновать три с половиной столетия.

Чем дольше занимались мы «Золотой книжечкой», пытаясь понять своеобразие начертанного там «наилучшего государственного устройства», тем сильнее росло несогласие с модернизаторской его интерпретацией и желание разобраться, как получилось, что именно она стала у нас почти общепринятой.

Не будет особым преувеличением, если мы скажем, что представление об «Утопии» как первом социалистическом произведении нового времени<sup>10</sup>, произведении, которым начинается утопический социализм, было — а в известной мере остается и сейчас — тормозом для всестороннего изучения «Золотой книжечки». Но не менее важно другое: тезис этот, постоянно повторяемый, существенно затруднил разработку и теоретических проблем истории социалистических учений. Тем настоятельней ощущалась необходимость выяснить, откуда пошло такое отношение к Мору. Это, разумеется, не значило, что мы хотели бы умалить роль «Утопии» или поставить под сомнение ее новаторский характер. Однако многие идеи «Золотой книжечки» не очень-то вязались с приписанным Мору статусом «родоначальника утопического социализма».

Тогда возник вопрос: а кто пожаловал ему этот статус? В круг наших исследований вошел Карл Каутский. И тут надо было ответить: действительно ли он разделял взгляды Энгельса относительно начального этапа утопического социализма или пытался выработать собственную позицию? Источники, прежде для этой темы не привлекавшиеся<sup>11</sup>, позволили прояснить картину.

<sup>9</sup> Там же. Т. 23. С. 730.

<sup>10</sup> См.: Белов П. Т. О периодизации истории социалистических учений // Научный коммунизм. 1973. № 4.

<sup>11</sup> Kautsky K. Aus der Frühzeit des Marxismus: Engels' Briefwechsel mit Kautsky. Prag, 1935 (далее: Aus der Frühzeit des Marxismus); Friedrich Engels' Briefwechsel mit Karl Kautsky. Zweite, durch die Briefe Karl Kautskys vervollständigte Ausgabe von «Aus der Frühzeit des Marxismus»/ Herausgegeben und bearbeitet von Benedikt Kautsky. Wien, 1955 (далее: Briefwechsel).

Однако не все было бесспорно и в понимании нами выдвинутой Энгельсом концепции. Мы проявили бы напрасное благодушие, если бы принялись уверять, что суждения Энгельса, относящиеся к «проблемам коммунистических идей» в XVI столетии и их связи с последующим «уравнительным коммунизмом», были изучены в нашей специальной литературе с достаточной полнотой. Многообразие проблем, возникающих при освоении этой части наследия Энгельса, и тем более различные подходы к их разрешению потребуют еще немало усилий.

Как общетеоретические положения, обосновывающие материалистическое понимание истории, так и конкретные публикации Маркса и Энгельса<sup>12</sup> послужили отправным пунктом для марксистской историографии. В 80—90-е годы видные деятели германской социал-демократии, в том числе А. Бебель и В. Либкнехт, уделяли много внимания пропаганде исторических знаний. Наряду с книгами и брошюрами, носявшими популяризаторский характер, стали появляться и первые оригинальные исследования, основанные на самостоятельном изучении источников,— Меринга, Каутского, Бернштейна и др. Естественно, что в этих работах почетное место занимали темы, связанные с историей социализма и рабочего движения. О начальных этапах развития социалистической мысли особенно много писал Карл Каутский.

В развитии марксистской историографии у него были несомненные заслуги<sup>13</sup>. Но, воздавая должное Каутскому как одному из первых, кто стремился, и не без успеха (если сравнивать его работу с современными ему сочинениями о Томасе Море или революционных анабаптистах<sup>14</sup>), приложить разработанное Марксом и Энгельсом учение о материалистическом понимании истории к конкретному исследованию, мы обязаны тем не менее критично подходить к оценке защищаемых им тезисов.

В 20-е годы, когда советская историческая наука еще только складывалась, многие воззрения Каутского-историка получили широкое распространение. Отдельные его мысли, особенно это касается возникновения утопического социализма, несмотря на свою спорность, продолжали в той или иной форме влиять и на наших исследователей. Причем не всегда с достаточной четкостью проводится грань между воззрениями Энгельса на становление утопического социализма и соответствующими взглядами Каутского, некоторые из них воспринимаются иными авторами чуть ли не как развертывание идей, изложенных впервые в «Анти-

<sup>12</sup> См.: Маркс-историк. М., 1968; Энгельс и проблемы истории. М., 1970.

<sup>13</sup> См.: Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1977. С. 194—195.

<sup>14</sup> См.: Чистозвонов А. Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. М., 1964. С. 34.

Дюринге». Напомним, что часть книги была позже издана отдельно в виде брошюры, названной «Развитие социализма от утопии к науке». Эту работу, как и «Анти-Дюринг», Каутский, конечно, знал. Она появилась за десять лет до выхода в свет его книги «Томас Мор и его утопия»<sup>15</sup> и неоднократно переиздавалась<sup>16</sup>.

Тут тоже опасно изменить чувству объективности. Ведь Каутский написал о Томасе Море целую книгу, а у Энгельса «Утопия» едва упомянута. «В этой работе,— говорил Каутский о своей книге,— мне лишь редко представлялся случай ссылаться на сочинения Маркса и Энгельса... Поэтому считаю уместным напомнить здесь, что если мне удалось стать на новую и, быть может, интересную точку зрения, то я обязан этим марксистскому пониманию истории и методу»<sup>17</sup>. Согласимся, что при таких обстоятельствах простая констатация расхождений в оценке Мора была бы совершенно недостаточна. Надо думать, ушли в прошлое времена, когда само отнесение той или иной мысли к наследию Каутского пробуждало подозрительность: не пытается ли автор таким способом «дискредитировать» неугодное ему мнение? Поэтому судить о правоте или неправоте Каутского мы станем лишь после того, как постараемся объяснить и те стороны «Утопии», которые у нас либо оставляли в тени, либо предвзято толковали.

При уточнении подхода Энгельса к утопиям XVI—XVIII вв. тоже неожиданно обнаружились трудности. Возникли чисто текстологические вопросы, связанные с адекватностью перевода, комментария, с необходимостью сопоставлять чистовую редакцию с черновыми набросками. Изучение подготовительных работ к «Анти-Дюрингу» пролило новый свет на то, как менялись представления Энгельса об истории социализма.

Особенно нелегко давались попытки уразуметь, что понимал он под «аскетическим коммунизмом» и какое место отводил ему в общем развитии социалистических идей. Склонность придавать слишком большое значение ранним издательским планам Маркса и Энгельса в связи с «Библиотекой выдающихся иностранных социалистов» и соответствующему черновому наброску к «Анти-Дюрингу» привело к тому, что в первых публикациях на эту тему мы изрядно преувеличивали роль Морелли и Мабли. Впоследствии эту точку зрения пришлось пересмотреть.

<sup>15</sup> Thomas More und seine Utopie / Mit einer historischen Einleitung von K. Kautsky. Stuttgart: Verlag von J. H. W. Dietz, 1888. Есть рус. пер.: Каутский К. Томас Мор и его утопия. СПб., 1905. Книга переиздана в Петрограде (1919) и Москве (1924), ссылки даем по последнему изданию.

<sup>16</sup> См.: Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1974—1977. Ч. 1—2.

<sup>17</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 4.

От занятий «аскетическим коммунизмом» естественен был переход к той революционной литературе, которая проповедовала всеобщий аскетизм и грубую уравнительность. Здесь нас ждали новые текстологические загадки, хотя речь и шла о «Коммунистическом манифесте», документе, как известно, вниманием со стороны советских историков и философов не обойденном.

От правильного осмысления двух первых абзацев третьей главы III раздела «Манифеста» зависит весьма многое, если мы действительно заинтересованы в том, чтобы понять взгляды Маркса и Энгельса на возникновение социализма. И не только это. В названном отрывке мы видим ключ к постижению ряда проблем, чрезвычайно важных для всего социалистического развития Европы.

Минуло без малого полтора века с тех пор, как произошло знаменательное, хотя поначалу и не очень-то взволновавшее современников событие, которому суждено было в дальнейшем оказать большое влияние на судьбы мира,—передовая теория нашла опору в революционном пролетариате. Постепенное слияние марксизма с рабочим движением, как известно, одна из популярных тем наших исследователей. История Союза коммунистов (и, естественно, его непосредственного предшественника — Союза справедливых) была тоже на протяжении многих лет объектом постоянного изучения. Причем если одни авторы, а их большинство, преуменьшили силу и живучесть ряда принципов стихийного «грубого коммунизма», противодействовать которым, и не всегда с успехом, приходилось Марксу и Энгельсу, то другие, напротив, стремились безмерно превозносить наследие грубоуравнительных коммунистов.

Особенно ясно это проявилось в категоричном утверждении В. П. Волгина, сделанном в 1933 г. в статье «От Бабёфа к Марксу»: «В истории революционного коммунизма предшественником марксизма по прямой линии является бабувизм»<sup>18</sup>. Значимость такой конъюнктурной установки усугублялась тем, что Волгин фактически отлучал самого Сен-Симона от утопического социализма<sup>19</sup>.

Хотя было высказано обоснованное недоумение, почему столь важный тезис о роли Бабёфа и 30 лет спустя приводился как бесспорный, без всяких комментариев<sup>20</sup>, прошло еще пять лет, а суждение Волгина по-прежнему оставалось вне научной

<sup>18</sup> Волгин В. П. Статьи и выступления. М., 1979. С. 66.

<sup>19</sup> См.: Волгин В. П. История социалистических идей. М.; Л., 1931. Ч. 2, вып. 1. С. 21.

<sup>20</sup> См.: Ципко А. С. Идея социализма: Веха биографии. М., 1976. С. 28—29.

критики даже в специальном историографическом труде<sup>21</sup>. Сейчас это особенно бросается в глаза.

Обращение к корням — знамение времени. По отношению к истории марксизма это не менее важно, чем по отношению к недавнему нашему прошлому. Многие вопросы, вызывающие ныне такой интерес или, точнее говоря, обостряющие неизбывную боль, имеют далекие истоки. Почти сто пятьдесят лет назад немало людей в Европе, грезивших о коммунизме как светлом будущем человечества, мучительно думали над вопросами, которые можно уже назвать вечными, хотя бы по их непрестанной актуальности. Созрело ли человечество для коммунизма<sup>22</sup>? Должен ли его установлению предшествовать длительный период, в течение которого пролетариат обязан самого себя сделать способным к господству<sup>23</sup>? Требует ли провозглашение «строя общности» долгого предварительного воспитания, духовного и нравственного<sup>24</sup>, или главное — захватить власть любой ценой и «ввести коммунизм» с помощью гильотины?<sup>25</sup>

Признавая правоту возможного упрека в некой фрагментарности исследования, не станем вздыхать об ограниченном объеме книги. Мы поймем читателя, которого рассердит обилие «малозначительных» деталей, когда так ждешь широчайших обобщений! Зачем, к примеру, выискивать, как тот или иной отрывок «Манифеста» либо «Анти-Дюринга» передавали в разных изданиях? Здесь обнаруживается не авторская расточительность, а стиль работы. Показать, как из года в год целеустремленно «революционизировали» переводы, не менее важно, чем с молодецкой удастью крушить фундаментальные историографические концепции, не имея охоты вникнуть в их суть.

Работа над книгой шла тяжело и долго. Писалась она и в годы, когда даже отдельные поправки к переведам основоположников вызывали подчас недовольство, если не подозрения, писалась и тогда, когда недавние активные деятели «единого социалистического лагеря» спешили отречься от социализма как от

<sup>21</sup> См.: Дунаевский В. А., Кучеренко Г. С. Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков. М., 1981. С. 51.

<sup>22</sup> См.: Союз коммунистов — предшественник I Интернационала: Сб. документов. М., 1964. С. 56—59; Союз коммунистов, 1836—1849: Сб. документов. М., 1977. С. 74—77. Оба эти издания отличаются друг от друга и хронологическими рамками, и составом источников. Более полная публикация была осуществлена в ГДР: Der Bund der Kommunisten: Dokumente und Materialien. В., 1970—1984. Bd. 1—3. (далее: Der Bund der Kommunisten).

<sup>23</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 582.

<sup>24</sup> См.: Карл Шаппер об общности имуществ // История социалистических учений, 1989. М., 1989.

<sup>25</sup> См.: Союз коммунистов — предшественник I Интернационала. С. 317; Der Bund der Kommunisten. Bd. 2. S. 451.

утопии, а журналисты, вдруг прозревшие по дозволению свыше, принялись с упоением возносить осанну прелестям рынка и свободе конкуренции. Завершалась книга в обстановке, когда сильней и сильней входила в моду проповедь пребывавших прежде под запретом разнообразных учений, от древних верований и «оккультных наук» до психоанализа, экономического либерализма и экзистенциалистского мировосприятия. Только идея социализма все чаще оказывалась на положении Золушки, к тому же громкий хор, звучавший с газетных и журнальных страниц, норовил обвинить ее в чужих грехах.

Но пройдет и это, как сказал мудрец.

Подобные сетования смахивали бы на брюзжание, если бы не диктовались глубокой убежденностью: подлинный, а не казенный интерес к Марксу и Энгельсу, как и к социалистической мысли вообще, несмотря на заупокойные речения иных публицистов, в нашей стране еще впереди.

Долгие годы среди рассуждавших об утопическом социализме (в их числе был и пишущий эти строки) часто встречался такой штамп: повсеместный рост интереса к истории социалистических учений объясняется, дескать, большими успехами стран социализма. Не станем перевертывать трафарет, но все-таки задумаемся: если в понимании текста допущены досадные промахи, то справедливо ли отрекаться от авторов, когда ненадежны переводы и торопливы толкователи? С такого рода сомнений и начинается настоящая наука: любознательные люди, помня об ошибках, обращаются к подлиннику.

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБЫ В «БЕСКЛАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ»

\*

Уходящее столетие теперь нередко называют веком расцветавших и несбытийных утопий. Пусть политологи тешат себя верой, что им довелось жить в эпоху торжества здравого смысла, практицизма и возвращения к «цивилизованности». Медиевист, привыкший вчитываться в старые и скучные тексты, не ощущая своей близости к «эпицентру информационного взрыва», не станет философствовать о судьбах мира — ему правильно бы понять хотя бы то немногое, чему были отданы долгие годы труда. Век утопий? Он предпочтет, возможно, внести корректив: век изучения утопий. Никогда еще в историографии утописты, в том числе и Томас Мор, не изучались с таким размахом.

Вокруг «Утопии» ведутся непрестанные споры. Ею восторгаются и ее хулят. Создатель «Золотой книжечки» представил современникам и потомкам высокий идеал бесклассового общества, убеждены одни. Он, твердят другие, и не помышлял ни о чем подобном: начертанный им образец — коммунистическое, примитивно-аграрное, классовое, если не сказать кафтовое, государство, где нет никакого равенства, где множество бесправных и достаточно узкий круг привилегированных. Дискуссии идут на основе одних и тех же текстов: все зависит от их отбора и tolkovания.

Разница в намерениях — кто-то стремится возвеличить Томаса Мора, а кто и разоблачить его — заставляет подчас забывать не только об объективности, но и о том, что «Утопию» не постычь, если оторвать ее от почвы, на которой она родилась.

«С тех пор как на историческую сцену выступил капиталистический способ производства, — отмечал Энгельс, — взятие обществом всех средств производства в свое владение часто представлялось в виде более или менее туманного идеала будущего как отдельным личностям, так и целым sectам. Но оно стало возможным, стало исторической необходимостью лишь тогда, когда фактические условия его проведения в жизнь оказались налицо. Как и всякий другой общественный прогресс, оно становится осуществимым не вследствие осознания того, что существование классов противоречит справедливости, равенству и т. д., не вслед-

дствие простого желания отменить классы, а в силу известных экономических условий»<sup>1</sup>.

Авторы, утверждающие, будто Томас Мор нарисовал идеал бесклассового общества, не только закрывают глаза на многие характерные черты «Утопии», но и лишают ее создателя неотъемлемого права быть сыном своей эпохи. Представление о бесклассовом обществе — если иметь под этим в виду не сказки о стране молочных рек или миф о Золотом веке, не тоску о безвозвратно утраченном прошлом, а представление о будущем, которое исходит из наличных тенденций, — исторически обусловлено развитием крупного машинного производства и, естественно, при надлежит совсем другому времени.

«Коммунистический строй, который показан Мором как строй,— пишет В. П. Волгин,— осуществленный на неведомом острове Утопия, и он, и сами утопийцы считают наилучшим потому, что он наиболее разумен и целесообразен с точки зрения земных интересов, земного счастья людей. Природа, говорит Мор, призывает людей ко взаимной поддержке для более радостной жизни. Законы о распределении должны быть построены на основах справедливости, обеспечивающих людям совместную радостную жизнь. Так принципы гуманизма, не осуществимые при классовой структуре общества, находят у Мора новое и исторически плодотворное развитие в форме коммунистической, в обществе бесклассовом»<sup>2</sup>.

Английский историк-марксист А. Л. Мортон отстаивает аналогичную точку зрения: в утопийском обществе «отсутствовала эксплуатация, т. е. оно было бесклассовым. Следует сказать несколько слов о том, что может показаться тут противоречивым. Во-первых, существовали власти разных рангов, вплоть до князя. Однако они отнюдь не составляли класса или касты. Должностных лиц выбирали из среды наиболее способных философов, а те, в свою очередь, избирались народом за свои таланты. Они не пользовались привилегиями, их часто переизбирали. Воспитание, образование и возможности их детей были такими же, как и детей всех остальных граждан. Не было ни одной наследственной должности»<sup>3</sup>.

Далее, говоря о роли рабов в Утопии, Мортон отмечает, что «рабы Мора не образуют отдельного класса: во всяком случае, это не более, чем каторжники в современном обществе»<sup>4</sup>. Рабы, как полагает Мортон, существовали в Утопии по двум причинам.

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 225.

<sup>2</sup> Волгин В. П. Наследие утопического социализма // История социалистических учений. М., 1962. С. 9.

<sup>3</sup> Мортон А. Л. Английская утопия. М., 1956. С. 69.

<sup>4</sup> Там же. С. 70.

«Во-первых, Мор разрешает таким путем проблему преступности. В его время предание смерти было самым обычным видом наказания за большинство нарушений закона... Он считал нужным использовать преступников на всех неприятных и унизительных работах, которые ее свободные граждане выполняли бы неохотно (их свобода включала право выбора занятий) или же которые он сам считал нежелательным им поручать из-за сопряженной с ними опасности морального разврата... Во-вторых, эта система рабства положительно разрешала всегда возникающую перед социалистами проблему того, на ком в социалистическом обществе будет лежать выполнение неприятных обязанностей... Люди обращались в рабство отчасти в наказание, но более с целью перевоспитания»<sup>5</sup>.

Мортон почему-то разбирает лишь часть проблемы. Действительно, утопийцы, совершившие позорные деяния, обращались в рабство. Но ведь это была только одна и, как видно, не самая многочисленная категория рабов. Оставим в стороне пленных, захваченных с оружием в руках, допустим, что они находятся на положении невольников временно, до их выкупа вражеской стороной. Среди рабов Утопии наше особое внимание привлекут те, «кто у чужих народов обречен на казнь за совершенное им преступление. Людей этого второго рода гораздо больше (по сравнению с утопийцами, обращенными в рабство за злодеяния.—А. Ш.), так как многих из них утопийцы добывают иногда по дешевой цене, а чаще получают их даром. Рабы того и другого рода не только постоянно заняты работой, но и закованы в цепи...»<sup>6</sup>.

Неужели и преступников, приговоренных к смертной казни, утопийцы привозили к себе из чужих стран главным образом «с целью перевоспитания»? Не будем преувеличивать гуманность Мора. Его вера в добротность человеческой природы имела свои пределы. Он не был принципиальным врагом смертной казни. Если обращение в рабство не образумело злодеев и они «станут опять бунтовать и противиться, то их закалывают, как неукротимых зверей, которых не может обуздить ни решетка, ни цепь»<sup>7</sup>. В Утопии карали смертью даже тех, кто вторично был уличен в прелюбодеянии<sup>8</sup>. Все это заставляет думать, что уто-

<sup>5</sup> Там же. С. 69—70.

<sup>6</sup> *Mor T. Утопия* /Пер. с лат. и comment. А. И. Малеина. М.; Л., 1947. С. 162 (далее: Утопия). Когда упомянуты другие переводы, дополнительно указан год их публикации. Ссылки на латинский текст даются по йельскому изданию: *The Complete Works of St. Thomas More*. New Haven; L., 1965. Vol. 4. P. 185 (далее: Utopia).

<sup>7</sup> Утопия. С. 168—169; Utopia. P. 190.

<sup>8</sup> Там же. С. 168; Ibid. P. 190.

пийцы привозили к себе преступников-чужестранцев не из одних только человеколюбивых побуждений: спасая их от казни, они тем самым нашли способ избавить собственных граждан от «унизительных работ».

Не будем преувеличивать и заботы Мора о «перевоспитании преступников». Он думал скорее о выгодах, которые извлекает государство из их труда, и о назидательности наказания: «Обычно все наиболее тяжкие преступления караются игом рабства. По мнению утопийцев, оно является достаточно суровым для преступников и более выгодным для государства, чем спешить убить виновных и немедленно устраниТЬ их. Труд этих лиц приносит более пользы, чем их казнь, а с другой стороны, пример их отпугивает на более продолжительное время других от свершения подобного позорного деяния»<sup>9</sup>. Термин «перевоспитание» применительно к утопийским преступникам отдает модернизацией. Сам Мор говорил о «терпеливо сносящих рабство», о «краскании» тех, кого «укротило продолжительное страдание»<sup>10</sup>.

Утилитарный подход Мора особенно ясно виден из рассказа о порядках, будто бы существующих у полилеритов. Правда, в отличие от Утопии в их государстве не ликвидирована частная собственность. Последнее обстоятельство, похоже, необходимо Мору для того, чтобы развить витавшую в воздухе мысль о возможной попытке, хотя бы временной, заменить у англичан смертную казнь подъремным трудом обращаемых в рабство преступников<sup>11</sup>.

Используя невольников, государство извлекает выгоду, и не только моральную. Об этом же говорит и текст, касающийся «добровольного рабства»: «Иной род рабов получается тогда, когда какой-нибудь трудолюбивый и бедный батрак<sup>12</sup> из другого народа предпочитает пойти в рабство к утопийцам добровольно. К таким людям они относятся с уважением и обходятся с ними с неменьшей мягкостью, чем с гражданами, за исключением того, что налагаются несколько больше работы, так как те к ней привыкли. Если подобное лицо пожелает уехать, что бывает нечасто, то утопийцы не удерживают его против воли и не отпускают с пустыми руками»<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Там же; Ibid.

<sup>10</sup> Там же. С. 169; Ibid. P. 190, 192.

<sup>11</sup> Там же. С. 65—70; Ibid. P. 74, 76, 78, 80.

<sup>12</sup> Слово это вызывает затруднения у переводчиков. В подлиннике стоит «mediastinus» (т. е. раб, выполняющий черную работу). Применительно к «Утопии» лучше говорить о «чернорабочем».

<sup>13</sup> Утопия. С. 163; Utopia. P. 184. Ср.: Там же. С. 213; Утопия, 1978. С. 230, 275; Ibid. P. 240.

Вот эти «рабы-добровольцы», пожалуй, еще в большей степени, чем преступники, привезенные из-за границы, показывают, как осторожно следует подходить к «бесклассности» утопийского общества и отсутствию в нем эксплуатации. Пусть к «добровольным невольникам» утопийцы относятся «с уважением и обходятся с ними с неменьшей мягкостью, чем с гражданами», полноправными их никак не назовешь<sup>14</sup>. Даже если бы мы стали толковать «мягкость», к ним проявляемую, как право участвовать в общественной жизни (хотя текст и не дает повода для такого предположения), то и тогда бы они остались на положении людей «второсортных». На них «налагаются несколько больше работы, так как те к ней привыкли». У них, следовательно, более продолжительный рабочий день, чем у полноправных граждан, и, естественно, меньше досуга, если вообще есть, для духовных занятий, которым так дорожат утопийцы. Тоже в силу того, что «добровольные невольники» к ним не привыкли?

Труд собственных граждан, обращенных в рабство, а еще в большей степени труд вывезенных из-за границы злодеев и «добровольных невольников», был полезен и выгоден утопийскому государству. Там, назовем вещи своими именами, эксплуатация рабов такая же естественная часть жизненного уклада, как и все-поглащающее стремление к духовной свободе. Однако рискованно утверждать, что эксплуатация рабов была порождена исключительно экономическими соображениями. Невольники позволяли утопийцам устраниться от «унизительных работ» и заменять их более пристойной деятельностью.

Эту мысль можно обосновать следующим образом. Для того чтобы выкупать преступников, приговоренных в соседних странах к смерти, или вербовать наемников, утопийцы нуждались в золоте и серебре. Получали же они эти драгоценные металлы в результате торговли с соседними государствами. Но из чего состоял их экспорт? Из продуктов земледелия и животноводства. Сделав себе запас продовольствия на два года, утопийцы из остающегося «вывозят в другие страны большое количество зерна, меда, шерсти, льна, леса, червеца и пурпур, руна, воска, сала, кож и вдобавок еще животных»<sup>15</sup>. Известно, какое огромное значение придавали утопийцы сельскому хозяйству. Все они, мужчины и женщины, должны были им заниматься. От этой обязанности, подчеркивал Мор, «никто не избавлен»<sup>16</sup>.

Античная традиция вполне допускала, что в идеальном государстве благороднейшему делу, работе на земле, надлежало от-

<sup>14</sup> Frąckowiak M. Poglądy ekonomiczne Tomasza More. Poznań, 1967. S. 60.

<sup>15</sup> Утопия. С. 131; Utopia. P. 148.

<sup>16</sup> Там же. С. 111; Ibid. P. 124.

давать свои силы именно свободным людям. Невольники в сельскохозяйственном производстве Утопии существенной роли не играли. К каждому деревенскому хозяйству, состоявшему из не менее 40 взрослых мужчин и женщин, было приписано два раба<sup>17</sup>, но они—если судить по аналогии с тем, чем они занимались в городе,—работали на общественной кухне. Иными словами, все производимые в Утопии продукты земледелия и животноводства были *плодом труда свободных граждан*. Следовательно, золото, за которое выкупали в соседних странах приговоренных к смерти преступников, чтобы поручить им работы, недостойные свободного человека, приобретали, продавая сельскохозяйственные товары, произведенные самими утопийцами. Собственным трудом на земле они расплачивались за стойкое свое предубеждение.

В эпоху Мора, отмечает Мортон, «ежегодно вешали многие сотни людей за мелкие провинности. Самые незначительные проступки карали телесным наказанием, клеймением и выставлением у позорного столба. Мор сознавал бесчеловечность подобных кар и считал, что они способствуют лишь распространению преступности, которая возникала прежде всего из-за существовавших условий жизни. Он не верил во врожденную испорченность преступников. Не совсем логически Мор заключал, что преступность будет существовать и в Утопии<sup>18</sup>, и предлагал рецепт от этого зла»<sup>19</sup>. Последний заключался в использовании преступников на всех неприятных работах.

Мы решительно не видим никакой непоследовательности в позиции Мора, напротив, она целиком объясняется его взглядами на природу человека. Автора «Утопии» иногда причисляют к «антропологическим оптимистам»<sup>20</sup> — к тем, кто полагал, что достаточно создать идеальный общественный строй, дабы появился и идеальный человек. «Антропологические пессимисты», наоборот, утверждали, что человек зол по природе своей и в самых идеальных условиях будет проявлять себя соответствующим образом и приведет даже наилучшее государство к развалу. Мор, если уж пользоваться подобной терминологией, был, так сказать, «антропологическим реалистом». Он, пожалуй как никто в его время, различал социальные корни преступности

<sup>17</sup> Там же. С. 104; Ibid. P. 114.

<sup>18</sup> «Возможно, что он умышленно разрешал себе эту непоследовательность,— пишет в сноске Мортон,— чтобы иметь возможность проповедовать свои взгляды на надлежащие способы борьбы с преступностью». Если бы дело объяснялось только этим, возразим мы, Мор вполне мог бы удовлетвориться рассказом о карательной системе полилеритов.

<sup>19</sup> Мортон А. Л. Указ. соч. С. 69—70.

<sup>20</sup> Seibt F. Utopicia: Modelle totaler Sozialplanung. Düsseldorf, 1972. S. 29.

и верил, что справедливый общественный строй, ликвидировав собственность, лишит порок благодатной почвы, но не искоренит его целиком: преступлений станет неизмеримо меньше, однако они все-таки будут. К восторженным «антропологическим оптимистам» Мора не отнесешь. Он видел в преступности один из проклятых вопросов человечества и, рисуя образец наилучшего государственного устройства, естественно, не мог его обойти. Злодеи, нуждающиеся в наказании, породили, выходит, рабство в идеальном государстве?

О. Э. Лейст солидаризуется с точкой зрения Мортонса и спорит с Каутским, который считал, что рабство в Утопии возникло исключительно в силу существования «грязных, отвратительных работ».

«Томас Мор видит в рабстве не только способ исправления преступников,— пишет О. Э. Лейст,— но и средство решения проблемы «грязных работ». Если уж в Утопии появились рабы, почему бы не возложить на них исполнение тех работ, которые неприятны для утопийцев? А коль скоро преступления в Утопии редки, необходимы еще какие-то источники рабства»<sup>21</sup>.

Вопрос о «генезисе рабства» в Утопии представляет, на наш взгляд, особый интерес<sup>22</sup>. Так что же породило: появление рабов, т. е. обращенных в рабство за позорные деяния, вызвало необходимость занять их соответствующим делом или, напротив, существование занятий, не достойных свободного человека, потребовало появления рабов? Однако такая постановка вопроса носит сколастический характер. Мы не можем признать правоты ни за одной из этих точек зрения. В рабство обращали не потому, что существовали грязные работы, а потому, что и утопийцы совершали преступления. Мысль о том, что преступников следует наказывать рабством, весьма характерная для Мора, сложилась у него под прямым влиянием античной традиции. Он говорил об этом устами Гитлодея в первой книге «Утопии»: «Зачем нам сомневаться в пользе того способа кары за злодеяния, который, как мы знаем, был так долго в ходу у римлян, весьма опытных в управлении государством? Именно уличенных в крупных злодеяниях они присуждали к камено-

<sup>21</sup> Лейст О. Э. Вопросы государства и права в трудах социалистов-утопистов XVI—XVII веков. М., 1966. С. 42.

<sup>22</sup> Эдвард Суртц, один из выдающихся исследователей «Золотой книжечки», посвятил целую главу рабству в Утопии. Собранные им материалы из других источников многообразны и красноречивы, но обычная для Суртца «апологическая» позиция не делает убедительными его выводы. См.: Surtz E. L. The Praise of Wisdom: A Commentary on the Religious and Moral Problems and Backgrounds of St. Tomas More's «Utopia». Chicago, 1957. P. 258—269.

ломням и рудникам, держа их, кроме того, постоянно в кандалах»<sup>23</sup>.

Если бы в рабство обращали «более с целью перевоспитания», то в Утопии не существовало бы ни рабов-чужестранцев из выкупленных за границей злодеев, ни самого института «добровольных невольников».

Кара преступников и исполнение унизительных работ занимали важное место в представлениях Мора о наилучшем государстве. Он задумывался о возможных пределах искоренения злого начала в человеке и об отношении к труду. Связанными эти проблемы, прежде, вероятно, самостоятельные, стали только, когда идея «пользы» восторжествовала над идеей «возмездия», и Мор, отказавшись от заточения преступников в темницах, предпочел занять их на нужных обществу работах.

Однако сложность вопроса и заключается в том, что спасительный для иных авторов аргумент (раз уж в Утопии есть рабы — нуждающиеся в перевоспитании преступники, то почему не возложить на них все унизительные работы?) не исчерпывает темы. Рабы в Утопии продолжали бы существовать даже в том случае, если бы сенат постановил впредь карать преступников не принудительным трудом<sup>24</sup>, а, к примеру, тюремным заточением, поскольку обращение в рабство за совершенные преступления было всего лишь одним, но не единственным его источником.

Коль скоро мы были бы поставлены перед необходимостью ответить на вопрос о первой причине появления рабства в Утопии, то мы указали бы на характерное для утопийцев отношение к труду. Целый ряд занятий, по их представлениям, был унизителен для свободного гражданина, оставался «рабским занятием».

Появление рабов в «Утопии», на наш взгляд, не диктовалось настоящей экономической необходимостью: хозяйственная жизнь утопийцев в основе своей не претерпела бы существенных изменений, если бы вдруг с благословенного острова исчезли все невольники. Они нужны были Мору в силу других причин: не столько экономических, сколько философских, правовых и нравственных. При всей своей вере в добродеяние, заложенное в человеке, Мор все-таки думал, что и в идеальном государстве будут иногда совершаться тяжкие преступления.

<sup>23</sup> Утопия. С. 65; Utopia. P. 74.

<sup>24</sup> См.: Каутский К. Указ. соч. С. 235; Волгин В. П. История социалистических идей. М.; Л., 1928. Ч. 1. С. 145. В немецком издании книги Каутского говорится о «Zwangsarbeit». Это слово означает и «принудительный труд» и «каторжные работы» (Kautsky K. Thomas More und seine Utopie. S. 277).

Мы упростили бы картину, если бы не обратили внимания на некоторые любопытные детали. Государству, естественно, выгодней не казнить преступников, а заставить трудиться и приносить пользу. Их обращают в пожизненное рабство, заковывают в цепи, лишают свободы, но этого мало: работают они не наравне с остальными гражданами: удел их — самые непривлекательные и грязные работы. Они несут двойное наказание: потеряв свободу, теряют и возможность заниматься обычным своим ремеслом. Мор был излишне суров к утопийцам, преступившим закон? Дело здесь не в суровости и не в желании, чтобы их горькая доля служила назиданием другим, а в технически низком уровне производства и весьма характерном для Мора отношении к труду.

Многие гуманисты, восторженно рассуждая о прелести «свободных искусств» или «созерцательных наук», пренебрежительно отзывались о людях, зарабатывавших на жизнь ремеслом. Такие настроения были Томасу Мору совершенно чужды. Тем не менее для граждан его идеального государства физический труд — «телесное рабство»<sup>25</sup>. Пусть на целый ряд ремесел он не смотрит уже как на занятие, не достойное свободного человека, но в его глазах некоторые виды труда все еще остаются «занятиями для рабов».

Утопийцы не испытывают недостатка в рабочих руках, при избытке населения они учреждают колонии<sup>26</sup>. Приговоренных к смерти в чужих странах они «импортируют» не из трепетного ощущения святости жизни или нехватки работающих: раз в представлении утопийцев существуют «рабские занятия», то должны быть и рабы, занятые ими. Речь идет не просто о желании Мора избавить утопийцев от грязных и унизительных работ: предубеждение против некоторых из них глубоко укоренилось в его сознании. Почему те трудолюбивые «чернорабочие» из других стран, которых нужда заставляет искать пристанище в Утопии, тоже причисляются к рабам, хотя и «добровольным»? Не потому ли, что на них налагаются несколько больше работы, чем на самих граждан, «так как те к ней привыкли»?<sup>27</sup> И не в силу ли специфики их труда?

Что же в Утопии считалось занятием, достойным раба? Ответить на это с достаточной полнотой вряд ли удастся. Нельзя утверждать, будто все тяжелые и грязные работы были уделом невольников. Тексты, которые можно бы привести в подтверждение этой мысли, имеют весьма ограниченное значение. Речь идет об общественных столовых, где питались все жители сифогран-

<sup>25</sup> Там же. С. 120; Ibid. P. 134.

<sup>26</sup> Там же. С. 121; Ibid. P. 136.

<sup>27</sup> Там же. С. 163; Ibid. P. 184.

тии, т. е. 30 семейств, находящихся под началом выборного должностного лица — сифогранта. В его дворце и расположена трапезная. Там «все работы, требующие несколько большей грязи и труда, исполняются рабами. Но обязанность варки и приготовления пищи и всего вообще оборудования обеда лежит на одних только женщинах, именно, из каждого семейства поочередно»<sup>28</sup>. Из других отрывков известно, что всякому хозяйству в сельской местности придавали двух рабов. Помимо этого, когда утопийцы отправлялись в путешествие, они, если ехали и женщины, получали «повозку и государственного раба, чтобы погонять волов и ухаживать за ними»<sup>29</sup>.

Ряд «рабских занятий» относился к «ниве услугния». К такого рода труду причислялись и работы, претившие нравственным убеждениям утопийцев. Все, что касалось убоя животных, охоты, свежевания туш, поручалось рабам: «занятие охотой, как дело, не достойное свободного человека, утопийцы подкинули мясникам, а мы сказали выше, что это искусство у них исполняли рабы»<sup>30</sup>. В подобном отношении к охоте, противоречащем «спартанским» традициям античности, но типичном для многих гуманистов, сказалось влияние восточной философии, и в частности учения о метемпсихозе<sup>31</sup>.

К сожалению, никакими другими подробностями, касающимися того, чем непосредственно занимались рабы в Утопии, мы не располагаем. Однако из существующих упоминаний можно сделать кое-какие выводы. Одна из областей, где использовался труд рабов,— общественное питание. Во дворце каждой сифогрантии, по самым скромным подсчетам, питалось около тысячи человек. В сифогрантию входили 30 семейств, каждое состояло из 10—16 взрослых. Даже если считать, что детей было столько же (хотя рост населения Утопии и связанное с этим учреждение колоний показывают, что детей было значительно больше), то и тогда в любой из общественных трапезных питалось человек 800. Готовили пищу женщины «из каждого семейства поочередно». Естественно, что 5—8 женщин не могли обеспечить разнообразной и вкусной пищей почти тысячу человек. Основную тяжесть несли рабы, выполняя самые трудоемкие и грязные работы.

Ко всякому деревенскому хозяйству (минимум 40 взрослых мужчин и женщин) приписывали двух рабов. Вероятно, и здесь, по аналогии с городскими порядками, в их обязанности входило

<sup>28</sup> Там же. С. 125; Ibid. P. 140.

<sup>29</sup> Там же. С. 129; Ibid. P. 146.

<sup>30</sup> Там же. С. 150, 123; Ibid. P. 170, 138.

<sup>31</sup> Джордано Bruno, например, тоже называл охотников мясниками и палачами.

работать на кухне. Допустим, что в городе такой раб обслуживал не меньшее число взрослых (а ведь тут были еще и дети!), тогда на любой общественной кухне было занято по крайней мере десятка два рабов. В городе, состоящем из 6 тыс. семейств, объединенных в 200 сифогрантий, общее число невольников, работающих только на общественных кухнях, достигало бы 4 тыс. А городов в Утопии — 54, следовательно, лишь в городах было бы больше 200 тыс. одних «кухонных рабов». Пусть значительное число их «импортировано» из соседних стран. Но и в таком случае не слишком ли много для идеального государства злодеев, обращенных в рабство, и бывших смертников? Скорее всего, существенную часть работавших на кухнях составляли «добровольные невольники». Упоминание о том, что 'на них «налагают несколько больше работы», вполне согласуется с текстом, гласящим: во дворцах, где происходят общественные трапезы, «все работы, требующие несколько больше грязи и труда, исполняются рабами»<sup>32</sup>. Если мы остановимся на таком толковании, то избежим растерянности перед массой обращенных в рабство утопийцев и привезенных от соседей бывших смертников<sup>33</sup>. Их число придется существенно убавить за счет «добровольных рабов», приехавших с чужбиной.

В Утопии многие тяжелые и непривлекательные работы выполняют бутрески, религиозные подвижники, видящие смысл своей жизни в непрестанном труде и услужении ближним. Одни из них «ухаживают за больными, другие ремонтируют дороги, чистят рвы, чинят мосты, копают дерн, песок, камни, валят деревья и разрубают их, возят на телегах в города дрова, зерно и другое и не только по отношению к государству, но и к частным лицам ведут себя как слуги и усердствуют более рабов. Они охотно и весело берут на себя где бы то ни было всякое дело, неприятное, тяжелое, грязное, от которого большинство уклоняется по его трудности, отвращению к нему и его безнадежности. Другим они доставляют покой (в подлиннике: «обеспечивают досуг»). — A. Ш.), а сами находятся в постоянной работе и трудах и все же не порицают, не клеймят жизни других, но не превозносят и своей. Чем более несут они рабский труд, тем больший почет получают от остальных»<sup>34</sup>.

Мы поступили бы неосмотрительно, если бы на основании этого отрывка решили, будто все перечисленные в нем виды работ исполнялись либо подвижниками-добровольцами, либо

<sup>32</sup> Утопия. С. 125; Utopia. P. 140.

<sup>33</sup> Мор отмечал, что вторых гораздо больше, чем первых. См.: Там же. С. 162; Ibid. P. 184.

<sup>34</sup> Там же. С. 200; Ibid. P. 224, 226.

невольниками. Здесь слова «рабский труд» употреблены скорее в переносном значении как «тяжкий труд»<sup>35</sup>. Из других мест «Утопии» мы знаем, что сами граждане, а не рабы занимались земляными работами, заготовляли камень, ремонтировали дороги и дома, сводили леса и закладывали новые, обеспечивали города дровами и т. д.<sup>36</sup> Утоп, основатель государства, едва сойдя на берег, стал учить туземцев новому отношению к труду. Дабы те не считали земляные работы, которые должны были превратить их землю в остров, позорным занятием, он велел наравне с ними трудиться и своим воинам<sup>37</sup>.

Труд рабов, не затрагивая основ хозяйственного уклада, использовался главным образом на «ниве услужения»: благодаря чему утопийцы устраивались от некоторых занятий, например от тяжких и грязных работ на общественных кухнях. Последние были уделом невольников, так как сами свободные граждане не нисходили до них, считая для себя унизительными. Здесь, кстати, мы тоже видим характерную черточку, чтобы судить о «христианском гуманизме» Томаса Мора. Если в его идеальном государстве граждане с легким сердцем уклонялись от подобного «служения ближним» и Мор находил это сообразным с природой человека, то первом его водил не «христианский гуманизм», а миоощущение гуманиста, для которого некие христианские ценности утрачивали свое абсолютное значение.

Насколько тесно существование рабов в идеальном государстве было связано с кардинальными представлениями Мора о природе человека и его достоинстве, показывает процитированный выше отрывок о бутресках. Что, спрашивается, мешало Мору совершенно отказаться от рабов-чужеземцев, как выкупленных бывших смертников, так и добровольно пошедших в неволю, коль скоро в Утопии существовали бугреки, «и притом немалочисленные», охотно бравшие на себя самые неблагодарные и унизительные работы?

Хотя бутресков было немало, тем не менее недостаточно для исполнения всех «рабских трудов». Но разве не во власти автора увеличить число бутресков, дабы избавиться от чужестранцев-невольников? Это в сильной степени изменило бы всю структуру идеального общества, задуманного как образец, созданный разумом в соответствии с подлинным знанием человеческой природы. Это придало бы слишком большой вес в жизни государства религиозному подвижничеству и, кроме того, пошло бы вразрез

<sup>35</sup> В подлиннике говорится, что бутрески, «чем больше выставляют себя рабами, тем большим почетом пользуются» (*Ibid.* P. 226).

<sup>36</sup> Там же. С. 120, 104; *Ibid.* P. 134, 114.

<sup>37</sup> Там же. С. 102; *Ibid.* P. 112. См. ниже главу «Жажда преобразовать природу?».

с «утопийским» представлением о природе человека и его назначении. В Утопии есть бутрески, и их немало, но задают тон не они, жаждущие заслужить посмертное блаженство услугами ближним и выполнением работ, коих избегают остальные.

Большинство людей, и в этом глубокое убеждение Мора, по природе своей, если могут, уклоняются от труда чрезмерно тяжелого, непривлекательного, грязного. Тех же, кто, видя в такого рода работе религиозный подвиг, берет ее на себя по собственной воле, явно недостаточно, чтобы выполнять в объеме, необходимом обществу. Так в идеальном государстве возникает потребность в рабах.

Следовательно, основной причиной появления рабов в Утопии является столь характерное для гуманистических кругов отношение к труду, когда физический труд при всей его необходимости для государства все же квалифицируется как «телесное рабство», а некоторые его виды признаются не достойными свободного гражданина.

Даже если мы сделаем оговорку, что рабами в Утопии были главным образом чужестранцы, суть от этого не очень меняется. Правда, принцип автаркии в социальном плане оказывается нарушенным еще сильнее, чем в его хозяйственном аспекте: соседние страны служат утопийцам как резервуар рабов и наймитов.

Известно, насколько широко в эпоху так называемого первоначального накопления капитала использовали труд невольников и в колониях, и в метрополиях. В Англии и много лет спустя после создания «Утопии» рабы были совершенно реальным фактом. Об этом упоминал в «Капитале» Маркс<sup>38</sup>.

Мы далеки от намерения корить Мора за то, что в своем идеальном государстве он не избавился ни от рабов, ни от наемников, поскольку и в этом видим, какими тесными узами был связан его утопийский проект с тогдашней действительностью. Мор рисовал не картину далекого будущего, а первым долгом отвечал на насущные вопросы своего времени.

Р. В. Чемберс, приложивший немало усилий для отыскания в «Утопии» «монастырского начала», особенно подчеркивал, что католические монахи очень близки утопийцам, их объединяют одни и те же принципы, и прежде всего общежительство, имеющее своим фундаментом религию, а также почетность занятия физическим трудом. «Основанная на религии Утопия,— писал Чемберс,— поддерживалась верой в достоинство физического труда. Даже правители и магистраты, хотя по закону и были

<sup>38</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 745—746, 767—768.

освобождены, принимали участие в такого рода работе, дабы служить примером остальным»<sup>39</sup>.

Не будем доказывать, как произвольно обращается Чемберс с текстом «Золотой книжечки». Скажем только, что ни принципы, ни траниборы физическим трудом вообще не занимались, а сифогранты, своим усердием подававшие пример остальным, всю жизнь работали в мастерских и право самим не работать получали лишь на тот год, когда избирались на низшую и единственную доступную им по образованию должность. Принципы же, траниборы и жрецы всегда были из «разряда ученых». Не приходится повторять, что отношение утопийцев к физическому труду как к «телесному рабству» имеет мало общего с елейной идиллией, начертанной Чемберсом.

Томас Мор был страстным обличителем ужасов «эпохи огораживания»<sup>40</sup>. Мы не знаем точно, в какой мере эти трагические события повлияли на замысел «Утопии» и всю ее творческую историю. Известно, что раньше была написана лишь та часть, в которой рассказывается об утопийских порядках (т. е. вторая книга), а позже — начало, ставшее при издании книгой первой<sup>41</sup>. Однако нет оснований считать, будто именно огораживания послужили главным стимулом создания «Золотой книжечки».

Идеал наилучшего государственного устройства складывался первоначально как бы лишь в «теоретическом плане» — на наш взгляд, еще до того, как английский парламент в феврале 1515 г. издал статут против огораживаний, превращенный в конце года в постоянный закон<sup>42</sup>. Обличительные страницы первой книги «Утопии», где говорится о неслыханных бедствиях земледельцев, были, несомненно, написаны после этих парламентских актов. Поэтому те места второй книги, которые посвящены утопийскому решению «крестьянского вопроса», за-служивают большого внимания, хотя толкуются весьма различно. Даже в специальных работах нет подобающее точного анализа<sup>43</sup>.

<sup>39</sup> Chambers R. W. Thomas More. L., 1963. P. 130 (1 ed.—1935).

<sup>40</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 730—731, 744—747; см. также: Семенов В. Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI в. М.; Л., 1949.

<sup>41</sup> Hexter J. H. More's Utopia: The Biography of an Idea. Princeton, 1952. P. 20; см. также: Штекли А. Э. «Досуг во Фландрии» и создание «Утопии»: (К критике господствующей текстологической концепции) // История социалистических учений. 1986. М., 1986. С. 174—196; Он же. Эразм и первая книга «Утопии» // История социалистических учений. 1988. М., 1988. С. 162—175.

<sup>42</sup> Семенов В. Ф. Указ. соч. С. 109—111.

<sup>43</sup> Ср., например: Unwin G. Industrial Organization of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Oxford, 1904. P. 139—140; Bendemann O. Studie zur Staats- und Sozialauffassung des Thomas Morus. B., 1929.

Земледелию, пишет Мор, «учатся все с детства, отчасти в школе путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения также и работают»<sup>44</sup>.

В сельской местности удобно расположены хозяйства с полным набором земледельческих орудий<sup>45</sup>. Однако постоянных деревенских жителей в Утопии нет. «В домах этих (или «хозяйствах»? — A. Ш.), — продолжает Мор, — живут граждане, переселяющиеся туда по очереди... Во главе всех стоят отец и мать семейства, людиуважаемые и пожилые, а во главе каждого тридцати семейств — один филарх»<sup>46</sup>.

О спорности толкования «семьи» и «отца семейства» достаточно уже писали. Земледельческие хозяйства — «familia rustica» — формировались, безусловно, не по семейному признаку. Относительно того, как было организовано сельскохозяйственное производство, высказываются противоположные мнения. Утопийцы, поочередно работали по два года в деревне. Как это следует понимать? Каждый должен был, работая, прожить в деревне два года? Или же, напротив, всю свою трудовую жизнь утопиец попеременно менял занятия: два года работал в деревне, следующие — в городе, затем — опять в деревне и т. д.? Последнее мнение, несмотря на свою распространность<sup>47</sup>, противоречит тексту. Утопиец, проведя два года в земледельческом хозяйстве, возвращался на постоянное жительство в город. В дальнейшем его участие в сельскохозяйственном производстве сводилось к тому, что он, как и остальные, участвовал в сезонных работах, обязательных для всех.

В каждом хозяйстве состав работающих был неизменным лишь год. «Из каждого семейства двадцать человек, — пишет Мор, — ежегодно переселяются обратно в город; это те, кто пробыл в деревне два года. Их место занимают столько же новых из города, чтобы их обучали пребывавшие в деревне год и потому более опытные в сельском хозяйстве; эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы

<sup>44</sup> Утопия. С. 111; Utopia. P. 124.

<sup>45</sup> «В деревне на всех полях, — гласит перевод А. И. Малеина, — имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими орудиями» (С. 104). Однако «domus» можно переводить и как «хозяйство».

<sup>46</sup> Утопия. С. 104; Utopia. P. 114.

<sup>47</sup> См., например: Seibt F. Op. cit. S. 33, 96; Frackowiak M. Op. cit. S. 59—60, 67; Unwin G. Op. cit. P. 139—140.

никому не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие, имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет»<sup>48</sup>.

Это установление не имело бы смысла, если бы утопийцы работали по принципу: два года в деревне, два — в городе, затем — опять в деревне и т. д.; ведь тогда обучение новичков было бы совсем не такой сложной задачей, поскольку число впервые прибывших в деревню работать было бы значительно меньшим, чем число людей, проведших здесь не один срок.

Мы обращаем внимание на это обстоятельство как на существенную черту не только хозяйственного уклада утопийцев, но и их быта. Люди, приехав из города на временную работу в деревню, детей с собой не брали. Дети, как видно из цитированного выше отрывка, учились земледелию, оставаясь в городе<sup>49</sup>. Иными словами, городское «семейство» в полном составе в деревню на длительный срок не переезжало: отправлялись туда лишь отдельные ее члены. В Утопии общественное воспитание не достигло еще того развития, как в Городе Солнца: «интернатов» там не было, дети жили в семье. Вполне вероятно, что отработать в деревне полагавшиеся два года ехали прежде всего молодые люди, еще не обремененные семьей, хотя в тексте на этот счет нет никаких данных<sup>50</sup>. Не исключено, что жить в земледельческих хозяйствах могли и супруги: их дети в таком случае оставались в городе под присмотром других членов «семейства». То, что в земледельческих хозяйствах были люди разного возраста, доказывает фраза, где говорится, что возглавляли их люди «уважаемые и пожилые».

Итак, каждый должен отработать в деревне два года. Помимо этих двух лет, проведенных в сельской местности, всю остальную жизнь утопийцы живут в городе. Мы не знаем, сколько продолжалась в Утопии трудовая жизнь, но, несомненно, «деревенский период» составлял малую ее долю. Следовательно, небольшая часть взрослого населения кормит весь утопийский народ, включая и нетрудоспособных? И не только кормит обильно, но и производит сельскохозяйственную продукцию в таком количестве,

<sup>48</sup> Утопия. С. 104; Utopia. P. 114.

<sup>49</sup> Поэтому Цукколо, «опровергая» Мора, напрасно рассуждал о том, сколь неуправляемой была бы деревенская семья «в сорок ртов» из-за вечной беготни и шума детей. См.: Zuccolo L. Dialoghi. In Venetia. MDCXXV. P. 150. «Familia rustica» состояла, на наш взгляд, только из взрослых.

<sup>50</sup> Н. Е. Застенкер пишет о работе в деревне утопийцев, «достигших трудового возраста», как о чем-то само собой разумеющемся: «Поскольку каждый трудовой возраст поочередно заступает на сельскохозяйственные работы, общество Утопии обеспечивает таким способом всю необходимую для того рабочую силу» (Застенкер Н. Е. Будущее по Томасу Мору. С. 280).

что ее хватает и для запасов, и для значительного экспорта? Мы в затруднении: Мор не прекраснодушный мечтатель, он трезво смотрит на вещи, умеет считать, прекрасно разбирается в хозяйственных вопросах<sup>51</sup>, он знает, что в современной ему Англии подавляющее большинство населения занято сельским хозяйством, а об избытке продуктов нечего и мечтать, тысячи людей влачат полуголодное существование даже в урожайные годы. Откуда же такое нереалистическое соотношение между общей численностью населения и его частью, производящей сельскохозяйственную продукцию?

Может быть, у утопийцев более совершенные орудия? Об этом нет ни слова, хотя и говорится о хорошей обработке земли. Может быть, земля отличается особым плодородием? И этого нельзя сказать. Урожаи очень высоки, но за счет труда и умения. «И хотя почва у них не везде плодородна и климат недостаточно здоров, они прекрасно укрепляют себя против превратностей атмосферы умеренностью в пище, а землю успешно врачуют обработкой. В результате ни у одного народа нет более обильных урожаев и приплода скота, люди отличаются значительной жизнеспособностью и подвержены наименьшему количеству болезней. Поэтому там можно видеть, во-первых, тщательное выполнение того, что вообще делают земледельцы, а именно помочь искусством и трудом земле, не очень-то податливой от природы»<sup>52</sup>.

Но и этот текст не рассеет нашего недоумения: в Утопии слишком мало людей живет в деревне, чтобы обеспечить такое процветание сельскому хозяйству. Разгадка здесь, видимо, в следующем: город по первому же требованию присыпает необходимую подмогу: «Когда настанет день уборки урожая, то филархи земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан надо им прислать; так как эта толпа работников является вовремя к самому сроку, то они почти в один день справляются со всей уборкой»<sup>53</sup>. Мор упомянул только об уборке урожая, но, надо думать, что и другие трудоемкие работы, например лесопосадочные или транспортные, велись с помощью присланных из города работников.

Может быть, Мор уже осознал историческую обреченность крестьянского сословия и решил вести сельское хозяйство руками горожан? «Характерно для Мора,— отмечает В. П. Волгин,— что сельское хозяйство не является в Утопии одним из ремесел. Это

<sup>51</sup> Ames R. Citizen Thomas More and his Utopia. Princeton, 1949. Недавно круг связанных с этим проблем был обстоятельно разобран. См.: Кудрявцев О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.

<sup>52</sup> Утопия. С. 157; Utopia. P. 178.

<sup>53</sup> Там же. С. 105—106; Ibid. P. 116.

одна из самых интересных особенностей утопийского строя. Земледелию придают в Утопии большое значение. Но сельскохозяйственные работы организованы по принципу трудовой повинности... Утопия не знает деревни в настоящем смысле слова... Основное место жительства всех граждан и организационный центр всех работ — город, к которому прикреплена известная территория, используемая им для сельскохозяйственных работ. Таким образом, противоположность между городом и деревней устраняется, хотя и очень примитивным способом, уже в первом социалистическом произведении нового времени»<sup>54</sup>.

Не надо видеть здесь еще одно гениальное «предвосхищение» Томаса Мора. Перед нами не образец футурологического ясновидения, а дань прошлому, античной традиции, близкой гуманистам<sup>55</sup>: в новом полисе, городе-государстве, горожанин и земледелец выступают в одном лице, в лице гражданина.

Мы уже имели возможность говорить об организации производства как в Утопии, так и в Городе Солнца<sup>56</sup>, поэтому и не стали распространяться здесь о мастерских утопийцев, а предпочли подробно проанализировать их отношение к труду и рассмотреть, какими мотивами руководствовался Мор, когда, размышляя о насущных социальных проблемах, предлагал свое, и весьма радикальное, разрешение «крестьянского вопроса».

Стоит, пожалуй, еще раз отметить, что Мор, как видно из подлинника, считал жизнь в деревне «более трудной», чем в городе. Этим и объяснялась необходимость ограничить ее продолжительность. Возможно, что именно таким настроением и навеяна фраза, в русском переводе не совсем ясная: «Ни у одного города нет желания раздвинуть свои пределы, так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений». Здесь говорится не о пределах города, а о величине окружающих сельскохозяйственных угодий. Иными словами, жители утопийских городов считают себя скорее работниками на земле, чем ее владельцами: обладая всем необходимым, они вовсе не стремятся увеличить количество земли, которое им же самим пришлось бы обрабатывать. Потому нам трудно согласиться с Франковяком, когда он, основываясь на этом тексте, пишет: «Между городами простираются земледельческие территории, которые выделены им в пользование, но не являются их собственностью»<sup>57</sup>. Аналогичную точку

<sup>54</sup> Волгин В. П. Историческое значение «Утопии» // Мор Т. Утопия. С. 12.

<sup>55</sup> Подробнее см.: Штекли А. Э. О политическом строе Утопии // Средние века. М., 1986. Вып. 49. С. 117—140.

<sup>56</sup> См.: Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. С. 278, 298—303.

<sup>57</sup> Ср.: Утопия. С. 104, 103; Utopia. Р. 114; Frąckowiak M. Op. cit. S. 57.

зрения высказывал и В.П. Волгин: «Территория округа не составляет собственности города, она является собственностью всей страны»<sup>58</sup>.

На наш взгляд, восприятие физического труда (в том числе и сельскохозяйственных работ, еще более тяжелых, чем городские) как «телесного рабства» уничтожало в условиях полного достатка повод для стяжательства и делало невозможным какие-либо территориальные споры между общинами. Подобное отношение к труду или, лучше сказать, вообще к материальному производству было самым тесным образом связано с созданной утопийцами системой распределения и их «шкалой ценностей».

Мор очень хорошо знает свое время — и ограниченные возможности производства, и ту относительную скучность подлежащих разделу материальных благ (неспроста говорил он о рабочей одежде, выдаваемой лет на семь!), на которую пришлось бы пойти, коль скоро ради разумного досуга рабочий день был бы сокращен чуть ли не вдвое по сравнению с фактически существовавшим. Мор потому-то и сохраняет в идеальном государстве институт рабства, что он, сын реальности, не хочет витать в облаках.

«Разделение общества на классы — эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетенный,— писал Энгельс,— было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный общественный труд дает продукцию, едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда»<sup>59</sup>.

Сколько бы мы ни хитрили, называя привилегированное словие, из которого состояла управленческая верхушка утопийского общества, не «классом ученых», а «разрядом», суть остается все той же: в Утопии существовала категория лиц, освобожденных от непосредственно производительного труда.

Автор «Золотой книжечки» считал вполне естественным, что значительная часть обитателей его идеального общежи-

<sup>58</sup> Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 139.

<sup>59</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 225—226.

тельства находилась на положении разного рода рабов, эксплуатируемых (несмотря на сделанные нами оговорки) государством в зависимости от своего статуса. Одни, согласившиеся на «добровольное рабство», испытывали сравнительно нетяжелую долю, другие же были закованы в цепи и заняты непрерывным трудом.

Читателю решать, насколько это вяжется с представлением о «бесклассовом обществе».

# ЧТО ЗА РАВЕНСТВО БЕЗ ПРИВИЛЕГИЙ?

\*

Издавна идея равенства пребывала между Сциллой и Харидой, между грубой уравниловкой и таким его пониманием, которое, воспользуемся лукавыми словами В. П. Волгина, предусматривает «возможность улучшенных выдач для лиц, оказавших известные услуги»<sup>1</sup>. Так вот эта «возможность улучшенных выдач» требует пристального к себе внимания. Не разобравшись в ее механизме, трудно судить, каково ее назначение в той или иной утопии: только ли она поощряет усердие в служении общине или прежде всего оправдывает особыми заслугами привилегированное положение тех, в чьих руках находится сама «возможность улучшенных выдач».

Столь деликатная тема требует обращения к питавшим гуманистов истокам. Но прежде остановимся на некоторых общих соображениях и расскажем об отдельных чертах образа жизни утопийцев, дабы уяснить себе, как они понимали равенство и терпели ли привилегии.

Нам уже приходилось выражать несогласие с распространенным тезисом о том, будто в Утопии делалась установка на максимальное удовлетворение материальных потребностей<sup>2</sup>. На-против, Мор ратовал за сознательное их ограничение. Именно в этом он и видел залог наиболее полного удовлетворения потребностей духовных. В подобном подходе сказалось вовсе не «монастырское начало», а чисто гуманистическое, светское, выросшее на идеях моральной философии древних греков и римлян. Интерпретируемые в этой связи тексты особенно важны для нас как непреложное свидетельство гуманистического мироощущения утопийцев. Они видят счастье жизни в том, чтобы, сократив по возможности часы «телесного рабства» — физической работы, необходимой для удовлетворения разумно ограниченных материальных потребностей, увеличить свой *otium*, время «духовной свободы», самосовершенствования,

<sup>1</sup> Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1977. С. 288.

<sup>2</sup> См.: Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. С. 306—307.

религиозных медитаций, умственных занятий, высших наслаждений.

Мы не будем разбирать вопрос о том, как некий «аскетизм», тоже рационально лимитированный, оказался в сознании Мора неразрывно связанным с подлинно Эпикуровым гедонизмом. Но должны настойчиво подчеркнуть: культ умеренности столь же характерен для Мора, как и стремление к максимальному удовлетворению духовных потребностей. Известная регламентация в материальной области и некая «аскетическая простота» нужны были не для того, чтобы лишь подчеркнуть реальность выдвинутого идеала. Оттенить надо было и другое: мир, ввергнутый в вакханалию стяжательства, в погоню за наживой и низменными удовольствиями, надлежало изменить коренным образом. «Переориентация интересов» становилась непременным условием осуществления гуманистического идеала.

А насколько в целом правомерно мнение, будто материальные нужды утопийцев удовлетворялись «по потребности»?<sup>3</sup> Какие отрывки из «Утопии» могут подтвердить такой вывод? Все товары хранятся в общественных складах, и каждый глава «семейства» просит там то, «что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно»<sup>4</sup>. И далее эта мысль уточняется: утопийцы никогда не просят лишнего. Пока трудно уловить грань, живут ли утопийцы «по потребности» либо довольствуются необходимым. Или, по их представлениям, это одно и то же?

В гражданах с детских лет воспитывается, как сказали бы теперь, «культура потребления»: расточительство им совершенно чуждо, ибо они понимают, ради чего в стране сознательно не форсируют производство вещей — ради увеличения свободного времени, отдаваемого духовным наслаждениям, самоусовершенствованию, приобретению знаний.

Мор ставит в заслугу, что рабочей одежды из кожи или шкур может хватить утопийцу на семь лет, а одного плаща, которым он довольствуется, обычно на два года<sup>5</sup>. Весьма рачительно обходятся они и с продовольствием. После того как госпитали получили необходимые им продукты, «все лучшее распределяется равномерно между дворцами (где находятся

<sup>3</sup> Ниже, в главе «Томас Мюнцер и Томас Мор», мы коснемся происхождения этого термина.

<sup>4</sup> Утопия. С. 122—123; Utopia. Р. 136.

<sup>5</sup> Там же. С. 119; Ibid. Р. 132, 134.

общественные трапезные.—*A. Ш.*) сообразно числу едоков каждого»<sup>6</sup>. Иными словами, и здесь существует определенная норма, согласно которой все лучшее делится по сифогрантиям. Хотя в каждой сифогрантии одинаковое число семейств и примерно одинаковое число взрослых, продукты выделяются не в одном и том же количестве, а «равномерно» по числу едоков. Учет в Утопии поставлен, как видим, достаточно строго. Этому, казалось бы, противоречит текст, где говорится: каждое «семейство» состоит из 10—16 взрослых; что же касается детей, то «их число не подвергается никакому учету»<sup>7</sup>. Здесь необходимо сделать оговорку: число детей не принимается в расчет, когда переводят «в менее людные семейства тех (взрослых!—*A. Ш.*), кто является излишним в очень больших». При установлении же числа едоков дети, разумеется, учитывались. Кстати, текст этот еще раз подтверждает, что, говоря о «семействах» в Утопии, Мор имел в виду прежде всего производственную, а не кровнородственную общность.

Естественно, что, если все лучшее распределялось строго по числу едоков, отдельному участнику общественной трапезы не полагалось притязать на еду «по потребности». Да подобное утопийцам и в голову не приходило. Не говоря уже о несовершеннолетних, которые либо прислуживали, либо стояли молча: они питались лишь тем, что давали им взрослые. «Блюда с едой подаются не подряд, начиная с первого места, а каждым лучшим кушаньем обносят прежде всего старейших, места которых особо отмечены, а потом этим блюдом в равных долях обслуживаются остальных». Однако и подобная раздача оставшегося в равной доле остальным происходила лишь тогда, когда «лучшего кушанья» хватало на всех. В противном случае «старцы раздают по своему усмотрению сидящим вокруг («стоящим» же, т. е. несовершеннолетние, во внимание не принимаются.—*A. Ш.*) свои лакомства, если запас их не так велик, чтобы их можно было распределить вдоволь по всему дому»<sup>8</sup>.

Основываясь на этих текстах, мы вовсе не хотим сказать, будто граждане Утопии вынуждены были всегда держаться строжайшего рациона. Чем-то, что находилось в избытке, они могли пользоваться «по потребности», но вряд ли именно так надо называть господствовавшую у них форму распределения. Правда, нельзя утверждать, что и иные его формы были абсолютно

<sup>6</sup> Там же. С. 124—125; *Ibid.* P. 140. Франковяк не прав, уверяя, будто трапезные находились в каждом доме (*Frackowiak M.* Op. cit. S. 62). Текст не оставляет никаких сомнений, что утопийцы питались, как правило, во дворце своей сифогрантии.

<sup>7</sup> Утопия. С. 121; *Utopia.* P. 134, 136.

<sup>8</sup> Там же. С. 126—127; *Ibid.* P. 142, 144.

чужды утопийцам. При распределении «всего лучшего» по сифогрантиям сообразно числу едоков «нормы арифметического равенства», очевидно, соблюдались, хотя в самих трапезных их и подвергали существенному пересмотру: полученное «равномерно» в соответствии с числом едоков раздавали далеко не всегда «равномерно» между едоками.

Можем ли мы утверждать, даже исключая невольников, что все жители Утопии при дележе материальных благ пользовались равными правами и что принцип распределения «по заслугам» совершенно для них неприемлем? Укажем на любопытную подробность: при раздаче «всего лучшего» по сифогрантиям «принимаются во внимание» принцепс, первосвященник, трапиборы, а также послы и все иностранцы<sup>9</sup>. Но поскольку ни правитель, ни первосвященник, ни трапиборы, как правило, в общественных трапезах не участвовали, а кормились отдельно, их, надо думать, не ставили в худшее положение, чем остальных граждан. Следовательно, распределение «по заслугам», пусть и ограниченно, но в Утопии применялось.

Если бы Мора спросили, какой принцип распределения осуществляется в Утопии, он бы, на наш взгляд, не ответил: «По потребности», а сказал бы: «По справедливости». Нам, привыкшим к иным формулировкам, такой ответ, хотя и соответствующий тексту «Утопии», показался бы недостаточно определенным. И в самом деле, даже при раздаче пищи разные категории граждан, сидящие в одной трапезной, получают далеко не равные доли. Однако то, что на первый взгляд может показаться неравенством,— по сути проявление справедливости. Даже своеобразная «дискриминация несовершеннолетних», помимо своей воспитательной основы, в глазах Мора вполне справедлива: каждый отрок со временем станет пользоваться преимуществами, которые дает старость. Прежде чем «все лучшее» будет распределено по сифогрантиям и будут «приняты во внимание» принцепс, первосвященник и трапиборы, в госпитали отправят то, что прикажут врачи. Нужды больных удовлетворяются в первую очередь. Попечение о них — одна из главных забот общины.

Сама мысль о возможности пользоваться жизненными благами «по потребности», если высказывается она не сказоч-

<sup>9</sup> Там же. С. 124—125; Ibid. P. 140. Многие мыслители Возрождения, верные античной традиции, обсуждая идею равенства, делали различие между «равенством по количеству» и «равенством по достоинству». В нашей историографии вопрос этот применительно к Томасу Мору, и особенно к «Утопии», долгое время специально не рассматривался. В нескольких публикациях мы пытались привлечь к этому внимание исследователей. Теперь, к счастью, положение изменилось: одна из глав недавно изданной книги посвящена теме «Справедливость и равенство». См.: Кудрявцев О. Ф. Указ. соч. С. 63—101.

никами, повествующими о скатертях-самобранках или странах, где в кисельных берегах текут молочные реки, а трезвыми политическими писателями, свидетельствует о достаточно высоком экономическом и культурном потенциале общества. За ней — века поисков наилучшей и справедливой формы распределения.

Нередко в представлении современного человека «жить по потребности» означает максимально удовлетворять свои желания как в материальной, так и духовной сферах. Однако подобное мироощущение было Томасу Мору чуждо.

Иногда главную установку «Утопии» находят в «мирском аскетизме». Нам такой вывод кажется неправильным не только потому, что сам термин, строго говоря, относится к этике протестантов, а весь секрет «мирского аскетизма», употребляя слова Энгельса, «состоит в буржуазной бережливости»<sup>10</sup>. Гедонический, эпикурейский дух «Утопии» противится заключению ее в подобные рамки.

Если, отречившись от вольного или невольного желания «осовременить» «Золотую книжечку», мы взглянем на нее непредубежденным взором, то вынуждены будем признать, что ряд «непоследовательностей» Мора, ставящих в тупик иных его истолкователей, находят прямое объяснение в исторических условиях эпохи, а также в идейном материале, которым он располагал. Хотя Томас Мор как социальный мыслитель на голову выше большинства своих современников-гуманистов, но многие из их убеждения и предубеждения он разделял. Мор был еще во власти сословных представлений, считая естественным, что в государстве, даже идеальном, вымыщенном, люди делятся на различные категории: одни посвящают себя исключительно умственной работе, замещают высшие управленческие должности, отправляют религиозный культ, другие — подавляющее большинство граждан — занимаются физическим трудом, третьи — государственные рабы — его самыми тяжелыми и «унизительными» видами. Значительная часть населения Утопии находится на положении рабов.

Да и стоит ли говорить об отсутствии эксплуатации, если правители Утопии специально ввозят в страну бедняков-чужеземцев, чтобы использовать их труд, но не как свободных людей, а как рабов (эпитет «добровольных» не столь уж здесь и существен). Ведь об этих бедняках-иностраницах, привыкших много работать<sup>11</sup>, не скажешь, что их привозили в Утопию ради перевоспитания.

Короче, в институте рабства Мор не видит ничего противостоящего, подлежащего безусловному упразднению. Аристотелева апология рабства ссылками на некую известную «раб-

<sup>10</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 378.

<sup>11</sup> Утопия. С. 163; Utopia. P. 184.

скую натуру» приобретает у Мора своеобразную форму: если человек, поставленный в идеальные условия, совершает тяжкое преступление (согрешит, к примеру, с чужой женой!<sup>12</sup>), то здесь проявляется низменность его натуры (так и хочется написать: «его рабская натура»), и он по справедливости обрекается на пожизненное рабство. Сам он, закованный в цепи, и виноват в рабской своей доле!

А в чем вина чужеземца, соглашающегося на добровольное рабство в Утопии? Ведь не в его же бедности? И не в том, что он привык много работать? Может быть, в том, что он чужеземец? Сколько бы лет ни проработал такой приезжий на благо Утопии, гражданства ему не даруют, а отпускают с миром и не без вознаграждения<sup>13</sup>. Отношение к иностранцам достаточно характерно. А ведь даже в древних рабовладельческих государствах чужеземцам, принесшим большую пользу, предоставляли права гражданства.

Томас Мор жил в мире, где всякого рода привилегии были неотъемлемой частью, если не сказать фундаментом, общественного бытия. Сознание людей пронизывала реальность их существования. Мор и другие гуманисты выступали против привилегий, порожденных богатством или знатностью происхождения, но не против привилегий как таковых. В этом заключалось своеобразие позиции гуманистов: они считали справедливым, чтобы старые привилегии заменили новыми и люди занимали в обществе место, которого заслуживают в силу своих личных качеств, образованности, нравственного совершенства, доблести. Одни довольствовались ролью воспитателей наследных принцев или монарших советников, другие, хотя бы в сновидениях, оказывались властителями идеальных государств, устроенных в соответствии с гуманистическими принципами.

Мор признавался Эразму, что в мечтах видит себя правителем Утопии: «Все время у меня перед глазами, будто дали мне мои утопийцы постоянную власть, и я представляю даже, как шествую в таком замечательном венце из колосьев, обращая на себя внимание францисканским плащом, держа перед собою вместо скипетра связку плодов»<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Там же. С. 167—168; Ibid. P. 190.

<sup>13</sup> Там же. С. 163; Ibid. P. 184.

<sup>14</sup> *Mor T. Утопия.* 1978. С. 291. Насколько удачно говорить здесь о «связке плодов», а не о «пучке колосьев» (см.: Там же. С. 237), вопрос спорный. Не убеждает и комментарий (см.: Там же. С. 398). Сопоставлять этот отрывок, на наш взгляд, надо не с образом «шутовского короля», а с описанием правителя Утопии, единственной регалией которого был пучок колосьев (см.: Там же. С. 237; *Utopia.* P. 194: «frumenti manipulus»). Ср.: *Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami.* 2, 414; *More Th. Selected Letters.* New Haven, 1961. P. 85.

Своеобразное представление гуманистов о равенстве — «равенстве равных»! — прекрасно уживалось с представлением о «справедливых» привилегиях, которые общество должно заслуженно даровать своим талантам. Мало что так претило гуманистам (в том числе и Мору!), как мысль о поголовном поравнении.

Тексты «Утопии» при их внимательном прочтении противоречат широко распространенному мнению, будто у утопийцев не существовало никаких привилегий. Родиться утопийцем на острове, значительная часть населения которого состояла из «импортированных» чужеземцев — выкупленных смертников или бедняков, согласившихся на статус «добровольных рабов», уже являлось привилегией на всю жизнь: коль ты, утопийский гражданин, не совершишь тяжкого преступления, караемого рабством, то до конца дней своих лишь в силу происхождения будешь избавлен от тех видов труда, кои причисляются к «рабским занятиям».

Узаконенные в Утопии привилегии становились тем значительней, чем более высокое общественное положение занимал человек. Даже сифогранты, низшие должностные лица, выбираемые на год, имели право не работать, а только надзирать, чтобы никто не сидел праздно и каждый усердно трудился<sup>15</sup>. А все другие магистраты пользовались привилегией вообще физическим трудом не заниматься. Высшие должностные лица, как мы заметили, приобретали также право на известные преимущества при распределении жизненных благ.

Естественно, что Мор, верный своим гуманистическим взглядам, видел проявление высшей справедливости в том, чтобы наиболее образованные и нравственно совершенные люди пользовались и наибольшими преимуществами: именно они освобождались от всякого участия в физическом труде, из их числа выходили все, кроме низших, должностные лица: трапаниборы, пожизненные принцепсы, жрецы.

Это привилегированное положение образованных людей закреплено не только нерушимостью утопийских установлений, но и тем, что именно выходцы из «сословия ученых» занимали в стране все важные посты. Поэтому особый интерес приобретает проблема взаимосвязи власти и общности имущества.

Анализируя «Утопию», мы обычно делаем упор на тот дух коллективизма, которым она проникнута, на неприязнь Мора ко всякого рода индивидуалистическим устремлениям, на его сочувствие угнетенным и страстное желание сделать счастливыми всех граждан, достойных этого звания. Но имеет смысл, как нам кажется, взглянуть на «Утопию» и с иной стороны.

<sup>15</sup> Утопия. С. 113; Utopia. P. 126.

Мы не можем точно объяснить, как под влиянием Платона<sup>16</sup> Мор постепенно подходил к своей концепции наилучшего государственного устройства. Размышляя над знаменитой формулой «Либо цари должны философствовать, либо философы царствовать», он предпочел второе. Но он достаточно хорошо представлял себе, что в какие бы политические формы ни была облечена государственная власть, государство есть говор богачей<sup>17</sup>: реальная сила у тех, в чьих руках богатство. Все притязания гуманистов на руководящую роль в обществе, все надежды осуществить преобразования, сообразные с их принципами, наталкивались на самую грозную и непреодолимую преграду — частную собственность. Поэтому упразднение частной собственности — единственное, что могло бы обеспечить гуманистам их стремление занять в обществе место, подобающее их учености, достоинствам и талантам, и, естественно, обеспечить за ними соответствующие привилегии.

Вероятно, говоря об «Утопии», не следует утверждать как нечто самой собой разумеющееся, будто Мор выражал сокровенные чаяния обездоленных ремесленников и согнанных с земли крестьян. Вероятно, при оценке «Утопии» надо принимать во внимание и то, утверждению чьих привилегий в первую очередь способствовали бы порядки наподобие утопийских.

Не случайно «Утопию» с такой радостью воспринимали многие гуманисты: в государстве, скроенном по предложенному образцу, им были уготованы функции руководителей, они заняли бы там положение, о котором в реальной жизни могли лишь мечтать. Мор писал об этом с подкупающей прямотой: «В нашем государстве мужи столь великой учености и добродетели, разумеется, стали бы правителями»<sup>18</sup>.

Упоминая об «Утопии» и чаяниях предпролетариата, у нас часто приводили, иногда целиком, а иногда и в досадном сокращении известную цитату из Энгельса, где он характеризовал «аскетически суровый, спартанский коммунизм». Но если мы применим предложенный им критерий к «Утопии», то должны будем признать, что Мора нельзя причислять к тем, кто доказывал «необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий». Мор, исповедуя собственное, близкое и другим гуманистам представление о равенстве, все еще находился в том идеином кругу, где сословные привилегии и различия не отвергали

<sup>16</sup> Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. 4, 999.

<sup>17</sup> Утопия. С. 214; Utopia. Р. 240.

<sup>18</sup> См.: Приложения // Утопия, 1978. С. 287; Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. 2, 481.

как таковые, а лишь требовали изменения, которое бы согласовало их с принципом справедливости, воспринимаемой как соразмерная награда за доблесть.

Более того, мы не можем даже сказать, что автор «Утопии» принадлежал к числу тех мыслителей, у кого «требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение каждой отдельной личности»<sup>19</sup>. О каком равенстве политических прав может идти речь в государстве, где все жители разделяются на свободных и рабов, на граждан и неграждан, на полноправных местных уроженцев и иностранцев, коих бедность заставила согласиться на «добровольное рабство»? Но не будем злоупотреблять этим аргументом. Приведем другой пример, показывающий, что Мор «не дорос» еще до требования равенства политических прав. Даже среди свободных граждан Утопии нет равенства политических прав: претендовать на замещение всех должностей, кроме самых низших, могут лишь граждане «из сословия ученых»<sup>20</sup>. Ясно, что эта привилегия, предоставленная ученым мужам, существенно ущемляет права остальных граждан.

В наилучшем государстве, считал Томас Мор, должно царить равенство, однако и доблесть нельзя оставлять в небрежении. Но если сохраняются чьи-то привилегии, то какое же это равенство?

Вот именно: не разобравшись в том, *какое* равенство лежит в основе «Утопии», мы по-настоящему не поймем ни ренессансного ее духа, ни мотивов, по которым многие гуманисты восторженно приветствовали «Золотую книжечку», ни того, какое место принадлежит ей в становлении социалистических идей.

Энгельс писал о необходимости выяснить суть тех или иных понятий равенства. Он показал, что «представление о равенстве, как в буржуазной, так и в пролетарской своей форме, само есть продукт исторического развития; для создания этого представления необходимы были определенные исторические условия, предполагающие, в свою очередь, долгую предшествующую историю. Такое представление о равенстве есть, следовательно, все что угодно, только не вечная истина»<sup>21</sup>.

Признание того факта, что мысли о равенстве, изложенные в «Золотой книжечке», были исторически обусловлены, побуждает вести исследование по двум линиям: изучать, как идея равенства воспринималась гуманистами, современниками Мора, и каково было духовное наследие, их питавшее. Остановимся кратко на второй теме. Подлинное равенство в понимании

<sup>19</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 191.

<sup>20</sup> Утопия. С. 117; Utopia. P. 132.

<sup>21</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 108—109.

утопийцев вовсе не противоречит существованию привилегий. Почему?

Здесь, как и в других случаях, стоит вспомнить испытанный метод и обратиться к античной традиции. Однако мы не намерены множить сопоставления «Утопии» с трудами Платона или Аристотеля. Подобное делалось уже не раз<sup>22</sup> и приобретало иногда схоластический оттенок. Сходство деталей мало что дает, если носит внешний характер. Оно может даже толкнуть на ложный путь, коль скоро поиски «заимствований» помешают обнаружить действительные истоки тех или иных суждений.

Равенство — один из главных устоев идеального государства, говорит Томас Мор устами Гиглодея. Он находит мудрейшими и святейшими «учреждения утопийцев, у которых государство управляет при помощи столь немногих законов, но так успешно, что и добродетель встречает надлежащую оценку и, несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие». Иная картина у других народов: несметное количество законов, произвол собственников, бесконечные распри. «Так вот, повторяю, когда я сам с собой размышляю об этом, я делаюсь более справедливым к Платону и менее удивляюсь его нежеланию давать какие-либо законы тем народам, которые отвергли законы, распределяющие все жизненные блага между всеми поровну. Этот мудрец легко усмотрел, что единственный путь к благополучию общества заключается в объявлении имущественного равенства, а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, где у каждого есть своя собственность»<sup>23</sup>.

Мор ссылается на авторитет Платона. Но о каком эпизоде его жизни идет речь? Комментаторы наиболее основательных изданий «Утопии» давно уже это выяснили. Диоген Лаэрций в книге, посвященной Платону, писал: «Когда аркадяне и фиванцы основывали Мегалополь, они пригласили его в законодатели; но, поняв, что блюсти равенство они не согласны, он отказался. Об этом пишет Памфил в XXV книге („Записок“)»<sup>24</sup>.

Авторы примечаний к последнему русскому изданию «Утопии» отдают предпочтение, возможно под влиянием Герхарда Риттера<sup>25</sup>, свидетельству Элиана<sup>26</sup>: «...он задал послам вопрос,

<sup>22</sup> См., например: Beger L. Thomas Morus und Plato: Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus // Zeitschrift für gesamte Staatswissenschaft. Tübingen, 1879. Bd. 35. S. 187—216, 405—483; Donner H. W. Introduction to Utopia. Uppsala, 1945; Logan G. M. The Meaning of More's «Utopia». Princeton, 1983.

<sup>23</sup> Утопия. С. 90—91; Utopia. P. 102, 104, 379.

<sup>24</sup> Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 157 (III 23).

<sup>25</sup> Morus Th. Utopia / Übersetzt von Gerhard Ritter. B., 1922. S. 39.

<sup>26</sup> См.: Утопия, 1978. С. 370.

как аркадяне и фиванцы смотрят на всеобщее равенство. Узнав, что весьма отрицательно и что поэтому их не убедить в преимуществах равноправия, Платон отказался от первоначально принятого решения»<sup>27</sup>.

Сославшись на Платона, Гитлодей продолжает свое рассуждение и высказывает твердую убежденность в том, что «распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности»<sup>28</sup>.

Гитлодей целиком солидаризируется с Платоном или вносит значительные уточнения? На чем настаивал Платон: на необходимости «блести равенство», вводить «всеобщее равенство» или только на «преимуществах равноправия»?

Побывав в Утопии, Гитлодей стал понимать Платона, отказавшегося создавать «законы для тех людей, которые отвергли уложения, распределяющие все блага поровну на всех». Единственный путь к общественному благополучию — «объявить во всем равенство»<sup>29</sup> («имущественное равенство», — гласил перевод А. И. Малеина<sup>30</sup>). Гитлодей полностью убежден, что «распределить все поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность»<sup>31</sup>.

Где же тогда выход? Распределить средства «равномерным и справедливым способом» (курсив наш.— *A. Ш.*) или «распределить все поровну и по справедливости»? Если справедливость в том, чтобы делить «все поровну», то зачем уточнять «и по справедливости»? Это уточнение становится оправданным, коль скоро речь идет о равномерном распределении, когда блюдется справедливость, видящая в равномерности некую пропорциональность, которая помогла бы избежать несправедливости «группой уравниловки».

Уже из приведенных примеров яствует, что анализ этих текстов «Золотой книжечки» — дело далеко не простое.

Многие наши историки, философы, юристы и т. д. писали об Утопии как идеальном государстве, где торжествует равенство, но никто на протяжении длинной череды лет не поинтересовался,

<sup>27</sup> См.: Элиан. Пестрые рассказы. М.; Л., 1963. С. 28 (II 42). Правда, комментаторы упоминают и Диогена Лаэрция. Оставим в стороне вопрос о сравнительной ценности этих свидетельств и отметим лишь, что Диоген Лаэрций был, как видно, в числе почитаемых Мором авторов (*Utopia*. Р. LXXXVII, CLXI, CLXV, 260, 283, 301, 379, 391, 432, 443, 446).

<sup>28</sup> Утопия. С. 92; *Utopia*. Р. 104.

<sup>29</sup> Утопия, 1978. С. 163; *Utopia*. Р. 104.

<sup>30</sup> Утопия. С. 91.

<sup>31</sup> Утопия, 1978. С. 164.

что, собственно, понимал под равенством автор «Утопии» и удачно ли осмыслены ее важнейшие места в существующих русских переводах.

Рассмотрим одно из таких мест. Гитлодей восхищается мудрейшими установлениями утопийцев<sup>32</sup>. Но что поражает его больше всего? Даже среди русских переводчиков и толкователей «Утопии» тут обнаруживаются весьма существенные расхождения. У утопийцев, читаем в переводе А. И. Малеина (этот перевод, как считается, позже выверял Ф. А. Петровский), «и добродетель встречает надлежащую оценку, и, несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие»<sup>33</sup>.

В переводе А. Г. Гёнкеля, выдержанном несколько изданий, интересующий нас отрывок звучит иначе: «В Утопии число законов невелико; правительство распространяет свое благое влияние на все классы общества. Заслуги там вознаграждаются, и вместе с тем общественное имущество распределяется таким образом, что каждый пользуется всеми удобствами жизни»<sup>34</sup>.

Переложение, как видим, весьма вольное. В переводе Е. В. Тарле находим: государство утопийцев «при помощи весьма немногих законов так хорошо управляет, что и добродетель там награждается, и все пользуются полным изобилием»<sup>35</sup>. Последний перевод, сделанный Ю. М. Каган, дает еще один вариант: утопийцы «весьма успешно управляют государством с помощью весьма малочисленных законов: и добродетель там в цene, и при равенстве всем всего хватает»<sup>36</sup>.

Но что же все-таки обеспечивает всеобщий достаток? Это обходит Гёнкель, опускает Тарле. Малеин предлагает: «...несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие» (курсив наш.—А. Ш.). Стало быть, Мор полагал, что у утопийцев добродетель встречала надлежащую оценку, а равенство имущества вроде бы служило неким препятствием для всеобщего благоденствия? Согласиться с такой трактовкой трудно, поскольку автор «Утопии» отнюдь не воспринимал общность имуществ как помеху благоденству граждан. Ю. М. Каган уточняет: «...и добродетель там в цене, и при равенстве всем всего

<sup>32</sup> Utopia. Р. 102: «Quam ob rem quum apud animum meum reproto, prudentissima atque sanctissima instituta Utopiensium, apud quos tam paucis legibus, tam comode res administrantur, ut et virtuti precium sit, et tamen aequatis rebus omnia abundant omnibus...»

<sup>33</sup> Утопия. С. 90—91.

<sup>34</sup> Mop T. Утопия. 2-е изд. СПб., 1905. С. 74.

<sup>35</sup> «Утопия» сэра Томаса Мора//Тарле Е. В. Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени. СПб., 1901. С. 43.

<sup>36</sup> Утопия, 1978. С. 162—163

хватает». Позиция, как видим, нейтральная, читателю остается гадать, какова же тут роль равенства. А может быть, Мор все-таки выражался более определенно? Текст допускает и такое понимание: в Утопии «при столь немногих законах государство управляетя столь умело, что и доблесть награждается, и тем не менее вследствие равномерного распределения все имеют все в достатке»<sup>37</sup>.

Зависимость здесь между новым способом распределения, основанным на «общности всего», на наш взгляд, совсем другая, чем полагал А. И. Малеин: не несмотря на равенство имущества, а благодаря справедливому распределению никто ни в чем не испытывает недостатка. Следовательно, препятствием для достижения всеобщего достатка могло бы скорее, по Мору, служить вознаграждение доблести, чем «общность всего»? Однако утописты мудро блюдут меру: вознаграждая доблесть, заслуженно предоставляют ей определенные преимущества, они тем не менее обеспечивают общий достаток при помощи соразмерного распределения.

Обратим внимание, что на первом месте стоит вознаграждение доблести (добродетели). Мор как бы спорит с теми, кто предлагает учредить совершеннейшее поравнение из опаски, что какие-либо преимущества людям, сугубо достойным, могут повести к тому, что одни будут иметь много, другие — слишком мало. Избежать этого позволит равномерное распределение всего, предусматривающее и вознаграждение доблести, и обеспечение достатка каждому.

Мы особенно отметим этот подход в делу: Мор ратует не просто за всеобщий достаток и абсолютно равную долю каждого, он враг нивелировки, усреднения, он озабочен тем, чтобы в государстве всеобщего благодеяния, возведенном на принципе справедливости, талантливые и нравственно совершенные люди занимали бы достойное место.

Ограничимся здесь этими соображениями<sup>38</sup> и упомянем лишь, что представления Мора о равенстве — один из вариантов «про-

<sup>37</sup> Utopia. Р. 102. Трудность осмыслиения этого места связана с тем, что «aequare» имеет значение и «распределять поровну» и «распределять равномерно». Равномерное распределение может и не быть распределением уравнительным, оно не исключает известной «пропорциональности», когда принимаются во внимание «соображения справедливости». Мор, как и Эразм, полагал, что справедливость грозит превратиться в несправедливость, коль скоро тенденции всеобщего поравнения возьмут верх над «геометрическим равенством».

<sup>38</sup> Много лет назад, публикуя часть наблюдений, вошедших в данную главу, мы предполагали в дальнейшем разобрать все тексты «Утопии», относящиеся к этой теме. Ныне делать этого не надо, поскольку в указ. соч. О. Ф. Курдягцева читатель найдет и ряд важных дополнительных источников, и их глубокий анализ.

порционального равенства», вариант его приложения к идеи общности. Но у автора «Утопии» это так называемое геометрическое равенство противопоставляется всеобщему поравнению, «уравниловке», «равенству арифметическому». А это различие, столь характерное для античной общественной мысли<sup>39</sup>, стало достоянием гуманистов. Об этом писал и Эразм.

Возможно ли, однако, согласовать привилегии с идеей равенства? Понять Мора помогает нам обращение к античным теориям, трактующим эту тему. Там обычно проводили строгое различие между «равенством геометрическим» (или «пропорциональным»), т. е. «соответственно достоинству», и «равенством арифметическим» (поголовным поравнением). Это различие унаследовали и гуманисты.

В учении о «пропорциональном равенстве» они находили подчас почву для своих притязаний на важный общественный статус, который бы соответствовал их «доблести». Автор «Золотой книжечки» ревниво оправдывал подобные притязания: в умелом управляемом государстве людям талантливым, деятельным, нравственно совершенным обеспечено достойное положение<sup>40</sup>.

Коль скоро мы будем учитывать, что в «Утопии» Мор предлагал собственный вариант «геометрического равенства», пусть в форме, очень смягченной заботой о благоденствии рядовых граждан, нам станет понятней и его позиция в тех спорах, которые были связаны со взлетом уравнительских стремлений народных низов, например анабаптистов<sup>41</sup>.

Известно, как резко выступал Мор уже после выхода в свет «Утопии», в годы начавшейся Реформации, и против перекрещенцев, и против «еретиков», требовавших возврата к раннехристианскому равенству. Мы были бы не правы, если бы отнесли все это лишь к «миролюбию» Мора, его страху перед народным восстанием, страху, разбуженному будто бы только событиями Крестьянской войны в Германии. Эти события,

<sup>39</sup> О различных видах равенства у античных мыслителей писали многие наши исследователи. См., например: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 1969; Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929; Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. М., 1966; Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. Из зарубежных работ следует назвать: Harvey F. D. Two Kinds of Equality / Classica et Mediaevalia. 1965. XXVI. Заметим, что, несмотря на хорошее знание предмета, Мартин Флейшер уверяет, будто Утопия возведена на принципе «арифметического равенства». См.: Fleisher M. Radical Reform and Political Persuasion in the Life and Writings of Thomas More. Genève, 1973. P. 68.

<sup>40</sup> Utopia. P. 102.

<sup>41</sup> См.: Осиновский И. Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. С. 271, 305—308; Surtz E. The Praise of Pleasure: Philosophy, Education, and Communism in More's Utopia. Cambridge (Mass.), 1957. P. 188—190.

разумеется, усилили его страхи, но не породили их. Поэтому вопрос о том, сохранил ли Мор верность идеям «Утопии», когда с такой страстью обрушился на «еретиков», призывающих к общности имущества, следует, на наш взгляд, перенести в несколько иную плоскость. Ни самому себе, ни своему пониманию равенства Мор не изменял: и во время создания «Золотой книжечки», и тем более после, когда радикальные идеи подняли на борьбу тысячи крестьян и плебеев, христианское равенство как требование народных масс было Томасу Мору чуждо. Оно совершенно расходилось с его собственным представлением о равенстве, положенным в основу «Утопии».

Когда применительно к Мору мы говорим о тех ограничительных рамках, которые социальная среда накладывала на его мысль, нам стоит вспомнить и защищаемый им идеал равенства.

Никто еще удовлетворительно не объяснил, почему Мору было необходимо отнести учреждение Утопии в далекое прошлое<sup>42</sup>, и именно почти на 18 веков, т. е. в дохристианскую эпоху<sup>43</sup>.

Мор, на наш взгляд, отстранился от христианского мира и в географическом, и во временнóм отношении. Не исключено, что определенную роль здесь сыграло и то, что Мор, создавая собственный, гуманистический вариант античного учения о «геометрическом (пропорциональном) равенстве», посредством такого хронологического уточнения отмежевался от уравнительных тенденций ранних христиан, которые в его эпоху обрели новое и грозное звучание. А всеобщее поравнение Томас Мор, верный вдохновившей его античной традиции и идейному достоянию гуманистов, не считал фундаментом наилучшего государственного устройства<sup>44</sup>.

Мор — враг привилегий, приобретенных благодаря знатности происхождения или богатству, но он вовсе не враг любой привилегии. Ему представляется совершенно естественным и справедливым — и в этом характернейшая черта его гуманистического мировоззрения,— когда люди, отличающиеся ученоностью и нравственной безупречностью, притязают на руководящее положение в обществе. Он свято верит в правомерность их главной привилегии — не участвовать в непосредственно производительном труде.

Никакого противоречия Мор не видел в том, что поддерживаемый им принцип распределения, который у нас обычно называ-

<sup>42</sup> См.: Утопия, С. 109; Utopia. Р. 120, 395—396.

<sup>43</sup> Попытку провести параллель с деятельностью царя Агиса IV трудно признать удачной. См.: Schoeck R. J. More, Plutarch, and King Agis: Spartan History and the Meaning of «Utopia»// Essential Articles for the Study of Thomas More. Hamden, 1977. Р. 275—280.

<sup>44</sup> More T. The Complete Works. New Haven; L., 1976. Vol. 12. Р. 175, 179—180, 404.

ют «по потребности», носил ограниченный характер и не исключал распределения «по заслугам», если не сказать «по положению».

В этом Мор существенно расходится с теми, кто создавал и развивал плебейское, а позже — плебейско-пролетарское представление о равенстве.

Иными словами, нет ничего ошибочнее, чем видеть в Томасе Море одного из поборников «уравнительного» или даже «грубо-уравнительного коммунизма». Он, напротив, убежденный враг поголовного нивелирования, ибо для него равенство, основанное на справедливости, требует воздаяния каждому по его достоинству — в согласии с обязанностями, исполняемыми ради общего блага.

Да и что за равенство без привилегий, когда, как говоривал Эразм, давали бы поровну молодым и старым, ученым и темным, глупым и мудрым?

**«УТОПИЯ»  
КАК ВЫРАЖЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ЧАЯНИЙ,  
ИЛИ СПОСОБ  
«РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАТЬ»  
ПЕРЕВОДЫ**

\*

Когда-нибудь, когда остынут страсти и новое поколение историков сочтет нужным нелицеприятно оценить слабости и достижения русской послереволюционной историографии, многих, вероятно, удивит, нет, не столько сама ее воинственно-научническая зависимость от высказываний «основоположников», сколько нежелание вникнуть в их суть, даже если речь шла о ключевых понятиях господствовавшей идеологии.

Эта напасть не миновала и историю социалистических идей. Важные вопросы, требовавшие серьезного анализа текстов, не находили решения иногда из-за соответствующих директив, а порой за недостатком исследовательской любознательности. Выдвинутые Марксом и Энгельсом общие положения, касающиеся утопического социализма, относятся, как правило, к его развитию в XIX в. Оценки же различных «проблесков коммунистических идей»<sup>1</sup>, наблюдавшихся в более ранние эпохи, встречаются не так уж часто и отличаются краткостью. Посему частный, казалось бы, вопрос о том, как подходил Энгельс к утопиям Мора и Кампанеллы, «родоначальникам утопического социализма нового времени»<sup>2</sup>, приобретает существенное значение: мы лучше поймем его взгляды на развитие общественной мысли в эпохи, предшествовавшие появлению великих утопистов начала XIX в.—Сен-Симона, Фурье и Оуэна.

Здесь особую весомость имеет отрывок из Введения к «Анти-Дюрингу», где Энгельс говорит о роли буржуазии в борьбе с феодальным дворянством и о самостоятельных движениях «того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата»<sup>3</sup>. Этот отрывок с неболь-

<sup>1</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 364.

<sup>2</sup> См.: Белов П. Т. Указ. соч.

<sup>3</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 17—18.

шими добавлениями<sup>4</sup> вошел в «Развитие социализма от утопии к науке»<sup>5</sup>. Мы приводим его по русскому переводу, сделанному с немецкого издания «Анти-Дюоринга» 1894 г.: «И хотя в общем и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов того времени, тем не менее при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Таково было движение Томаса Мюнцера во время Реформации и Крестьянской войны в Германии, левеллеров — во время великой английской революции, Бабёфа — во время великой французской революции. Эти революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями; таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке — уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли)»<sup>6</sup>.

К словам «утопические изображения идеального общественного строя» дано следующее примечание: «Энгельс имеет в виду, прежде всего, произведения представителей утопического коммунизма — Т. Мора («Утопия», издано в 1516 г.) и Т. Кампанеллы («Город Солнца», издано в 1623 г.)»<sup>7</sup>.

Казалось бы, все ясно. Стоит только подумать об утопиях XVI и XVII столетий, как мгновенно приходят на ум самые знаменитые из них — Мора и Кампанеллы. Это представление, зафиксированное в комментарии, получило широкое распространение среди исследователей, специально занимавшихся у нас Мором и Кампанеллой.

«Теоретическим выражением интересов и чаяний... предпролетариата,— писал И. Н. Осиновский,— были коммунистические утопии Мора и Кампанеллы... Как подчеркивал Ф. Энгельс, имея

<sup>4</sup> Ср.: Там же. С. 664—665

<sup>5</sup> См.: Там же. Т. 19. С. 191.

<sup>6</sup> Там же. Т. 20. С. 17—18. Подлинник цит. по: Marx K., Engels F. Werke. B., 1978. Bd. 20. S. 17—18, где текст тоже воспроизводится по немецкому изданию 1894 г.: «Und wenn auch im ganzen und großen das Bürgertum beanspruchen durfte, im Kampf mit dem Adel gleichzeitig die Interessen der verschiedenen arbeitenden Klassen jener Zeit mitzuvertreten, so brachen doch bei jeder großen bürgerlichen Bewegung, selbständige Regungen derjenigen Klasse hervor, die die mehr oder weniger entwickelte Vorgängerin des modernen Proletariats war. So in der deutschen Reformations- und Bauernkriegszeit die Thomas Müntzersche Richtung; in der großen englischen Revolution die Levellers; in der großen französischen Revolution Babeuf. Neben diesen revolutionären Schilderhebungen einer noch unfertigen Klasse gingen entsprechende theoretische Manifestationen her; im 16. und 17. Jahrhundert utopische Schilderungen idealer Gesellschaftszustände; im 18. schon direkt kommunistische Theorien (Morelly und Mably)».

<sup>7</sup> Marx K., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 685.

в виде произведения представителей утопического коммунизма, в частности Мора и Кампанеллы, теории XVI и XVII столетий, дававшие «утопические изображения идеального общественного строя», сопровождали «революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса» — предпролетариата»<sup>8</sup>.

Автор настоящей книги тоже отдал дань подобному представлению, когда писал о необходимости исследовать именно под этим углом зрения утопии Мора и Кампанеллы<sup>9</sup>.

Однако такое понимание фразы Энгельса, подкрепленное примечанием комментаторов, вызывает определенные трудности. Говоря о самостоятельных движениях «того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата», Энгельс тут же поясняет: «Таково было движение Томаса Мюнцера во время Реформации и Крестьянской войны в Германии, левеллеров — во время великой английской революции, Бабёфа — во время великой французской революции». Англия, как видим, представлена здесь событиями середины XVII в., которые произошли лет 130 спустя после того, как «Утопия» вышла в свет.

Но, быть может, слова «таково было движение...» не понимать буквально и попытаться найти на английской земле в годы, предшествовавшие созданию «Утопии», соответственные вооруженные выступления? Это противоречило бы мысли Энгельса: ведь он недаром подчеркнул, что занимающие нас движения вспыхивали «при каждом крупном буржуазном движении», и сразу же назвал Реформацию и Крестьянскую войну в Германии, Великую английскую и Великую французскую революции. Речь идет, повторяем, о совершенно конкретных исторических событиях — крупных буржуазных движениях. В Англии накануне 1516 г. ничего подобного не происходило.

Обратим внимание на то, что после перечисления движений Томаса Мюнцера, левеллеров, Бабёфа Энгельс сразу же продолжает: «Эти революционные вооруженные выступления...» Подчеркнем «эти»: не «подобные» или «похожие», а именно «эти», поскольку именно они вспыхивали «при каждом крупном буржуазном движении».

«Эти революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса *сопровождались* (курсив наш. — A. Ш.) соответствующими теоретическими выступлениями: таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального обществен-

<sup>8</sup> Осиновский И. Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. С. 5, 195; *Он же*. Томас Мор и его «Утопия» // Томас Мор. Утопия. М., 1978. С. 80.

<sup>9</sup> Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. С. 9—10, 346—348, 352.

ного строя...» Как бы мы ни понимали слово «сопровождались» — «происходили одновременно», «влекли за собой», «имели своим непосредственным продолжением или следствием» — во всех случаях издание «Утопии» (1516) *предшествовало* движению Мюнцера (1524—1525), не говоря уже, конечно, о левеллерах или Бабёфе.

Нас также озадачит подсказываемая комментарием связь между перечисленными революционными вооруженными выступлениями и соответствующими теоретическими выступлениями — в том числе и Томаса Мора. Вправе ли мы утверждать, что его «Утопия» соответствовала грядущему движению Мюнцера или вообще каким бы то ни было революционным вооруженным выступлениям? Их-то ведь Мор боялся пуще огня.

Но не будем придавать решающего значения хронологическому и географическому несоответствию между появлением «Утопии» и движением Мюнцера, поскольку текст подлинника допускает и иное понимание интересующего нас отрывка.

Если основываться только на русском переводе, то нелегко избежать затруднения. Сторонники Мюнцера во время Крестьянской войны действительно сражались с оружием в руках. А Бабёф? Энгельс, выходит, расценивал движение Бабёфа как «революционное вооруженное выступление» или даже как «революционное вооруженное восстание»<sup>10</sup>? Не слишком ли сильно сказано о неудавшемся заговоре<sup>11</sup>? Пусть заговорщики и ставили себе целью поднять восстание, их безумная попытка «непосредственно перескочить от Директории к коммунизму»<sup>12</sup> была заранее пресечена. До настоящей вооруженной борьбы дело не дошло. Даже события, произошедшие в Гренельском лагере 9 сентября 1796 г., Маркс назвал подавлением заговора<sup>13</sup>.

Наши озадаченность не рассеется, когда мы обратимся к Английской революции. Левеллеры и впрямь были организаторами вооруженных выступлений, солдатских бунтов<sup>14</sup>. «Левеллеры,— пояснялось в издании «Анти-Дюринга» 1928 г.,— политическая партия, выставлявшая во время английской революции самую радикальную, демократическую программу. Под их идейным влиянием вспыхнул ряд восстаний в армии, которые были жестоко подавлены Кромвелем»<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> Так в одном из вариантов перевода. См.: Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М., 1940. С. 39.

<sup>11</sup> См.: Буонарроти. Заговор во имя равенства: В 2 т. М., 1963. Т. 1. С. 416—417.

<sup>12</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 644.

<sup>13</sup> См.: Там же. Т. 14. С. 143.

<sup>14</sup> См.: Сапрыкин Ю. М. К вопросу об отношении левеллеров к борьбе классов за землю // Вестник МГУ. 1951. № 4.

<sup>15</sup> См. примеч. в кн.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1928. С. 425—426.

Однако в анализируемом отрывке говорится не о сторонниках Дж. Лилберна, не о радикалах, представлявших интересы мелкой буржуазии, а, как гласит комментарий ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, об «истинных левеллерах» с их крестьянско-плебейской программой: «Энгельс имеет в виду „истинных левеллеров“ („истинных уравнителей“), или „диггеров“ („копателей“)—представителей крайнего левого течения в период английской буржуазной революции XVII века. „Диггеры“, выражавшие интересы беднейших слоев деревни и города, выдвигали требование ликвидации частной собственности на землю, пропагандировали идеи примитивного уравнительного коммунизма и пытались осуществить их на практике путем коллективной распашки общинных земель»<sup>16</sup>.

Формулировки этого комментария родились не сразу: разграничение между просто «левеллерами» и «истинными левеллерами» происходило постепенно. Составители примечания к изданию 1940 г., например, закрывали глаза на мелкобуржуазный характер многих требований левеллеров и видели в них только «представителей движения плебейских элементов города и деревни, выдвигавших во время революции 1648 г. в Англии наиболее радикальные демократические требования»<sup>17</sup>.

В 1957 г. комментарий был опубликован в иной редакции: «Имеются в виду „истинные левеллеры“ („истинные уравнители“) или, как их называли, „диггеры“ („копатели“)—представители интересов городской и деревенской бедноты в период английской буржуазной революции XVII века»<sup>18</sup>. В другом месте Маркс и Энгельс причисляли левеллеров к коммунистам<sup>19</sup>. Во время Английской буржуазной революции, отмечал Маркс, в лице «уравнителей» впервые появилась «действительно активная коммунистическая партия»<sup>20</sup>. Комментаторы и здесь сочли необходимым подчеркнуть, что речь идет об «истинных левеллерах»<sup>21</sup>.

То, что именно «истинные левеллеры» упоминали на спасительность отмены частной собственности, сомнению не подлежит<sup>22</sup>. Однако между текстом и новым комментарием возникает известная неувязка: трудно отнести слова о «революционных вооружен-

<sup>16</sup> См. примеч. в кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 685.

<sup>17</sup> См. примеч. в кн.: Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М., 1940. С. 39.

<sup>18</sup> См. примеч. в кн.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1957. С. 18.

<sup>19</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 463.

<sup>20</sup> Там же. Т. 4. С. 301.

<sup>21</sup> Там же. С. 564.

<sup>22</sup> Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. М.; Л., 1950. С. 58, 64, 73, 74, 78, 85, 87, 91.

ных выступлениях» (а тем более «вооруженных восстаниях»!) к «истинным левеллерам», которые принципиально отказывались от применения оружия, уповая лишь на силу примера и проповеди<sup>23</sup>. Не случайно в немецком издании соответствующий комментарий содержит существенное дополнение. В нем отмечается, что в ходе революции «истинные левеллеры» отделились от левеллеров, а когда солдаты Кромвеля стали разгонять «истинных левеллеров», занявших пустоши, те не оказали никакого сопротивления, «поскольку в этой борьбе хотели применять только мирные средства и полагались на силу убеждения»<sup>24</sup>.

Комментаторы здесь правы. Вооруженного выступления «истинных левеллеров» не было. Движение отличалось мирным характером, отвергало насилие, питая надежду на всемогущество слова и внутреннее просветление<sup>25</sup>. Тем паче не приходится говорить об их «вооруженном восстании»<sup>26</sup>. Следовательно, либо комментарий нашего издания не полностью соответствует тексту, либо при переводе допущена какая-то неточность?

Правомерность высказанных сомнений еще более подтверждается, когда мы обнаружим, что в первом издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса значится: «Эти революционные выступления»<sup>27</sup>. Эпитет «вооруженные» отсутствует. Нет здесь и примечания об «Утопии» и «Городе Солнца», поскольку это Собрание сочинений выходило без комментариев. А как сей отрывок передавался прежде?

В первых русских изданиях «Анти-Дюринга» и «Развития социализма от утопии к науке» говорилось, как правило, о «движениях» или «революционных попытках» и тоже без эпитета «вооруженные»<sup>28</sup>. Так было в изданиях «Анти-Дюринга» 1928,

<sup>23</sup> Там же. С. 64, 81, 91, 104, 112, 164.

<sup>24</sup> Marx K., Engels F. Werke. Bd. 20. S. 629.

<sup>25</sup> См.: Сапрыкин Ю. М. Социально-политические идеи диггеров // Вестник МГУ. 1959. № 2; Барг М. А. Народные низы в Английской революции XVII в. М., 1967; Павлова Т. А. О зарождении коммунистических воззрений Уинстэнли / История социалистических учений, 1987. М., 1987; Она же. Уинстэнли. М., 1987.

<sup>26</sup> Комментаторы, указавшие на то, что в этих текстах подразумевались именно «истинные левеллеры», исходили из тогдашних представлений о различии классовой позиции сторонников Лиллбёрна и Уинстэнли. Маркс и Энгельс, несомненно, высоко ценили коммунистические устремления левеллеров, однако мы не знаем, проводили ли они резкую грань между левеллерами, отвергающими насилие, и левеллерами, подбивавшими солдат на бунт. Поэтому до тех пор, пока не будет изучено, что было известно им о двух различных течениях среди левеллеров, нельзя утверждать, будто в глазах Маркса и Энгельса английские уравнители являлись воплощением миролюбия и ненасильственных действий.

<sup>27</sup> См.: Marx K., Энгельс Ф. Соч. Т. XV (1935). С. 509.

<sup>28</sup> См.: Энгельс Ф. Развитие научного социализма. Женева, 1884. С. 4. Ср., например, с изданием «Анти-Дюринга» (1907. СПб., С. 12).

1929, 1930, 1931 гг., а также в многочисленных публикациях брошюры «Развитие социализма» (1926, 1928, 1931, 1932, 1933 гг.). Правда, при выпуске в свет XIV тома Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса отмечалось: «Ввиду того, что большая часть материалов этого тома уже была набрана и отпечатана еще при старом руководстве Института Маркса и Энгельса, чтобы не оттягивать его издание на ряд месяцев, переводы остались старые: «Анти-Дюринг» и «Людвиг Фейербах» — по изданиям 1928 г., «Диалектика природы» — по изданию 1930 г. Проверку и исправление переводов приходится оставить до следующего издания»<sup>29</sup>.

В XV томе, вышедшем в декабре 1933 г., при перепечатке «Развития социализма» «революционные попытки» были исправлены на «революционные выступления». Тем не менее брошюра по-прежнему издается с «революционными попытками» и в 1934, и 1935, и 1936 гг.

При новой публикации «Анти-Дюринга» в 1938 г., как значилось на титуле, «в исправленном переводе» читателю сообщали, что в основу издания «положен перевод, выпущенный в 1923 г. издательством „Московский Рабочий“». Несмотря на ряд существенных недостатков, этот перевод все же лучше других передавал текст подлинника<sup>30</sup>. Здесь «революционные попытки» не были исправлены на «революционные выступления»<sup>31</sup>.

Решительная трансформация текста происходит в 1940 г. В новом издании «Развития социализма от утопии к науке», подготовленном к печати И. И. Прейсом и М. Д. Каммари под редакцией В. М. Познера, интересующая нас фраза передана так: «Эти революционные *вооруженные восстания* (курсив наш.— А. Ш.) еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями...»<sup>32</sup>

Однако в новом издании «Анти-Дюринга», тоже подготовленном И. И. Прейсом под редакцией В. М. Познера, эта фраза звучала иначе: «Эти революционные вооруженные выступления...» Но не надо думать, что излишне смелое толкование быстро уступило место более осторожной формулировке. Хотя последующие издания «Анти-Дюринга» (1948, 1950, 1951, 1953 гг.) продолжали выходить с «вооруженными выступлениями», «вооруженные восстания» тоже остались. Много лет перевод одного и того же текста публиковался в двух вариантах: в «Развитии социализма», следуя изданию 1940 г., с «вооружен-

<sup>29</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XIV. С. VIII.

<sup>30</sup> Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1938. С. 3.

<sup>31</sup> Там же. С. 16.

<sup>32</sup> Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М., 1940. С. 39.

ными восстаниями», а в «Анти-Дюринге» — с «вооруженными выступлениями».

Наконец, при работе над вторым изданием Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса «вооруженные восстания» были заменены на «вооруженные выступления»<sup>33</sup>. Но в подлиннике не говорится ни о «вооруженных восстаниях», ни даже о «вооруженных выступлениях». Упомянуты лишь революционные «Schilderhebungen»<sup>34</sup>. Найти точный русский эквивалент этому слову очень трудно. «Schilderhebung» (буквально: «поднятие щита», «поднятие на щит») связано не обязательно с самой вооруженной борьбой, а зачастую лишь с актом избрания предводителя, вождя, конунга. Этимологически это слово объясняется, вероятно, древним обычаем германцев. «Нового короля,— пишет Якоб Гримм,— не только избранного, но и наследственного, поднимали на щит и, дабы каждый мог его видеть, трижды проносили его по кругу среди собравшегося народа, который ударами в щиты (?) выражал свое одобрение»<sup>35</sup>. Эта процедура и называлась «поднятие на щит» — «Schilderhebung». Она отразилась во фразеологии немецкого языка<sup>36</sup> и даже в русском выражении «поднимать на щит»<sup>37</sup>.

Торжественное поднятие на щит знаменовало не только провозглашение вождем, но и наделение соответствующей властью, правами. «Schilderhebung» близко по значению также «введение в должность, в сан» и т. д.

Отмечая необходимость уточнения понятия «Schilderhebung», мы ограничимся этими предварительными соображениями, поскольку окончательное решение может быть достигнуто лишь в результате специального исследования соответствующей лексики Энгельса. Однако и «поднятие на щит», и «провозглашение» как изначальное представление о «Schilderhebung» могут помочь избежать досадной неувязки, когда Бабёф оказывается во главе вооруженного восстания, да и левеллеры, призывавшие обрабатывать пустоши, обретают воинственность, которой не обладали.

Кроме того, правильное понимание слов «revolutionäre Schilderhebungen» важно и для уточнения оценки Энгельсом мюнцерцев, левеллеров, Бабёфа и его единомышленников. Этими выступлениями еще не сложившийся класс заявлял о себе революционным путем: так было при каждом великому

<sup>33</sup> Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 191; Т. 20. С. 18.

<sup>34</sup> Marx K., Engels F. Werke. Bd. 20. S. 18.

<sup>35</sup> Grimm J. Deutsche Rechtsalterthümer. B., 1956. Bd. 1. S. 323.

<sup>36</sup> Borchardt-Wustmann-Schoppe. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund... Leipzig, 1955. S. 425.

<sup>37</sup> Фразеологический словарь русского языка. М., 1967. С. 331.

движении буржуазии — в Германии, Англии, Франции. Они как бы «проводили» его новую, грядущую роль в истории Европы.

Однако, обращая внимание на первоначальное значение слова «*Schilderhebung*», мы подчеркнули бы не только отсутствие подходящего в литературном отношении адекватного русского выражения, но и отметили бы куда более серьезное обстоятельство: расхождения между опубликованными вариантами перевода объясняются, на наш взгляд, вмешательством лиц, стремившихся радикально «революционизировать» текст.

Известно, что некоторые из переводов «Развития социализма от утопии к науке» были просмотрены автором<sup>38</sup>. Поэтому, когда возникает трудность при осмыслинии какой-нибудь фразы немецкого подлинника, вполне оправдано стремление заглянуть в текст перевода, тем более, если мы знаем, что он был одобрен Энгельсом.

Первым вышел в свет французский перевод<sup>39</sup>. Поль Лафарг, не желавший совершенствовать в знании немецкого языка, к работе переводчика относился весьма своеобразно, и Энгельсу это издание стоило не мало труда<sup>40</sup>.

В этой брошюре опять неожиданность. Слово «*Schilderhebungen*» Лафарг передал почти калькой — «*levées de boucliers*»<sup>41</sup>. Немецкое «поднятие щита» или «поднятие на щит» передано французским «поднятием щитов». Если к тому же не упустить из виду, что и в немецком, и во французском текстах занимающее нас выражение стоит во множественном числе, то идентичность может показаться идеальной. Однако за французской «почти калькой» скрывается и другой смысл, и другой образ! Щиты здесь тоже поднимают, но с иной целью. «*Levée de boucliers*» — «вооруженное восстание», «возмущение», «всеобщий протест». Истоки выражения лежат уже «по эту сторону Альп»: римские легионеры, отказываясь подчиняться полководцу, потрясали поднятыми щитами. Не будем распространяться о различии «германского» и «романского» образа. Отметим другое: если автор и принял это выражение, то это все не означает, что он принял его в самом крайнем смысле — «вооруженного восстания», подразумевать можно было и просто «массовое возмущение», «всеобщий протест», «акт неповиновения».

<sup>38</sup> См.: Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Ч. 1 и 2.

<sup>39</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 566—567.

<sup>40</sup> См.: Там же. Т. 35. С. 332; см.: Т. 36. С. 178.

<sup>41</sup> Engels F. Socialisme utopique et socialisme scientifique. Р., 1880. Р. 10.

В итальянском переводе «Развития социализма», сделанном Паскуале Мартиньетти, переводе, встреченном Энгельсом с одобрением, употреблено такое же выражение — «levata di scudi»<sup>42</sup>, т. е. «восстание», «мятеж», «массовый протест», «выражение недовольства». Мы воздержимся от рассуждений о стойкости «романской традиции» по той простой причине, что Мартиньетти шел за Лафаргом — он переводил не с немецкого подлинника, а с французского перевода. Невзирая на это, Энгельс, просмотревший рукопись Мартиньетти и сделавший ряд исправлений, отозвался о работе с большой похвалой<sup>43</sup>.

Обратимся к английскому переводу, осуществленному Эдуардом Эвелингом, зятем Маркса. Энгельс сам сверял и редактировал этот перевод<sup>44</sup>. В тексте значится: «revolutionary uprisings»<sup>45</sup>. Только ли это «революционные восстания»? Слово *uprising* достаточно многогранно, но мы ограничимся констатацией: прилагательного «вооруженные» нет и здесь.

Перевод Эвелинга неоднократно переиздавался. Однако в начале 30-х годов был почему-то признан недостаточно хорошим. Его заменил новый перевод. Анализируемая фраза появилась в иной редакции: «Alongside of these revolutionary *armed uprisings* of a class...»<sup>46</sup> Не исключено, что именно этот английский текст с его «вооруженными восстаниями», отличающийся от того, который редактировал Энгельс, будучи взят для сравнения с оригиналом, и послужил толчком к изменению в русском издании 1940 г.: уже существовавшие тогда «вооруженные выступления» превратились в «вооруженные восстания».

Мы провели эти сравнения для того, чтобы показать: в случае, когда невозможно найти русское выражение, абсолютно адекватное словам подлинника, необходимо давать перевод сообразно с реальным содержанием в целом.

Применительно к разбираемому отрывку скажем, что вариант «революционные выступления» (как это было в первом издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса) имеет, на наш взгляд, преимущество перед новой редакцией, поскольку нет никакой уверенности, что сам Энгельс, употребив слово «*Schilderhebung*», находился под влиянием «романского образа», да еще в его крайнем воплощении. Не будем повторять, как трудно согласуется смысл содеянного Бабёфом и «истинными

<sup>42</sup> Engels F. Il socialismo utopico e il socialismo scientifico. Benevento, 1883.

<sup>43</sup> См: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 35—36; Т. 37. С. 291; Т. 38. С. 285.

<sup>44</sup> Там же. Т. 36. С. 384; Т. 38. С. 239, 241, 247, 248.

<sup>45</sup> Engels F. Socialism Utopian and Scientific / Translated by Edward Aveling. L., 1892. P. 5.

<sup>46</sup> Marx K. Selected Works in two Volumes. Moscow; L., 1935. P. 143.

левеллерами» с представлением о действительном вооруженном восстании.

Однако мы не довели бы дело до конца, если бы не сказали, что задача, которую мы перед собой поставили, еще более усложняется. Все наши рассуждения, касающиеся «древнегерманского» и «романского» представления о «*Schilderhebung*», теряют практический смысл, когда выясняется, что в немецком языке (не исключено, что здесь прямое заимствование из французской фразеологии) «*Schilderhebung*» имело и второе, «мягкое» значение. Заметим, к примеру, что некоторые лексикографы-итальянцы передают «*levata di scudi*» как «*Schilderhebung*»<sup>47</sup>, т. е. вопреки вероятному происхождению от древнего обычая германцев привязывают немецкое слово к «романскому образу». Но здесь нет ни упрощения, ни пристрастия. Действительно, в XIX в. «*Schilderhebung*», помимо «поднятия на щит», имело значение «сигнал к вооруженному сорищу», «начало восстания», а также и просто «восстание»<sup>48</sup>.

Тем не менее мы и теперь воздержались бы видеть в подобных «поднятиях щитов» именно «вооруженные выступления», поскольку речь идет не только о Томасе Мюнцере и его сподвижниках. У Бабёфа, к примеру, это скорее проявление боевого духа, призыв к борьбе, выражение готовности сражаться. Не случайно В. Засулич, готовя русское издание «Развития социализма от утопии к науке», предпочла «революционные попытки»<sup>49</sup>. Это диктовалось, возможно, нежеланием ставить на одну доску вооруженную борьбу мюнцерцев с неудавшимся заговором Бабёфа.

Если бы мы, ссылаясь на текст Лафарга, остановились именно на «вторичном» значении слова «*Schilderhebung*», то и тогда, принимая во внимание суть описываемого, не решились бы передавать эти «поднятия щитов»<sup>50</sup> как «вооруженные выступле-

<sup>47</sup> Bidoli E., Cosciani G. Dizionario italiano-tedesco. Torino, 1959. P. 429.

<sup>48</sup> Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1899. Bd. 9. S. 129.

<sup>49</sup> См.: Энгельс Ф. Развитие научного социализма / Пер. с нем. В. Засулич. Женева, 1884. С. 4.

<sup>50</sup> Себе в утешение можем заметить, что не только нам приходилось ломать голову над «поднятием щитов». Антонио Атьенца, первый, кто перевел «Развитие социализма от утопии к науке» на испанский язык,—он делал это с французского текста—отделил «поднятие» («levantamiento»)—«поднятие» и «восстание») от «щитов». Поскольку в испанском языке escudo означает не только «щит», но и «защита», Атьенца создал еще один образ: «Этим восстанием революционных защитников класса...» (Engels F. Socialismo utópico y socialismo científico. Madrid, 1886. P. 19): «A estos levantamientos de defensores revolucionarios de una clase». Показательно, что в первом переводе «Анти-Дюринга», сделанном в Испании с немецкого оригинала, *Schilderhebungen* были переданы соответственно со своим первоначальным значением. См.: Engels F. Anti-Dühring. Madrid, 1932. P. 5: «...con estas afirmaciones revolucionarias de personalidad de una clase incipiente...»

ния». Мы либо выбрали, по примеру Засулич, выражение, которое бы в одинаковой степени подходило бы и к «Мюнцерову направлению», и к левеллерам, и к Бабёфу. Мы восстановили бы «революционные попытки» или заменили их словами «революционные порывы».

Так мы преодолели бы и затруднение, касающееся левеллеров. Ведь вопреки примечанию, нет никакой уверенности, что, говоря о них, Энгельс имел в виду на самом деле «диггеров» с их демонстративным непротивленчеством, а не просто «левеллеров», тех, кто не страшился в случае необходимости призывать к оружию.

Ясно, что при переводе или при его редактировании не очень-то думали о стиле. В русском тексте трижды, почти подряд, повторено слово «движение» (в подлиннике — «Bewegung», «Regungen», «Richtung») и дважды — «выступления» (в подлиннике — «Schilderhebungen», «Manifestationen»)<sup>51</sup>.

В результате произошла неоправданная нивелировка текста: движение буржуазное («bürgerliche Bewegung»), движения предпролетариата («Regungen»), движения Мюнцера («Thomas Müntzersche Richtung»), левеллеров, Бабёфа. Текст обедняется в стилистическом отношении и утрачивает нюансы, важные по существу. В подлиннике нет ни движения Мюнцера, ни движения Бабёфа. Там сказано: «Таковы в эпоху немецкой Реформации и Крестьянской войны направление Томаса Мюнцера, в великой английской революции — левеллеры, в великой французской революции — Бабёф»<sup>52</sup>.

Материалы из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу» еще больше подтверждают правомерность такого перевода — «Мюнцерово направление» или «направление Томаса Мюнцера». Противоположность между рабочими и капиталистами, читаем мы там, «побуждала отдельные умы идти в их критике дальше, распространять требование равенства не только на равенство

<sup>51</sup> В издании «Анти-Дюринга» 1923 г. говорилось о «соответствующих теоретических проявлениях» (с. 27), в издании «Развития социализма» 1926 г. — о «соответствующих теориях» (с. 41), в издании 1932 г. — о «соответствующих теоретических выступлениях» (с. 29), в первом издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (т. XV, с. 509) — о «соответствующих теоретических построениях». Подготовители второго тома издания Сочинений предпочли «теоретические выступления». Хотя существующие русские варианты не передают в полной степени того «демонстративного характера», который носили и «revolutionäre Schilderhebungen», и соответствующие им «theoretische Manifestationen». Слово «Manifestation» при подготовке отдельного издания брошюры было заменено на «Kundgebung», одно из значений которого — «манифестация». Ср. журнальную публикацию (*Vorwärts*. 1877. № 1. С. 1) с первым немецким изданием в виде брошюры: *Engels F. Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft*. Höttingen; Zürich, 1882. С. 8.

<sup>52</sup> Marx K., Engels F. Werke. Bd. 20. S. 17.

политических прав, но и социального положения, требовать упразднения классовых различий. У Сен-Симона *оба направления* (курсив наш.—*A. Ш.*) выступали вперемешку («*liegen durcheinander*»), у французских аскетических коммунистов последнее [направление] было господствующим...»<sup>53</sup>

Сопоставив этот набросок с окончательным текстом, увидим, что, говоря о двух направлениях, Энгельс подразумевал буржуазное направление и пролетарское.

Необходимо отметить, что, когда писался этот черновик, Энгельс еще не думал ни о Мюнцере, ни о левеллерах. Его представление о пролетарском направлении было связано с «французскими аскетическими коммунистами», с Морелли и Мабли как первыми представителями нового учения<sup>54</sup>.

В этой связи сама мысль о Мюнцере и левеллерах появляется уже после того, как упомянуты «отдельные умы» (вероятно, Морелли и Мабли), Сен-Симон и Оуэн<sup>55</sup>.

«...У Сен-Симона оба направления выступали вперемешку, у французских аскетических коммунистов последнее [направление] было господствующим. Прямо опираясь на французский материализм, Оуэн развил его в виде системы в стране наиболее развитого капиталистического производства и порожденных вследствие этого противоположностей»<sup>56</sup>.

Только после этих слов в черновом наброске появляется краткая в виде тезиса запись. Она непосредственно связана с концом предыдущей фразы, где говорилось о порожденных капитализмом противоположностях («*Gegensätze*»). Размышление о них, столь характерных для Англии времен Оуэна, вызывает необходимость совершить небольшой исторический экскурс, дабы показать, что эта противоположность («*Gegensatz*») присуща всему развитию буржуазии.

Сам характер исторического экскурса требовал, чтобы он был перемещен туда, где ему надлежало быть по хронологическим соображениям. В чистовой редакции, развертывая этот тезис, Энгельс добавил соответствующий отрывок и поместил его после слов о представителях буржуазии, изображающих из себя представителей страждущего человечества.

«Мюнцерово направление», повторим, появилось в окончательном тексте уже после того, как Энгельс в черновике писал об «обоих направлениях» у Сен-Симона и «направлении», ставшем господствующим у «французских аскетических коммунистов».

<sup>53</sup> Engels F. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Moscow; L., 1935. S. 397 (далее: Anti-Dühring).

<sup>54</sup> Ibid. S. 396.

<sup>55</sup> Ibid. S. 397.

<sup>56</sup> Ibid.

Одно это указывает на желательность не заменять «направление Томаса Мюнцера» на «движение». Последнее вряд ли может претендовать на идентичность немецкому слову «Richtung». Тем более что в этом же переводе *Richtung* применительно к Сен-Симону передано как «направление»<sup>57</sup>. Не говоря уже, что во всех прижизненных изданиях «Анти-Дюоринга» было сохранено «Thomas Münzersche Richtung»<sup>58</sup>.

Отмечая это, мы, разумеется, ни в какой мере не ставим под сомнение права Мюнцера именоваться главою движения, и весьма грозного, как и не хотим умалить значение левеллеров или Бабёфа, когда уточняем, что в подлиннике рядом с их упоминаянием нет слова «движение». Мы не минуем столь маленькую подробность, так как эти «движения», отсутствующие в подлиннике, наделены в русском переводе важной связующей функцией: с одной стороны, они принадлежат к упомянутым в предыдущей фразе «самостоятельным движениям того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата», с другой — прямо названы в следующей фразе «революционными вооруженными выступлениями еще не созревшего класса».

Коль скоро мы согласились при затруднениях с подбором адекватного русского выражения давать перевод, сообразуясь с содержанием отрывка в целом, то не пойти ли дальше и не попытаться отыскать какие-то ориентиры в других местах книги? Конечно, в таких, где упомянуты те же события или те же лица. Что в данном случае могло бы принести нам обращение к другим страницам «Анти-Дюоринга»?

Требование социального равенства, писал Энгельс в черновых набросках, впервые «было резко выражено — конечно, в религиозной форме — в Крестьянской войне.— Буржуазная сторона требования равенства была резко,— но еще в виде общечеловеческого требования,— сформулирована впервые у Руссо. Как и при всех требованиях буржуазии, пролетариат и в данном случае, как роковая тень, следует за буржуазией и делает свои выводы (Бабёф). Эту связь между буржуазным равенством и пролетарскими выводами следует развить более подробно»<sup>59</sup>.

При дальнейшей работе над текстом он осуществил свой замысел<sup>60</sup>, показав, что требование уничтожения самих классов выступало сначала в религиозной форме. В Крестьянской войне, например, оно было «стихийной реакцией против вопиющих

<sup>57</sup> См.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 18.*

<sup>58</sup> Т. е. в немецких изданиях «Анти-Дюоринга» 1877, 1878, 1886 и 1894 г.

<sup>59</sup> *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 636—637.*

<sup>60</sup> См.: Там же. С. 104—109.

социальных неравенств... в этой своей форме оно является просто выражением революционного инстинкта...»<sup>61</sup>. Когда же сие требование возникает в ответ на буржуазное требование равенства, оно служит агитационным средством, а со временем Великой французской революции является боевым кличом французских рабочих<sup>62</sup>.

«Средневековые мистики,— писал Энгельс,— мечтавшие о близком наступлении тысячелетнего царства, сознавали уже несправедливость классовых противоположностей. На пороге новой истории, 350 лет тому назад, Томас Мюнцер провозгласил это убеждение во всеуслышание. Во время английской, во время французской буржуазных революций раздается тот же клич и... (отточие Энгельса.— A. Ш.) отзучав, замирает»<sup>63</sup>.

«Провозглашение убеждения», «призыв», «агитационное средство», «клич», наконец, «боевой клич»— не ближе ли этот ряд образов нашему пониманию слова «Schilderhebungen», чем передаче его как «вооруженные выступления» или «вооруженные восстания»?

Так или иначе, но этот отрывок обязательно должен приводиться во внимание, когда анализируются строки, где в качестве примера революционных «Schilderhebungen» названы «Мюнцерово направление», левеллеры, Бабёф.

Но, может быть, и предыдущую фразу имеет смысл передать иначе? Это позволило бы при переводе избежать повторения одного и того же выражения («...при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса...») там, где Энгельс употребил или синонимы, или близкие по смыслу слова. Вполне допустимо слова «so brachen doch ... selbstständige Regungen... hervor» перевести: «прорывались самостоятельные устремления». Как и Regung, «устремление», если вспомнить его несколько устарелое ныне значение<sup>64</sup>, означает и «движение», и «устремление».

Слова «прорывались самостоятельные устремления», на наш взгляд, точно передают характер этих самостоятельных устремлений, до определенного времени потаенных, зреющих в недрах общества. Кроме того, они хорошо согласуются с представлением о «revolutionäre Schilderhebungen» как о «революционных порывах» в разных проявлениях — от неудавшегося заго-

<sup>61</sup> Там же. С. 108.

<sup>62</sup> См.: Там же.

<sup>63</sup> Там же. С. 161.

<sup>64</sup> Например, у Пушкина: «Синекур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен» («Рославлев»). См.: Словарь языка Пушкина. М., 1961. Т. IV. С. 749.

вора до открытой политической борьбы и вооруженных выступлений.

Согласно наиболее распространенному переводу, «революционные вооруженные выступления» — в их числе Бабёфа во время Великой французской революции — сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями: в XVIII в.— «уже прямо коммунистическими теориями» Морелли и Мабли. Выступление Бабёфа *сопровождалось* теоретическими выступлениями Морелли и Мабли? Роль идей Морелли в мировоззрении Бабёфа хорошо известна<sup>65</sup>. Но глагол «сопровождалось» приводит к недопустимому хронологическому смещению. В действительности же публикации теорий Морелли и Мабли лет на сорок *предшествовали* выступлению Бабёфа.

Поэтому при переводе надо держаться ближе к тексту: «Наряду с этими революционными порывами еще не созревшего класса происходили соответствующие теоретические выступления»<sup>66</sup>.

Такая редакция дает возможность не испытывать замешательства при мысли, что движение Бабёфа конца XVIII в. *сопровождалось* теоретическими выступлениями Морелли и Мабли, которые на самом деле имели место в середине этого столетия.

Пример с их теориями и Бабёфом показывает, что просто «хронологический подход» при решении вопроса, следует ли видеть именно в «Утопии» и «Городе Солнца» те «утопические изображения идеального общественного строя», о которых упомянул Энгельс, явно недостаточен. Искать надо другие критерии. Определяющим здесь могли бы стать слова Энгельса о «*соответствующих* (курсив наш.—А. Ш.) теоретических выступлениях».

Как это понимать? В более широком плане? Исходя из мысли, что утопические изображения идеального общественного строя, возникшие в XVI—XVII вв., — не вообще все, а какие-то вполне определенные, — соответствовали «самостоятельным движениям того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата»?

При объяснении этого отрывка из «Анти-Дюринга» следует ли прямо указывать на утопии Мора и Кампанеллы, принимая за само собой разумеющееся, что оба эти мыслителя были выразителями чаяний и стремлений предпролетариата? Так ли уж бесспорно и обратное, когда ссылкой на эту фразу Энгельса или даже, скорее, на комментарий к ней обосновывается мысль,

<sup>65</sup> См.: Волгин В. П. Французский утопический социализм. М., 1979. С. 49, 65.

<sup>66</sup> «Neben diesen revolutionären Schilderhebungen einer noch unfertigen Klasse gingen entsprechende theoretische Manifestationen her...»

будто «Утопия» и «Город Солнца» были теоретическим выражением интересов предпролетариата?

Вопрос о соответствии некоторых утопических изображений идеального общественного строя самостоятельным движениям предпролетариата решать следует только на конкретном историческом материале. Может быть, теоретическими выступлениями, соответствующими самостояльному движению предпролетариата, были, по Энгельсу, лишь те, которые выражали стремления предпролетарских элементов как реальной общественной группы?

Если основываться строго на тексте «Утопии», то мы вынуждены будем признать, что начертанный там идеал — это идеал прежде всего самого Мора и в определенной степени его единомышленников — гуманистов.

Гуманисты, даже осознавшие себя как некую общность, никогда на деле не были реальной общественной группой, сплоченной единством классовых или сословных интересов. Отсюда и разноголосица в подходе к острым социальным вопросам современности, отсюда и различие их позиций в бурные годы Реформации. Гуманистов объединяли, как правило, не сословные или классовые интересы, а любовь к древней словесности и верность гуманистическим занятиям. Не рискованно ли приписывать именно автору «Утопии» те заслуги, которые принадлежали Мюнцеру? Это его «политическая программа была близка и коммунизму»<sup>67</sup>.

Здесь нелишне вспомнить, что активные выступления Мюнцера начались лет семь спустя после публикации «Утопии», но только у него, у Мюнцера, проблески коммунистических идей впервые становятся выражением стремлений реальной общественной группы<sup>68</sup>.

Тогда в разбираемом отрывке не идет ли речь *прежде всего* об иных, чем «Утопия» и «Город Солнца», утопических изображениях идеального общественного строя? А как же комментарий?

Пример с «вооруженными восстаниями» и возвращение к предыдущему варианту заставляют задуматься над историей самого комментария. Его нет в первом издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, нет его в отдельных публикациях «Анти-Дюринга» и «Развития социализма от утопии к науке» 20-х и начала 30-х годов. По нашим наблюдениям, разумеется совершенно не претендующим на библиографическую полноту, примечание, связавшее упомянутые Энгельсом «утопические изображения идеального общественного строя» с «Утопией» и «Городом Солнца»,

<sup>67</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 371.

<sup>68</sup> См.: Там же. С. 364.

появились впервые в «Избранных произведениях» Маркса и Энгельса. Оно гласило: «Энгельс имеет здесь в виду „изображение идеального общественного строя“ без частной собственности в произведениях представителей утопического социализма Томаса Мора (XVI век) и Кампанеллы (XVI—XVII века)»<sup>69</sup>. Издание выходило под редакцией В. В. Адоратского. Здесь в интересующем нас отрывке все еще оставались «революционные попытки», хотя в XV томе Сочинений К. Маркс и Ф. Энгельс, осуществленном тоже под редакцией В. В. Адоратского в декабре 1933 г., они были заменены на «революционные выступления».

В последующих публикациях «Анти-Дюоринга» и «Развития социализма...» примечание о Море и Кампанелле стало обычным и непременным. Однако в наших изданиях на иностранных языках оно, случалось, отсутствовало. Это примечание с небольшими изменениями вошло во второе издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

Итак, появление этого комментария предшествовало самой решительной редакционной правке перевода, увидевшей свет в 1940 г. Он был составлен, когда не появилось еще ни «вооруженных выступлений», ни «вооруженных восстаний». Когда же перевод был изменен, а комментарий сохранился, не обратили внимания, что от этого еще заметней стал разрыв между текстом и примечанием: стремления автора «Утопии» трудно увязать с «соответствующим» вооруженным восстанием предпролетариата.

Таким образом, точка зрения, отраженная в примечании, была обнародована в 1933 г. Однако мы не рискнули бы утверждать, что комментарий основан на каком-то тогдашнем достижении историков, специально изучавших утопии Мора и Кампанеллы<sup>70</sup>. Тем не менее комментарий стал влиять не только на общие представления о развитии социалистических идей, но и на истолкование конкретных текстов «Утопии» и «Города Солнца». Комментарий, дав возможность причислять «Утопию» к теоретическим выступлениям, которыми сопровождались «революционные вооруженные выступления» предпролетариата или даже его «вооруженные восстания», содействовал преувеличению роли Мора в истории социалистических идей. Тем самым еще больше укоренялся спорный, восходящий к Каутскому тезис. Согласно ему, автор «Утопии» был основателем утопического социализма<sup>71</sup>.

<sup>69</sup> Маркс К. Избранные произведения в двух томах. М., 1933. Т. I. С. 108.

<sup>70</sup> Было бы резонно предположить, что этот комментарий, хотя бы в части, касающейся «Утопии», возник в результате публикации подготовительных работ Энгельса к «Анти-Дюорингу», но данными на сей счет мы не располагаем.

<sup>71</sup> См.: Каутский К. Указ. соч. С. 9—12, 285.

Но о каких все-таки утопических изображениях идеального общественного строя идет речь в разбираемом отрывке? О тех, которые соответствовали «революционным вооруженным выступлениям» предпролетариата, происходившим в XVI и XVII вв., во времена, добавим, великих буржуазных движений? Иными словами, о тех, которые соответствовали борьбе, возглавленной Томасом Мюнцером и вождями левеллеров?

Может быть, ответ на поставленный вопрос надо искать в Германии времен Реформации и Крестьянской войны и в Англии времен буржуазной революции? Известно, что обе эти эпохи дали немало различных утопических изображений идеального общественного строя. О некоторых из немецких проектов писал В. Циммерман в своей «Истории Крестьянской войны в Германии». Эту книгу высоко ценил Энгельс<sup>72</sup>.

Да и на представлениях Мюнцера о будущем общественном строе<sup>73</sup> лежала печать утопичности. «Не только тогдашнее движение, но и вся его эпоха,—отмечает Энгельс,—еще не содержали для проведения в жизнь тех идей, относительно которых у него самого возникало лишь смутное предчувствие. Представляемый им класс не только не достиг еще достаточного развития и не был еще способен подчинить себе все общество и преобразовать его, но едва лишь зарождался. Общественный переворот, рисовавшийся в его воображении, имел еще совсем мало оснований в наличных материальных условиях...»<sup>74</sup>.

Между желаемым и возможным существовал разительный разрыв. «Мюнцер сам, по-видимому,—продолжает Энгельс,—чувствовал глубокую пропасть, отделявшую его теории от непосредственно окружавшей его действительности...»<sup>75</sup>.

Надо ли под «утопическими изображениями» искать непременно утопии в узком смысле этого слова, т. е. представление о наилучшем государственном устройстве, облеченному в форму рассказа о вымышленном путешествии в неведомую страну?<sup>76</sup> Соответственно со словоупотреблением Энгельса, «утопическое» было синонимом «нереального», «фантастического»<sup>77</sup>. Утопический социализм обязан своим названием, заметим между прочим, не этому первоначальному значению «утопии», а производному от нее: «утопии» как «несбыточной мечте», «фантазии».

<sup>72</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 16. С. 412—413.

<sup>73</sup> Там же. Т. 7. С. 371.

<sup>74</sup> Там же. С. 423—424.

<sup>75</sup> Там же. С. 424.

<sup>76</sup> См.: Штекли А. Э. «Утопия» Томаса Мора и социалистическая мысль. С. 74.

<sup>77</sup> См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 269, 276.

Из утопических изображений идеального общественного строя, созданных в Германии во времена Мюнцера<sup>78</sup>, некоторые были Энгельсу, несомненно, знакомы. В этой связи можно было бы, к примеру, вспомнить о «Земском устройстве» Михаэля Гейсмайера, которое не без оснований причисляют к утопиям, или о проекте Бальтазара Хубмайера. Оба они, как иногда считают, находились под сильным влиянием Мюнцера<sup>79</sup>.

Сосредоточимся, однако, на главном. Мюнцер, эта самая величественная, по словам Энгельса, фигура Крестьянской войны<sup>80</sup>, воодушевлял своих единомышленников мечтой о близком перевороте и будущих справедливых порядках. Но прежде всего он сам был творцом достаточно фантастичной картины грядущего общественного устройства. На всем радикальном плебейском движении лежал фантастический отпечаток<sup>81</sup>. Стремление плебейских элементов «выйти за пределы не только настоящего, но и будущего могло быть лишь фантастическим, лишь насилием над действительностью...»<sup>82</sup>.

Значит, под теоретическим выступлением, происходившим в XVI в. наряду с революционным движением — в данном случае мюнцерцев,— мы могли бы понимать *прежде всего* не «Утопию», а проповедь учения самого Мюнцера? Среди утопических картин идеального общественного строя, появившихся в XVI столетии и соответствовавших в известной мере самостоятельной революционной борьбе предпролетариата, первое место, конечно же, принадлежит утопическому изображению грядущего, созданному пылким воображением Мюнцера, или, если говорить словами Энгельса, его «фантастической картине тысячелетнего царства социально-республиканского равенства»<sup>83</sup>.

Обращаясь под таким же углом зрения к XVII в., к движению левеллеров, мы вспомнили бы первым делом утопию одного из их идейных вождей, Джерарда Уинстенли, его «Закон свободы» (1652)<sup>84</sup>. Однако Уинстенли в работах Маркса и Энгельса, насколько можно судить по наиболее полному собранию их сочинений, вообще не упоминается.

Все эти наблюдения не убеждают ли нас в необходимости документально обосновать мнение, гласящее, что под утопическими изображениями идеального общественного строя,

<sup>78</sup> Об этом см., например: *Seibt F. Op. cit.*

<sup>79</sup> См.: *Маркс К.*, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 375, 397, 429—432.

<sup>80</sup> См.: Там же. С. 356.

<sup>81</sup> См.: Там же.

<sup>82</sup> Там же. С. 363.

<sup>83</sup> Там же. С. 372.

<sup>84</sup> См.: *Сапрыкин Ю. М.* Социально-политические идеи диггеров; *Барг М. А.* Указ. соч.; *Уинстенли Дж.* Указ. соч. С. 177—359.

созданными в XVI и XVII вв., Энгельс *прежде всего* имел в виду «Утопию» и «Город Солнца»? Что касается «Города Солнца», то трудно прийти к определенному выводу. В произведениях Маркса и Энгельса нам известно лишь единственное упоминание о Кампанелле, да и то, по всей вероятности, не как об авторе «Города Солнца»<sup>85</sup>.

Мы намеренно позволили себе ряд усложняющих изложение ходов и критических преувеличений, чтобы показать, какой осторожности требует научное комментирование. Лучше вообще не давать примечания, чем дать такое, которое хоть в какой-то степени порождает неясность. «Истинные левеллеры» тому на глядный пример.

Одним словом, предположение, вполне допустимое в комментарии, может высказываться только как предположение. Когда же поясняется, что имелось в виду *прежде всего*, нужны доказательства. Утверждение относительно «Города Солнца» — все еще догадка, хотя и правдоподобная<sup>86</sup>. А как же с «Утопией»?

Есть ли у нас твердые доказательства, что, работая над занимающей нас ныне страницей «Анти-Дюринга», Энгельс действительно имел в виду «Утопию»? Такие доказательства существуют.

В подготовительных работах к «Анти-Дюрингу» мы находим набросок, значение которого для нашей темы трудно переоценить. Отметив, что великие мыслители XVIII в. не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха, Энгельс писал: «Но наряду с противоположностью между знатью, монархией и бургерством существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, бедными рабочими и богатыми тунеядцами — ведь именно это обстоятельство и давало возможность представителям буржуазии выступать в качестве представителей страждущего человечества, — хотя уже и существовала, еще в неразвитой форме и не выдвигаясь на передний план, противоположность между рабочими и капитали-

<sup>85</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 111.

<sup>86</sup> Вопрос о том, в какой степени Маркс и Энгельс были знакомы с творчеством Кампанеллы, не изучен. Французский перевод «Города Солнца» (*Campagnella. La cité du soleil* / Trad. du latin par Villegardelle. Р., 1840) находился в библиотеке Маркса, оставленной в Кёльне. Он включил его в число тех книг, которые просил первым делом переслать ему в Лондон. См. так называемый каталог Р. Даниельса: *Ex libris Karl Marx und Friedrich Engels: Schicksal und Verzeichnis einer Bibliothek*. В., 1967. S. 221. См. также: MEGA<sup>1</sup>, Abt. I. Bd. 5. Moskau; L., 1933. S. 550; Багатурия Г. А. «Тезис о Фейербахе» и «Немецкая идеология» // Научно-информационный бюллетень Сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. 1965. № 12; Далин В. М., Непомнящая Н. И. Исторические книги в библиотеке Маркса // Маркс-историк. М., 1968.

стами. И эта противоположность побуждала отдельные умы идти в их критике дальше...»<sup>87</sup>.

Думая о «французских аскетических коммунистах», Оуэн и Англии, где развитие капитализма зашло уже так далеко, Энгельс мысленно возвращается к прошлому, к возникновению буржуазии, к первым проявлениям противоположности, порождаемой капиталистическим производством, к первым на нее реакциям. Он записывает тезис, который позже развернет: «Буржуазное развитие с самого начала обременено этой противоположностью. Т. Мюнцер, левеллеры, «Утопия» Т. Мора и т. д.»<sup>88</sup>.

В этом перечислении нас не должна удивлять хронологическая непоследовательность. Почему «Утопия» стоит не только после Мюнцера, но и после левеллеров, ведь по времени создания ей, казалось бы, надо быть на первом месте? В основу перечисления положен не хронологический или не только хронологический принцип. Как ясно из дальнейшей разработки этого тезиса, здесь имеется в виду не единый ряд, а два: один начинается с Мюнцера (в развернутом виде: Мюнцерово направление, левеллеры, Бабёф), другой — с «Утопии» (в развернутом виде: «в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке — уже прямо коммунистические теории»). Мюнцер открывает ряд революционных порывов («revolutionäre Schilderhebungen»), «Утопия» — ряд теоретических выступлений («theoretische Manifestationen»).

Попытки найти прямую связь между «Утопией», к примеру, и вооруженными крестьянско-плебейскими выступлениями XVI—XVII вв., как и стремление видеть в «Утопии» или «Городе Солнца» выражение чаяний предпролетариата, считать доказанными нельзя. Что общего имели подлинные чаяния предпролетариата с идеалами этих утопий, покажут только исследования, предпринятые именно с такой целью.

И Мюнцер, и левеллеры, и «Утопия», хотя и по-разному, но все в той или иной степени отражают кардинальнейшее явление — возникновение капиталистического производства и ту специфику, которую вносит — прямо или косвенно — капитализм в издавна существующую общую противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми.

<sup>87</sup> Anti-Dühring. S. 396—397. Выше мы уже цитировали продолжение этого отрывка.

<sup>88</sup> Ibid. S. 397. В издании «Анти-Дюринга» под редакцией Д. Рязанова (1928. С. 337) эта фраза передана не точно: «Это развитие с самого начала было отмечено этим противоречием. Т. Мюнцер, левеллеры, «Utopia», Томас Мор и т. д.».

Это главное, что объединяет Мюнцера, левеллеров и «Утопию». Теоретические выступления — от Мюнцера до Мабли,— потому, возможно, и названы «соответствующими», что они, как и революционные порывы предпролетариата, отражали, по Энгельсу, один и тот же исторический процесс: возникающую и все усиливающуюся противоположность между рабочими и капиталистами.

И все? Мы вправе отметить еще одно: утопические изображения идеального общественного строя, которые в какой-то мере могут быть признаны соответствующими революционным порывам предпролетариата, являются самостоятельными теоретическими выступлениями и выходят за пределы буржуазного направления общественной мысли. Создатели этих утопий тоже — употребим слова Энгельса, сказанные им о философах XVIII в., — принадлежали к числу тех отдельных умов, которые в своей критике существовавших порядков шли дальше остальных и не ограничивались лишь требованием равенства политических прав<sup>89</sup>. В какой степени эти утопические изображения идеального общественного строя приближались к «уже прямо коммунистическим теориям» Морелли и Мабли, в чем от них отличались и как тут отразились веяния времени, обнаружит только их конкретное сравнительное изучение.

Обратим внимание на одну подробность: в подготовительном наброске речь идет о противоположности между рабочими и капиталистами как основе формирования требования ликвидации классовых различий. Краткая запись будущего «исторического экскурса» гласит: «Буржуазное развитие с самого своего начала обременено этой противоположностью... (курсив наш.—A. Ш.)»<sup>90</sup>. В окончательном варианте стоит: «Буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью: капиталисты не могут существовать без наемных рабочих...»<sup>91</sup> Посему упоминание «Утопии» и в наброске Энгельса, и в «Капитале» отражает ее значение как знаменательного памятника эпохи.

В специальной литературе не редки преувеличения относительно того, куда направлено острье критических высказываний Мора. Трудно, например, согласиться с Каутским, утверждавшим, будто автор «Утопии» проник в сущность капиталистического способа производства<sup>92</sup>.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 17.

<sup>92</sup> См.: Каутский К. Указ. соч. С. 191.

Многое, что вызывало страстное возмущение Мора, объяснялось не злодействами английских капиталистов, а своекорыстием феодалов, ориентировавшихся на фландрский рынок. Бродяжничество, к примеру, как отмечалось еще в «Немецкой идеологии», «было тесно связано с распадом феодализма»<sup>93</sup>.

Королевская власть, стремясь к абсолютизму, ускоряла роспуск феодальных дружин и тем множила ряды пролетариев. «Крупные феодалы,— писал Маркс в «Капитале»,— стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно более многочисленный пролетариат, узурпировав общинные земли и согнав крестьян с земли, на которую последние имели такое же феодальное право, как и сами феодалы. Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландрской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть. Старую феодальную знать поглотили великие феодальные войны, а новая была детищем своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил. Превращение пашни в пастище для овец стало лозунгом феодалов»<sup>94</sup> (курсив наш.— А. Ш.).

Помнить об этих словах необходимо, чтобы не переоценивать важность «Утопии» как свидетельства будто бы очень значительного продвижения Англии по пути капиталистического развития. Не будем наделять Мора такой исторической прозорливостью, которой он не мог обладать: до проникновения в сущность капиталистического способа производства было еще очень и очень далеко.

Поэтому вряд ли надо видеть в «Утопии» отражение развитой противоположности между наемными рабочими и капиталистами, коль скоро отражала она социальные коллизии эпохи первоначального накопления, когда сама эта противоположность находилась еще в зачаточной почти форме. Тем не менее упоминание «Утопии» в таком контексте вполне уместно, поскольку буржуазия была обременена этой противоположностью «с момента своего возникновения».

Небольшой экскурс Энгельса в «предысторию социализма» показывает, что даже утопические изображения идеального общественного строя, созданные в XVI—XVII вв., которые являлись самостоятельными теоретическими выступлениями, выходящими за рамки учений, выражавших интересы буржуазии, не были в его глазах еще «прямо коммунистическими теориями», наподобие теориям Морелли и Мабли.

Не хочется делать далеко идущих выводов из того, как при развертывании намеченного тезиса исчезает «Утопия». Если

<sup>93</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 56.

<sup>94</sup> Там же. Т. 23. С. 730.

первая часть записи («Т. Мюнцер, левеллеры») конкретизируется («Мюнцерово направление») и дополняется («Бабёф»), то вторая часть («Утопия» Т. Мора и т. д.) претерпевает изменение, от которого «личный вклад» Мора не выигрывает, прежняя исключительность его положения растворяется в более общей формулировке («утопические изображения идеального общественного строя»). Да и уточнение, касающееся Морелли и Мабли, тоже, как кажется, возвеличению Мора не способствует. Трудно защищать мысль, будто Энгельс видел в Море основателя утопического коммунизма, если идеи, изложенные в его «Утопии», он не причислил к «уже прямо коммунистическим теориям», как сделал это с учениями Морелли и Мабли.

Взглянем, однако, на дело с другой стороны. В первоначальном наброске сперва не упоминались ни революционные порывы XVI—XVII вв., ни соответствующие им теоретические выступления, речь шла о Просвещении, о том, что в теоретическом плане социализм имел своих первых представителей в лице Морелли и Мабли, поскольку именно они распространяли принцип равенства и на социальное положение, требуя отмены самих классовых различий. Упоминание о «французских аскетических коммунистах», с их пролетарским или плебейско-пролетарским представлением о равенстве, наводит Энгельса на мысль о необходимости проследить, как с появлением капиталистического способа производства в результате порождаемых им противоположностей возникают и самостоятельные устремления предпролетариата, и соответствующие теоретические выступления.

Мы были бы несправедливы к Мору, если бы ограничили «соответствие» «Утопии» революционным порывам предпролетариата лишь указанием на то, что она тоже отражает возникающую и все усиливающуюся противоположность между работниками и капиталистами. Объединяет их нечто большее. С движением Мюнцера и выступлением «истинных левеллеров» «Утопию» роднит мысль о необходимости покончить с собственностью как корнем зла.

Только теперь, найдя в подготовительных работах к «Анти-Дюриングу» черновой набросок с упоминанием «Утопии», который послужил ядром значительной части разбираемого нами отрывка, мы вправе утверждать, что Энгельс действительно имел в виду *прежде всего* «Утопию», когда говорил об утопических изображениях идеального общественного строя<sup>95</sup>.

<sup>95</sup> Эта весьма важная часть из подготовительных работ к «Анти-Дюриングу», опубликованная в 1928 г. в русском переводе и в 1935 г. на языке подлинника, не вошла по неизвестным нам причинам в 20-й том второго издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

Однако подобный вывод все-таки не позволяет преодолеть главное затруднение. Нам стала яснее позиция Энгельса, мы четко представили, какую опасную силу является собой для читателя, не обращающегося к подлиннику, «революционизирующая» правка переводов. Но наибольшая трудность, несмотря на наши попытки согласительного толкования, по-прежнему впереди: ни мировосприятие Томаса Мора, ни тщательный анализ «Утопии» не оставляют нам возможности увидеть в ней теоретическое выступление, соответствующее революционным устремлениям предпролетариата.

# ЖАЖДА ПРЕОБРАЗОВАТЬ ПРИРОДУ?

\*

Мало что так отрицательно влияло на объективность исследования и социальных утопий, и социалистических систем, как настойчивые попытки отыскивать в далеком прошлом «предвосхищения» тех идеологических установок, которые диктовались потребностями политического момента. Выявление целого ряда таких «предвосхищений» могло бы служить укором многим из нас, хотя бы в том, что постепенно утрачивалось понимание неповторимости исторических условий, породивших то или иное утопическое произведение.

Но сейчас речь о другом. Мы будем говорить о «природе» в самом простом значении этого слова — о естественных условиях, в которых живут утопийцы, о природной, как сказали бы теперь, «среде их обитания», и частично — о воздействии на нее целенаправленных людских усилий. Утопию создало не какое-то особо благоприятное природное окружение, не добродетели не испорченного цивилизацией туземца, «естественного человека» — ее создал мудрый законодатель, более остального ценивший способность людей к самосовершенствованию, к духовной свободе, просвещению, культуре, прежде всего в ее нравственно-интеллектуальном аспекте. Поэтому всякий рассказ о придуманном Томасом Мором идеальном обществе — это рассказ о *культуре утопийцев* в разнообразных ее проявлениях. Мы не станем затрагивать здесь ни богословских, ни философских, ни юридических вопросов, связанных в «Утопии» с понятием «природа»<sup>1</sup>. Цель наша, как мы уже сказали, куда более ограниченная.

Описание страны с «наилучшим устройством государства» начинается так, словно вернувшись оттуда рассказчик намерен неторопливо и обстоятельно поведать об увиденном — с подробностями, зачастую малозначительными, но существующими оттенить и конкретную основу рассказа, и наблюдательность путешественника, внушающую доверие.

<sup>1</sup> Разные стороны этой темы плодотворно разрабатывает О. Ф. Кудрявцев (см.: Указ. соч.).

Рафаил Гитлодей, побывавший в Утопии, говорит прежде всего о стране в целом. Но уже здесь, на начальных страницах книги второй<sup>2</sup>, указывается, как умело используют утопийцы природные условия, дабы обеспечить собственную безопасность, облегчить сообщение между отдельными местностями и благоприятствовать внешней торговле<sup>3</sup>. Правда, сказанное еще мало отличается от того, что известно из древних авторов. Однако в «историческом экскурсе», посвященном основателю идеального государства, военачальнику Утопу, мы вдруг обнаруживаем, что Утопия, которую начиная с титульного листа мы привыкли рассматривать как остров<sup>4</sup>, оным по природе не являлась.

Отметив, что все гавани утопийцев настолько укреплены «природою или искусством, что немногие защитники со стороны суши могут отразить огромные войска», Гитлодей продолжал: «Впрочем, как говорят предания и как показывает самый облик земли, эта страна когда-то не была окружена морем. Но Утоп, чье победоносное имя носит остров (раньше этого он назывался Абракса), сразу же при первом прибытии после победы распорядился прорыть пятнадцать миль, на протяжении которых страна прилегала к материку, и провел море вокруг земли...»<sup>5</sup>

Так, с помощью массы побежденных туземцев и своих собственных воинов мудрый вождь решительно превратил выступающую часть континента в обособленный остров, чтобы построить там государство, которое представлялось ему наилучшим. А если вдобавок мы вспомним, что в дальнейшем утопийские граждане добровольно сводили леса в одном месте и насаждали их в другом<sup>6</sup>, то нам нетрудно будет понять исследователей, находящих в «Золотой книжечке» немало знаменательных «предвосхищений». Коль скоро Томас Мор — «родоначальник утопического социализма», то нет ничего естественней, как и тут увидеть неуемную страсть утопистов к грандиозным планам «преобразования природы».

Эти проекты становятся убедительнейшими признаками «утопического сознания». Разумеется, и такой ракурс изучения социальных утопий и утопического социализма вполне оправдан. Плохо лишь, когда презумпция виновности в «утопическом сознании», превратившись под пером политологов и публицистов в откровенно пропагандистский прием, огульно распространяется на самых разнообразных мыслителей и очень мешает

<sup>2</sup> См.: Штекли А. Э. «Досуг во Фландрии» и создание «Утопии». С. 174—196; *Он же. Эразм и первая книга «Утопии»*. С. 162—175.

<sup>3</sup> См.: Утопия. С. 101—102; Utopia. P. 110, 112.

<sup>4</sup> Там же. С. 23, 25; Ibid. P. 16.

<sup>5</sup> Там же. С. 102; Ibid. P. 110, 112.

<sup>6</sup> Там же. С. 157; Ibid. P. 178.

спокойному, уравновешенному исследованию многих великих произведений как памятников прежде всего их собственной эпохи.

Было бы нелепо отрицать, что в длинном ряду утопистов мы найдем и тех, кто не довольствовался будущими радикальнейшими общественными переменами, а грезил о таких немыслимых преобразованиях в природе, которые свидетельствовали лишь о безудержной фантазии, чем бы она ни побуждалась — верой в безграничные возможности человечества или натурфилософскими и мистическими чаяниями.

Вспомним, примера ради, Ретиф де ля Бретона. Вот как А. Р. Иоаннисян кратко излагает его воззрения, касающиеся будущности природы, высказанные в книге, изданной в 1802 г.: «На Земле вместе с исчезновением неравенства и установлением нового общественного строя, основанного на общности имуществ (курсив наш.— А. Ш.), произойдут поистине изумительные вещи. У Земли появится новая луна, образовавшаяся путем планетизации приблизившейся кометы. Появление второй луны будет иметь многообразные последствия. Полярные льды будут растоплены, и полюсы станут обитаемыми...»<sup>7</sup>

Мы продолжили бы столь красноречивую цитату, если бы вариация на эту же тему не была подхвачена Фурье. А. Р. Иоаннисян неоспоримо доказал, насколько велики были заимствования Фурье из Ретиф де ля Бретона<sup>8</sup> вплоть до пресловутого «совокупления планет», которое И. И. Зильберфарб<sup>9</sup>, защищая «независимость Фурье», среди прочего относит к его «экстравагантности».

Строй гармонии, согласно Фурье (мы и здесь лишь выборочно воспроизведем его взгляды по весьма удачному резюме А. Р. Иоаннисяна), изменит также природные условия на земном шаре: «Не только будут истреблены все дикие животные, а также приручены и использованы новые виды животных из числа существующих, но будут иметь место и новые творения во всех трех царствах природы... Тогда растигают полярные льды, и будут иметь место новые творения. Появятся чрезвычайно полезные для человека контрообразцы всех существующих в настоящее время опасных и вредных представителей животного мира: антильвы, антикрокодилы и т. д. вплоть до антикрыс и антиклопов. Столь же благоприятными для человечества окажутся новые

<sup>7</sup> Иоаннисян А. Р. Генезис общественного идеала Фурье. М.; Л., 1939. С. 191—192.

<sup>8</sup> См.: Там же. С. 184—215.

<sup>9</sup> См.: Зильберфарб И. И. Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века. М., 1964. С. 22, 26, 29, 440, 71.

продукции растительного и минерального царства. Один из наших новых спутников<sup>10</sup> даст нам, в частности, бесконечное число вкусных лекарств. Улучшатся даже соки земли, вода морей приобретет вкус лимонада и т. д.»<sup>11</sup>

Люди, тешившие себя сказками о стране Куканье или Шларафии<sup>12</sup>, где горы сотворены из сыра, а фонтаны бьют вином,— дети малые по сравнению с Фурье, которого неотступно преследуют фантасмагорические видения «преображенной природы». Здесь уж действительно есть чем заняться специалистам по «утопическому сознанию» или, мягко говоря, социальным психологам. Но Томаса Мора ни в коем случае— подчеркнем это со всей решительностью— нельзя ставить в один ряд с такого рода утопистами. Он прочно стоял на земле и в своих даже самых смелых воззрениях относительно «наилучшего государственного устройства» не терял реальной почвы под ногами и не уносился мыслью в дали Вселенной, как это позже, вдогонку за Ретиф де ля Бретоном, делал Фурье, рассуждая о метафизических последствиях для космоса установления на Земле строя гармонии. Речь идет, отметим, вовсе не об освоении человеком космического пространства— «совокупление планет», их «размножение» и т. п. от деятельности людей непосредственно не зависели.

Но даже если бы наша попытка понять, какие мотивы вызвали искусственное превращение Утопии в остров или как объяснить привычное для утопийцев сведение лесов в одной местности и насаждение в другой, убедила нас в необходимости видеть в Томасе Море также и «родоначальника» великих «преобразователей природы», мы не перестали бы повторять, что английский гуманист, весьма далекий от умилительно-сладостного любования природой<sup>13</sup>, присущего, к примеру, Петрарке, никогда не

<sup>10</sup> Нельзя забывать, что здесь имеются в виду не искусственные спутники Земли, привычные для нас, а новые— естественно родившиеся.

<sup>11</sup> Иоаннисян А. Р. Указ. соч. С. 207; ср.: Зильберфарб И. И. Указ. соч. С. 71.

<sup>12</sup> См.: Чиколини Л. С. Социальная утопия Италии, XVI—начало XVII в. М., 1980. С. 262—269; Гутнова Е. В. Характерные черты крестьянских утопий западноевропейского средневековья//История социалистических учений, 1988. М., 1988. С. 182—184. Реки, текущие сахаром, мерецившиеся Фурье, согласимся, еще в меньшей степени свидетельствуют о здравости некоторых высказанных им суждений, чем те речные потоки молока, кои с изрядной долей народного лукавства описывали его средневековые предшественники.

<sup>13</sup> В поэтическом творчестве Мора тема эта фактически отсутствует. См.: *Mor T.* Эпиграммы. История Ричарда III. М., 1973. Да и в его переписке упоминания о природе достаточно редки. Одно из них— в юношеском послании к любимому наставнику. См.: Письмо Томаса Мора Джону Колету (Пер. с лат. и примеч. В. Д. Балакина; Вступ. ст. А. Э. Штекли//История социалистических учений. М., 1984. С. 277—283. Латинский текст напечатан в издании: *The Correspondence of Sir Thomas More* / Ed. E. F. Rogers. Princeton, 1947. Р. 6—9.

мыслил себя в роли ее «покорителя». Но прежде поговорим о вещах более будничных.

Каждая страна, разумеется, должна быть способной себя прокормить, а тем паче если ее общественное устройство выдвигается как образец для подражания<sup>14</sup>. Нам уже приходилось писать о радикальнейшем разрешении Томасом Мором «крестьянского вопроса»: в Утопии сословие крестьян как таковое перестало существовать, слава богу, лишь в социальном смысле. Работа в сельском хозяйстве превратилась в наипервейшее занятие всех граждан<sup>15</sup>, хотя, и это необходимо сразу же подчеркнуть, Утопия — прежде всего идеал *городской* жизни<sup>16</sup>. И как бы мы ни старались делать акцент на гармоничности существования утопийцев, на их установлениях, незыблемых в силу того, что они созданы «по природе» и не противоречат ее закону, трудно уйти от несомненного факта: Томас Мор буколических идyllий не придумывал — сельская жизнь для обитателей Утопии за редким исключением — суровая необходимость и поэтому ограничена двумя годами<sup>17</sup>.

Но раньше, чем говорить об отношении утопийцев к природе в ее самом существенном, хотя и не в восторженно-поэтическом аспекте,— об отношении к земле, мы вынуждены остановиться на ином сюжете. В противном случае читатели русских переводов «Золотой книжечки» могут оказаться в плена ряда заблуждений. «Земля для городов,— гласит отрывок начального описания Утопии,— отведена так удачно, что ни один из них не имеет ни с какой своей стороны менее двенадцати миль. А с одной стороны даже гораздо больше; конечно, с той стороны, где города дальше отъединены друг от друга. Ни один город не желает расширять своих пределов. Это оттого, что они считают себя скорее держателями, чем владельцами этих земель»<sup>18</sup>.

Здесь что ни фраза, то загадка. Земля отводится для городов? Под застройку? Нет, ибо мы знаем общие для всех размеры каждого утопийского города, и было бы неверно предполагать, что зарезервированные территории предназначены для их произвольного расширения. Города в прошлом действительно росли

<sup>14</sup> См.: Утопия, 1978. С. 93; Utopia. P. 12; Schoeck R. J. «A Nursery of Correct and Useful Institutions»: On Reading More's «Utopia» as Dialogue // Essential Articles for the Study of Thomas More. P. 281—289.

<sup>15</sup> См.: Утопия. С. 111; Utopia. P. 124.

<sup>16</sup> Весьма частые среди наших историков и философов рассуждения о Томасе Море как родоначальнике идеи уничтожения противоположности между городом и деревней — типичный модернизаторский прием, с помощью которого автора «Утопии» искусственно «приближали» к утопистам XIX в. и даже к марксизму.

<sup>17</sup> См.: Утопия. С. 104; Utopia. P. 114.

<sup>18</sup> Утопия, 1978. С. 174; Utopia. P. 112.

и множились, но ко времени посещения Утопии Гитлодеем их было строго определенное число, и новые могли возникнуть лишь как колонии на близлежащем материке<sup>19</sup>. «Ни один город не желает расширять своих пределов». Фразу можно, конечно, понять и как верность утопийцев их «основному закону» градостроительства — ограничению числа жителей города. Но тогда относящаяся к тексту маргиналия тоже становится мало понятной: «Это и по сей день является пагубным для всех *государств*» (курсив наш.— А. Ш.)<sup>20</sup>. Что пагубно для всех государств (речь идет, естественно, об известных автору маргиналии государствах, прежде всего европейских)? Нежелание города расширять свои пределы? И это при хаотическом в начале XVI в. располнзании городских территорий? Или помета на полях говорит о противоположном: о пагубном для всех государств стремлении раздвинуть свои границы? Но ведь в самом тексте сказано о городах и их *нежелании* расширять свои пределы.

Не разобравшись в смысле этого отрывка, мы не поймем и его заключительной фразы о «держателях» и «владельцах земель». Однако частный, казалось бы, «землеустроительный» вопрос нельзя разрешить, не обратившись к основам... государственного устройства Утопии<sup>21</sup>. Переводчики «Золотой книжечки» на русский язык, и не только они, не делают подчас различия между двумя весьма важными понятиями в лексике Мора: *civitas* (город-государство, полис) и *urbs* (город)<sup>22</sup>. В Утопии 54 города-государства (полиса), созданных по единому образцу: полис состоит из *одного* города и примыкающей к нему сельской округи, где нет деревень, а расположены отдельные «дома» с соответствующими земледельческими орудиями. В отличие от английских ферм, бывших у Томаса Мора перед глазами, в таких хозяйствах нет постоянных обитателей: присланные из города работники ежегодно обновляются наполовину<sup>23</sup>.

Поэтому «земля для городов» — это попросту территория всего полиса, включая город. Между ближайшими из них, двумя городами двух разных полисов — двадцать четыре мили<sup>24</sup>, но и более отдаленные расположены так, что добраться из одного в другой можно пешком за день. Земли столь удобно

<sup>19</sup> См.: Утопия. С. 121; Utopia. P. 136.

<sup>20</sup> Утопия, 1978. С. 174; Utopia. P. 112: «At hinc hodie pestis regum publicarum omniūm».

<sup>21</sup> См.: Штекли А. Э. О политическом строе Утопии. С. 117—140.

<sup>22</sup> Трудно согласиться с комментарием А. И. Малеина: «Города — в оригинале: *civitates* (*civitas* — собственно значит: государство, общество граждан). Дальше они называются: *urbes* (*urbs* — город). Мор, по-видимому, употребляет оба эти слова совершенно безразлично» (Утопия. С. 250, примеч. 112).

<sup>23</sup> См.: Утопия. С. 104; Utopia. P. 114.

<sup>24</sup> См.: Там же. С. 103; Ibid. P. 112.

распределены между отдельными государствами, что ни в одном из них от города до ближайшей границы не менее двенадцати<sup>25</sup> миль. Граница, как видно, проходила посередине расстояния, разделявшего города разных полисов. Ни один из них не жаждал расширять свою территорию<sup>26</sup>.

Существование границ между отдельными городами-государствами хорошо видно из текста, где говорится о карах, ожидающих человека, покинувшего территорию полиса (или, как предлагаёт Ю. М. Каган, ушедшего «за границу») своевольно, без грамоты принцепса<sup>27</sup>.

После таких уточнений становится понятней и маргиналия: утопийцы, которым не ведомы территориальные распри между их городами-государствами, противопоставляются остальным государствам, для коих и поныне стремление расширить свои пределы гибельно, как чума.

Но, пожалуй, самая интересная часть разбираемого отрывка — его завершающая фраза, где объяснена причина, в силу чего ни один из городов-государств не жаждет приумножения территории за счет соседних полисов Утопии. И это на фоне постоянных кровавых и братоубийственных «споров на меже», проходящих, как прекрасно знает Мор, через всю человеческую историю!

Но мы совершили бы грубую ошибку, если бы приписали такой вид земельного нестыжательства миролюбию утопийцев. По отношению к окрестным народам они не останавливались перед любым насилием, если им для учреждения новых колоний требовалась на материке чужая земля. И даже находили тому правовое обоснование!<sup>28</sup>

Другое дело — в самой Утопии. К приращению территории никакой полис не стремится. «Это оттого,— переводит Ю. М. Каган,— что они считают себя скорее держателями, чем владельцами этих земель»<sup>29</sup>. Но толкование слова «agricola» («земледелец») навеяно, возможно, английским переводом<sup>30</sup> и желанием оттенить британские корни автора «Золотой книжечки». Однако даже «держатель» на английский манер, будь то

<sup>25</sup> Разница в расстояниях объясняется тем, что А. И. Малеин делал свой перевод по лувенскому изданию, где была допущена опечатка, а Ю. М. Каган — по базельскому. Ср.: Утопия. С. 103; Утопия, 1978. С. 174. См. выше, где минимальное расстояние между городами двух разных полисов исчислялось в 24 мили.

<sup>26</sup> Слово «finis», употребляемое во множественном числе, часто было равнозначно «территория», «области», «владениям».

<sup>27</sup> Утопия. С. 129; Утопия, 1978. С. 199; Utopia. Р. 146.

<sup>28</sup> Утопия. С. 121—122; Utopia. Р. 136.

<sup>29</sup> Утопия. 1978. С. 174; Utopia. Р. 112: «Quippe quos habent agricolas magis eorum se, quam dominas putant».

<sup>30</sup> Utopia. Р. 113.

в средневековом смысле слова или новом, тюдоровском его понимании,—это не истинный владелец земли, а временный пользователь, арендатор, наниматель.

Предложенное усложнение перевода, когда подчеркивается как бы неполноправность работающих на земле утопийцев (ведь земледелием в Утопии занимались все!), вряд ли, на наш взгляд, достигает цели, поскольку не проясняет высказанной Мором мысли. Речь идет не о каких-то юридических тонкостях (каждый полис Утопии был исконным сувереном занимаемой им территории, и его граждане, конечно же, не чувствовали себя временщиками на принадлежащих ему землях), а если угодно — о «социальной психологии» утопийцев.

«Ни у одного города (уточним: здесь «город» — синоним «города-государства»).—A. Ш.) нет желания раздвинуть свои пределы,— цитируем перевод А. И. Малеина,— так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений»<sup>31</sup>.

Поэтому всякое приращение территории полиса (ведь необходимыми сельскохозяйственными угодьями они и так уже обладают) означало бы для его граждан лишь увеличение «излишних работ». Это они на земле прежде всего работники (*agricolae*), которые не могут не возделывать ее и не заботиться о ней в силу нравственного чувства и воспитания<sup>32</sup>, а потом уже ее хозяева (*domini*). Следовательно, и разбираемый отрывок, таивший в себе известные неувязки, при таком его понимании вполне удовлетворительно объясняется отношением утопийцев к физическому труду<sup>33</sup>.

Кстати, хотя нам и приходилось уже выступать против настойчивых попыток рассматривать экономику Утопии как плановую и централизованную, уточним одну немаловажную деталь, которая, никоим образом не меняя нашей точки зрения, может дать дополнительную черточку для характеристики единства утопийской федерации. Рассказывая о том, как утопийцы предусмотрительно «планируют» производство съестных припасов и приходят на помощь пострадавшим от неурожая городам-государствам, Гитлодей заключает: «Таким образом весь остров составляет как бы одно семейство»<sup>34</sup>. Давно отмечено, что «семейство» в Утопии — не просто семья, а скорее «хозяйство» (особенно наглядно демонстрирует это постоянно меняющийся состав «семейств», занятых сельским хозяйством)<sup>35</sup>. Поэтому вывод Гитлодея о единстве Утопии дозволено понимать

<sup>31</sup> Утопия. С. 103; Utopia. P. 112.

<sup>32</sup> См.: Там же. С. 122, 111; Ibid. P. 136, 124.

<sup>33</sup> См. выше главу первую.

<sup>34</sup> Утопия. С. 130; Utopia. P. 148.

<sup>35</sup> См.: Там же. С. 104; Ibid. P. 114.

не столько в моральном смысле, сколько в экономическом: «Таким образом весь остров — как бы единое хозяйство». Непосредственно следующий за этим текст, на наш взгляд, подтверждает естественность предлагаемой интерпретации.

Стоит обратить внимание на соответствующую маргиналию: здесь, как и во многих других случаях, автор ее торопится; он пишет «государство» там, где Мор говорит об «острове»<sup>36</sup>.

Природа к утопийцам не особенно милостива: благосостояние зиждется на преимуществах их общественного строя и воспитания — на осознанной необходимости усердно и рационально выполнять все намеченные сельскохозяйственные работы. И хотя автора «Золотой книжечки» никак не причислишь к поклонникам земледельческих трудов (именно город для него — средоточие культуры и, следовательно, подлинной жизни в ее ценнейших проявлениях!), главу «О занятиях» он начинает так: «У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие — земледелие, от которого никто не избавлен». И поясняет: «Ему учатся все с детства, отчасти в школе путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения также и работают»<sup>37</sup>. Лишь после этого рассказывается, как и какими ремеслами занимаются утопийцы.

Мы не будем останавливаться на вещах (сколь бы любопытны они ни были), касающихся характера работы утопийцев на земле, если они достаточно ясны из рассказа Гитлодея и не нуждаются в особом комментарии. Однако некоторые моменты все-таки подчеркнем.

Во многих статьях и книгах говорится, что известия об открытии Нового Света — чуть ли не один из главных «литературных источников» знаменитого произведения Томаса Мора. Если так, то, казалось бы, почему было не поместить Нигдею в щедрые, благословенные края, напоминающие рай земной? Вот уж там гражданам идеального государства пришлось бы еще менее работать физически! Мы даже не можем сказать, что Мор не сделал этого, дабы не ослаблять весомости «Утопии» как «образца для подражания», предназначенного для раздумий гуманистов и внемлющим им мужам государственным: освоение новооткрытых территорий со сказочными природными условиями становилось столь же важной задачей, как и преодоление европейских неустройств.

<sup>36</sup> А предложенный Ю. М. Каган перевод этой маргиналии уводит читателя еще больше в сторону, создавая неточное представление о политическом устройстве Утопии: «Республика — это не что иное, как одна большая семья» (курсив наш. — А. Ш.) (Утопия, 1978. С. 200. Ср.: Utopia. Р. 148: «Respublica nihil aliud quam magna quaedam familia est»).

<sup>37</sup> Утопия. С. 111; Utopia. Р. 124.

Здесь, вероятно, многое объясняется самим отношением Мора к природе: она вознаграждает людей, живущих в согласии с ее законом, но ничего не дает даром и ни в коем случае не поощряет ленивцев, преступающих свой человеческий долг.

Обитателей Утопии «природа наделила проворством и бодростью. Они обладают большей физической силой, чем обещает их рост, в общем все же довольно высокий. И хотя почва у них не везде плодородна и климат недостаточно здоров, они прекрасно укрепляют себя против превратностей атмосферы умеренностью в пище, а землю успешно врачают обработкой»<sup>38</sup>.

Знаменательно само сопоставление: человек в силах не только укрепить собственную природу умеренным образом жизни<sup>39</sup>, чтобы лучше противостоять неблагоприятным климатическим условиям, но способен помочь земле своей старательностью.

«В результате,— приходит к выводу Гитлодей,— ни у одного народа нет более обильных урожаев и приплода скота, люди отличаются значительной жизнеспособностью и подвержены наименьшему количеству болезней»<sup>40</sup>. Там наблюдаешь то, что обычно тщательно исполняют земледельцы, когда земле, бесплодной от природы, оказывают помощь умелостью и трудами.

Действительно, стоит обратиться к римским руководствам по сельскому хозяйству или к их пересказам ренессансными писателями, как убедишься, что здесь ничего особенно нового нет, если не считать утверждения об обильнейших урожаях в Утопии, невиданных у других народов. Но что воистину может удивить, так это лесопромысловое установление утопийцев: «лес выкорчевывается руками народа в одном месте, а насаждается в другом»<sup>41</sup>. А что, собственно, здесь необычного? Большого труда не

<sup>38</sup> Там же. С. 157; ср.: Утопия, 1978. С. 225.

<sup>39</sup> Хотя А. И. Малеин и Ю. М. Каган совершенно единодушны, понимая *temperantia victus* как «умеренность в пище», мы все-таки предпочтем здесь более широкое значение слова «*victus*». Особой неприхотливостью к пище утопийцы вовсе не отличались, относя еду и питье к естественным телесным наслаждениям, а об их общих трапезах Гитлодей говорил как об обеде «прекрасном и сытном» (Утопия, 1978. С. 195) или, по другому переводу,—«роскошном и обильном» (Утопия. С. 125). Латинский текст допускает разные оттенки в переводе (Utopia. Р. 140). Мы же хотим подчеркнуть лишь одно: меру утопийцы блюли во всем, если не считать, конечно, страсти к умственным занятиям, физически выносливым становились они в результате всего их умеренного образа жизни.

<sup>40</sup> Утопия. С. 157; ср.: Утопия, 1978. С. 225—226; Utopia. Р. 178.

<sup>41</sup> Утопия. С. 157; Utopia. Р. 178. Ю. М. Каган предложила иную версию перевода: «...люди вручную выкорчевывают лес...» (Утопия, 1978. С. 226). Вручную? Можно, конечно, предположить, что при корчевке пней утопийцы применяли какие-то несложные механические приспособления вроде лебедки или ворота, но подлинник не дает им малейшего основания для такой догадки. Как нет и причины изменять здесь «народ» на «люди» — рабы ведь тоже люди (Utopia. Р. 178: «...sed populi manibus alibi radicitus evulsam sylvam, alibi consitam videas...» (курсив наш.—А. Ш.).

составит найти у античных авторов или в сочинениях современников Мора примеры, когда на одной территории вырубали леса, а на другой производили массовые лесопосадки. Да и чему удивляться, если в распоряжении древних царей и феодальных магнатов были тысячи рабов и крепостных? Однако оттеним все-таки принципиальную разницу: в Утопии этим занимаются не преступники, обращенные в рабство, и не «добровольные рабы»<sup>42</sup>, а сам народ, т. е. свободные граждане,— огромные работы производятся по заранее обдуманному замыслу «руками народа».

Но куда более характерен для всего хозяйственного уклада утопийцев не сам факт такого рода работ, а его мотивировка: «В этом отношении принимается в расчет не плодородие<sup>43</sup>, а удобство перевозки, именно, чтобы дрова<sup>44</sup> были ближе к морю, рекам или к самим городам. Доставка сухим путем хлеба из более отдаленной местности сопряжена с меньшим трудом, чем доставка дров».

Однако и этих слов недостаточно, чтобы понять истинные побуждения утопийцев. Лишь непосредственно следующий за ними текст ставит все на свои места: «Это народ общительный,

<sup>42</sup> См.: Утопия. С. 162—163; Utopia. Р. 184; см. выше главу «Государственные рабы...».

<sup>43</sup> Хотя тут оба русских перевода не расходятся, надо все-таки отметить, что «плодородие» может быть понято двояко. Утопийцы сводят леса на тучных землях не из-за плодородия, они не предполагают использовать их, например, под хлебные нивы, а лесопосадки произвести на более скучных почвах? Или, наоборот, их мало заботит «урожайность» леса, его продуктивность, то, насколько он хорошо там растет, а в расчет принимается главным образом удобство перевозки? На наш взгляд, второе, предлагаемое нами толкование подтверждается как многозначностью слова «ubertas», так и всем дальнейшим текстом.

<sup>44</sup> Utopia. Р. 178: «...qua in re habita est non ubertatis: sed vecture ratio: ut essent ligna, aut mari, aut fluvii, aut urbibus ipsis viciniora, minore enim cum labore terrestri itinere, fruges quam ligna longius afferuntur».

Дважды повторенное в этом отрывке слово «lignum» имеет много значений («дерево», «бревно», «древесина» и т. п.). Употребленное во множественном числе оно понимается по преимуществу как «древа», и здесь переводчики правы (Утопия. С. 157—158; Утопия, 1978. С. 226), если не присмотреться внимательно к контексту. Речь идет все-таки о бревнах, лесоматериалах, как сказали бы теперь, а не просто о дровах. Доставка на подводах мешков с зерном не намного легче, чем поленьев, дров. Другое дело — транспортировка бревен. Она требует и больше труда, и больше времени. Кроме того, ошибочно думать, будто все эти «перемещения лесов» продиктованы лишь необходимостью заготовки топлива. Вспомним о древесине как важном строительном материале утопийцев (Утопия. С. 109; Utopia. Р. 120). Кстати, не очень-то ясные слова в переводе А. И. Малеина о приказе работникам «временно рубить материалы на дому» (Утопия. С. 118), несколько лучше переданы Ю. М. Каган: «строгать доски и обтесывать» (Утопия, 1978. С. 189), хотя и тут необходимы уточнения, к обработке дерева относится только один глагол «materiam dolare» («тесать древесину»), а два других «quadrare atque aptare» («придавать четырехугольную форму» и «подгонять») касаются уже каменщиков. Ср.: Utopia. Р. 132.

остроумный, способный, умеющий насладиться покоем<sup>45</sup>, достаточно привычный, в случае надобности, к физическому труду. Впрочем, в других отношениях они не стремительны, а в умственных интересах неутомимы»<sup>46</sup>.

Остается добавить, что все эти нелегкие занятия, связанные с транспортировкой грузов, как и работы по «перемещению лесов», были уделом не рабов, а свободных граждан. Из тех, чей черед настал трудиться в деревне. Ибо наряду с земледелием и скотоводством именно они «заготовляют дрова<sup>47</sup> и отвозят их в город каким удобно путем, по суше или по морю»<sup>48</sup>.

Здесь самое время вернуться к осуществлению замысла, с которого началась история нового государства — к постройке канала, превратившего будущую Утопию в остров.

Итак, по приказу победоносного полководца срыли перешеек — отныне море окружало завоеванные земли со всех сторон: «этот же Утоп довел грубый и дикий народ до такой степени культуры и образованности, что теперь он почти превосходит в этом отношении прочих смертных»<sup>49</sup>.

Каков смысл затеи? Разгромив врагов, победитель предусмотрильно использует географические особенности территории, чтобы превратить выступающую в море часть материка в остров? Некоторые комментаторы склонны придавать этой акции Утопа излишне глубокомысленный характер: утопическое государство всегда, мол, нуждается в полной изоляции<sup>50</sup>. Но такого надуманного толкования текст, на наш взгляд, не подтверждает. Да и маргиналия<sup>51</sup> к этому отрывку, где говориться об огромном

<sup>45</sup> Здесь имеется в виду не просто «покой», а «досуг», посвящаемый прежде всего духовному совершенствованию и умственным занятиям.

<sup>46</sup> Утопия. С. 158; Utopia. Р. 178, 180.

<sup>47</sup> Utopia. Р. 114: «...ligna comparant...» Заготовляют они все-таки не одни дрова. См. выше наш комментарий.

<sup>48</sup> Утопия. С. 104.

<sup>49</sup> Utopia. Р. 112. А. И. Малеин несколько изменил строй фразы, вероятно для того, чтобы сильнее подчеркнуть: после победы Утоп прежде всего велел прорыть перешеек (Утопия. С. 102. Ср.: Утопия, 1978. С. 172).

<sup>50</sup> Это мнение варьируется на все лады. Герман Онкен, к примеру, даже увидел тут доказательство «островного мышления» Мора и его «империализма». См.: Oncken H. Die «Utopia» des Thomas Morus und das Machtproblem in der Staatslehre. Heidelberg, 1922.

<sup>51</sup> Вопрос о том, кто в действительности составил маргиналии к «Утопии», обсуждался неоднократно. См., к примеру: Sylvester R. S. «Si Hythlodaeo Credimus»: Vision and Revision in Thomas More's «Utopia» // Essential Articles for the Study of Thomas More. Р. 294. Мы все же больше склоняемся к мнению, что писал их сам Эразм Роттердамский без участия Эгидия. См.: Штекли А. Э. Эразм и издание «Утопии» (1516) // Средние века. М., 1987. Вып. 50. С. 270; Он же. От приютов милосердия к работным домам // Там же. М., 1984. Вып. 47. С. 102; Он же. Эразм и парижское издание «Утопии» (1517) // Эразм Роттердамский и его времена. М., 1989. С. 108—111.

объеме работы, цели ее не комментирует: «Сие было больше, чем прокопать Истм». В латинском языке слово «*isthmus*» имело два значения: просто «перешеек» и совершенно определенное географическое название «Истм», т. е. Коринфский перешеек. Действительно, гигантский ров (превративший Утопию в остров) длиною в 15 римских миль намного превосходит ширину Коринфского перешейка<sup>52</sup>.

Работа воистину титаническая. Ни в одном из русских переводов, к сожалению, не указано, что эта маргиналия имеет прямое отношение к соответствующей агадии Эразма Роттердамского, хотя об этом упомянуто, правда, без всякого анализа в комментариях к юдельскому изданию<sup>53</sup>. Поскольку вероятней всего Эразм был автором маргиналий к «Золотой книжечке», естественно предположить, что его помета на полях прояснит нам смысл самой затеи Утопа, или Эразмово отношение к ней, или, наконец, характер работы над маргиналиями.

«*Hoc plus erat quam Isthmum perfodere*<sup>54</sup>. Подчеркнутые нами слова полностью соответствуют названию агадии «*Isthmum perfodere*». Ее толкование гласит: «Выражение „прокопать Истм“ применяется к тем, кто, предпринимая какое-либо дело, прилагает великие, но бесплодные усилия.

Изречение относилось первоначально к коринфскому Истму, который вынуждал корабли совершать длительный и рискованный окольный путь вокруг полуострова<sup>55</sup>. Поэтому многие пытались его прокопать в самом узком месте, а именно: царь Деметрий, диктатор Цезарь, принцес Гай, Домиций Нерон; но затея, как доказывает итог всех [попыток], никогда не приносила успеха. Так свидетельствует Плиний, книга четвертая, глава четвертая. Светоний рассказывает, что Калигула тоже начал это предприятие. Филострат в «Жизни Аполлония» сообщает: Нерон отказался от своего плана скорее не оттого, что его отпугнула сложность задачи, а оттого, что открытие доступа морю могло явиться дурным предзнаменованием и означало бы гибель Эгипта или предстоящий государственный переворот в Римской империи, ибо именно это предсказывали египетские прорицатели».

<sup>52</sup> Многовековый замысел соорудить здесь искусственный водный путь был осуществлен лишь в 1893 г., когда полуостров Пелопоннес отрезали от материка Коринфским каналом длиной в 6345 м, шириной 23 м, глубиной 8 м. Наивысшая точка перешейка Истм 87 м над уровнем моря. См.: Meyers Neues Lexikon. Leipzig, 1963. Bd. 5. S. 64.

<sup>53</sup> Utopia. Commentary. P. 386.

<sup>54</sup> Utopia. P. 112.

<sup>55</sup> Он, как полагают, был равен примерно 340 км. Сводку античных свидетельств об Истме и попытках построить Коринфский канал см.: Pauly's Real-Encyclopädie der klassischen Alterthumswissenschaft. Neue Bearbeitung. 18. Halbband. Stuttgart. 1916. Sp. 2256—2264.

Здесь первая часть адагии, непосредственно касающаяся Коринфского перешейка, кончается, но Эразм, верный себе, не может сдержать пыла собственной эрудиции и продолжает:

«И древнейший писатель Геродот в первой книге своей „Истории“<sup>56</sup> тоже рассказывает, что кидяне захотели прокопать (*perfodere*) перешеек (*isthmum*) там, где он примыкает к материку в самом узком месте, именно пять стадий, дабы превратить занимаемую ими землю в остров, однако некоторые из них при разработке скального грунта ранили себе глаза, тогда обратились за советом к Аполлону Дельфийскому и получили от него ответ в трехстопных стихах:

Не ройте Истма! Стен не воздвигайте!  
Зевс создал остров тут, коль только б захотел<sup>57</sup>.

Наконец, Никанор Селевк не осуществил проект прорыть канал через перешеек (*isthmum*), который разделяет Евксинское море от Каспийского, ибо был убит Птолемеем Керавном<sup>58</sup>.

Итак, автор маргиналии, несомненно, признает: Утопу удалось претворить в жизнь большее, чем «прокопать Истм», он сделал то, что оказалось не по силам могущественнейшим государям. Здесь, следовательно, высказывается бесспорное одобрение реализации грандиозного проекта? Понять это можно было бы и подобным образом, если бы не смысл самой пословицы: «прокопать Истм» — заниматься делом, требующим великих, но бесплодных усилий. Как бы мы восприняли похвалу иного автора, когда тот превозносил бы некоего правителя, к примеру Джованни Медичи, если бы он захотел провести дноуглубительные работы в Ливорнском порту не с помощью своей землечерпалки, раскритикованной Галилеем, а «нося воду решетом»?

Обратим внимание, что Мор, знавший, конечно же, эту поговорку, избегает слов, которые могли бы вызвать у читателя связанные с ней ассоциации.

Мы далеки от мысли приписать Эразму настроение, выраженное во второй части адагии, в ответе дельфийского оракула, но отметим, что сам Мор (точнее говоря, Утоп) не разделял опасения, будто негоже прорезать перешеек, поскольку «Зевс создал остров тут, коль только б захотел».

Не станем гадать, чего больше в этой маргиналии — двусмысленного одобрения или иронии. Она, как и другие, на наш взгляд, прежде всего свидетельствует о торопливости их автора.

<sup>56</sup> См.: Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. С. 66.

<sup>57</sup> Стихотворный перевод см.: Там же.

<sup>58</sup> Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften. Lateinisch und Deutsch. Darmstadt, 1972. Bd. 7 (Adagia selecta. P. 602, 604).

и недостаточном внимании к сути текста, который он взялся в той или иной степени комментировать. Вторая маргиналия, относящаяся к разбираемому отрывку «Утопии», также подтверждает это наблюдение: Эразм ограничивается немудреной сен-тенцией там<sup>59</sup>, где не мешало бы вдуматься в существо со-держания. Вывод неутешителен: обе эти заметки на полях ров-ным счетом ничего не проясняют относительно замысла затеянного Утопом предприятия.

Мы вынуждены вернуться к авторскому тексту «Золотой кни-жечки», чтобы попытаться понять мотивы, которыми руковод-ствовался в данном случае основатель Утопии. Очень важно отметить, как сооружался этот «утопийский канал»: «Не желая, чтобы упомянутая работа считалась позорной, Утоп привлек к ней не только жителей, но, кроме того, и своих солдат. При распределении труда между таким множеством людей он был закончен с невероятной быстротой. Этот успех изумил и поразил ужасом соседей, которые вначале смеялись над бесполезностью предприятия»<sup>60</sup>.

Маргиналия к этому отрывку гласит: «Легко снести то, что делают все». А чуть выше, где говорилось об огромном объеме работы, в примечании на полях читаем: «Это больше, чем перерезать Коринфский перешеек Истм»<sup>61</sup>. Согласимся, что первая маргиналия достоверно передает настроение людей, привлечен-ных к рытью канала: принудительный труд побежденных тузем-цев, не говоря уже о рабах, подобного бы эффекта не дал. Но почему же все-таки успех предприятия, казавшегося поначалу соседям бесполезным до смехотворности, изумил и поразил их ужасом?

Вероятно, своим неожиданным результатом Утоп наглядно показал и туземцам, на земле которых решил строить собствен-ное государство, и своим воинам безграничные возможности правильно организованного коллективного труда. Ниже речь пойдет о сельскохозяйственных работах: «Когда настанет день уборки урожая, то филархи<sup>62</sup> земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан надо им прислать; так как эта толпа работников является вовремя к самому сроку, то они почти в один ясный день справляются со всей уборкой»<sup>63</sup>. Маргиналия поясняет: «Сколь действен общий труд!»<sup>64</sup> Мысль эта не менее справедлива и по отношению к рытью «утопийского канала».

<sup>59</sup> Утопия, 1978. С. 172: «Легко снести то, что делают все»; Utopia. P. 112.

<sup>60</sup> Утопия. С. 102—103; Utopia. P. 112.

<sup>61</sup> Утопия, 1978. С. 172; Utopia. P. 112.

<sup>62</sup> Здесь «филарх» — глава каждого из 30 сельских «семейств».

<sup>63</sup> Утопия. С. 105—106; Utopia. P. 116.

<sup>64</sup> Утопия, 1978. С. 176; Utopia. P. 116.

Мы опять вернемся к характерной детали: в этих земляных работах туземцы участвовали наряду с победителями, воинами Утопа. Сделано сие было ради того, чтобы занятие, считавшееся недостойным свободного человека, перестало быть таковым. Это был коллективный труд массы свободных людей, и его результаты ошеломили соседей. Еще существенное другое: с первых же дней своего пребывания на земле будущего государства утопийцев мудрый его основатель добился важнейшего перелома: работа, даже самая тяжелая, привычный удел рабов, не воспринималась как позорящая, если исполнялась руками свободных граждан. В дальнейшем многие нелегкие работы по прокладке или ремонту дорог, корчевке леса, заготовке и доставке древесины и т. п. стали при наличии огромного количества рабов естественными занятиями утопийцев.

В осуществленном превращении Утопии в остров можно при желании узреть, хотя само выражение и носит несколько модернизаторский оттенок, первый акт «преобразования природы» на утопийской земле. Томасу Мору, разумеется, были известны подобные затеи в древности — от висячих садов Семирамиды в Вавилоне до попыток постройки того же Коринфского канала, — но в «Утопии» речь шла не о каких-либо грандиозных проектах, существующих восславить правителя и его эпоху, а о нужных, конечно по меркам самих утопийцев, хозяйственных начинаниях, которые облегчали труд и, главное, высвобождали время для умственных занятий.

Постройка гигантского рва имела, безусловно, и оборонительное значение, однако, на наш взгляд, важнее было другое — наглядно продемонстрировать безграничные возможности коллективного труда свободных граждан, не говоря уже о реальной, чисто хозяйственной цели — сделать доступным без каких-либо окольных путей все побережье страны для собственных кораблей<sup>65</sup>. Это ведь тоже не в малой степени сберегало время.

Когда наблюдаешь, с какой легкостью подвергаются теперь несправедливым нападкам коллективистские убеждения Мора<sup>66</sup>, представляется нужным уточнить некоторые мысли «Утопии» и разразить вольному толкованию текста: будь, мол, жители полиса подлинными господами (или хозяевами) его земельных владений, то они по-другому относились бы к освоению территории. При нынешней моде рассуждать о «раскрестьянении» как итоге деятельности неких российских «утопистов» — иной лихой

<sup>65</sup> См.: Утопия. С. 101; Utopia. Р. 110.

<sup>66</sup> Удивляет, что историк, ничтоже сумнящаяся, приравнивает утопийцев, у которых одно общее занятие — земледелие, общее для всех, мужчин и женщин, к нашим современным горожанам, отправляемым «на картошку». См.: Ковалевская Г. Тени «Города Солнца» // Знание — сила. 1988. № 12. С. 66.

публицист узрит и тут дополнительный «исторический аргумент» против обобществления земли, уничтожающего, дескать, чувство хозяина и ведущего прямиком к производственной апатии и лености.

Но поостережемся спешить отыскивать поверхностные аналогии. Рассматриваемый отрывок выражает характерное для утопийцев настроение: они, умеющие упорно работать, помогающие и не очень-то плодородной почве своим усердием, с избытком обеспечивают собственный полис продуктами питания, делая необходимые запасы, а в случае недорода в каком-нибудь из 54 городов-государств тут же оказывают безвозмездную помощь. Многое из выращенного на нивах и пастбищах вывозят в другие страны<sup>67</sup>.

В этих условиях они, работающие на земле, вовсе не домогаются увеличения территории своего полиса, ибо поля у них не лежат втуне, почва, могущая приносить плоды, по их глубокому нравственному убеждению, должна служить общей пользе. Однако каждый полис обладает таким количеством угодий, что в нормальных условиях с избытком обеспечивает все свое население съестными припасами.

Утопийцы путем наилучшей организации труда добиваются невиданной в других странах производительности: но, умело изготавливая необходимое, они стремятся не столько к увеличению произведенного, сколько к уменьшению затрат времени, как сказали бы теперь, на единицу продукции. Утопийцы — убежденные противники всякого рода «излишних работ», пожирающих время, которое должно отдавать духовным занятиям, возвышающим человека.

Быть может, это «прорытие перешейка» и было самым грандиозным, взятым в отдельности предприятием утопийцев (ясно, что каким бы трудоемким оно ни было, оно не идет ни в какое сравнение с работами по созданию 54 процветающих городов-государств, продолжавшимися почти два тысячелетия, не считая колоний). Однако в сооружении «утопийского канала» вряд ли надо видеть одно из явных «предвосхищений будущего»<sup>68</sup>, которые подчас с такой легкостью приписывают Мору. Автор «Золо-

<sup>67</sup> См.: Утопия. С. 131; Utopia. P. 148.

<sup>68</sup> Вопрос о корнях веры Мора в возможности коллективного труда свободных людей очень непрост. Что его вдохновляло? Описание великих сооружений, вычитанное из Платоновых «Законов»? Но ведь там, как и в других античных источниках, имелся в виду массовый труд рабов. Или живые впечатления от умиравшего в английской деревне «общинного начала», когда соседи, помогая друг другу, совместно работали на полях? Либо, быть может, идеализированный пример общежительных монастырей? Современных же монахов в «Утопии», как известно, не щадили.

той книжечки» не принадлежал к тем «преобразователям природы», кто стремился подобным образом воздвигнуть памятник величию собственной эпохи. Природу он не пытался радикально «преобразовывать» или, упаси бог, «подчинять» — все помыслы его были направлены на то, чтобы, постигая ее законы, создать такую форму общежительства, которая существовала бы в ладу с Природой. К ней надо приладиться, чтобы наилучшим образом обратить блага ее на пользу людям.

Даже когда утопийцы вырубают леса в одном месте, дабы насадить их в другом<sup>69</sup>, они действуют как рачительные хозяева, пекущиеся об общей пользе, которая выражается прежде всего в сбережении времени, столь необходимом для присущей им неутолимой жажды умственных занятий.

Не хотелось бы, чтобы читатель, узнавший из «Золотой книжечки» об «утопийском канале» и насаждении лесов в более удобных местах, увидел бы в Томасе Море и родоначальника тех «великих преобразователей природы», которые по существу мало о ней думали, не говоря уже о людях, обреченных осуществлять помпезные проекты. Томас Мор не гнушался заботиться о делах, казалось бы будничных и малозначительных: он мечтал о том, чтобы в распоряжении простых граждан, занятых доставкой необходимых всем грузов, были сокращающие расстояния водные пути, а сами они, взяя бревна и другие материалы, тратили бы поменьше сил и времени. Ведь истинное счастье жизни в духовной свободе и просвещении!

<sup>69</sup> Характерно, что здесь принимается во внимание лишь утилитарная сторона дела. Какие-либо эстетические соображения, касающиеся закладки новых рощ или групп деревьев,— а это у Альберти, к примеру, не говоря уже о римских авторах, превращалось в целую науку,— в «Золотой книжечке» не упоминались, если не считать рассказа о городских садах. См.: Штекли А. Э. Сады Утопии / Мировая культура: Традиции и современность. М., 1991.

# ТОМАС МЮНЦЕР И ТОМАС МОР

\*

В 1887 г. Каутский в предисловии к своей книге о Томасе Море писал: «Когда я стал разрабатывать план предложенного для „Интернациональной библиотеки“ сочинения „Начала социализма“<sup>1</sup>, я сперва собирался соединить Мора и Мюнцера в одном томике. Однако чем более я стал углубляться в изучение первого, тем более он увлекал меня, тем значительнее и симпатичнее стал казаться мне автор „Утопии“<sup>2</sup>.

Во введении Каутский опять упоминал о Мюнцере: «У преддверия социализма стоят два мощных бойца — Томас Мор и Томас Мюнцер. Слава этих двух мужей в свое время гремела по всей Европе... Они не имели между собой ничего общего ни в своих воззрениях, ни в методе действия, ни в темпераменте, но равны друг другу по смелости и твердости убеждений,— у обоих одна конечная цель — коммунизм...»

«Неоднократно пытались оспаривать у Мора и у Мюнцера,— продолжал Каутский,— их право на вечную славу — право считаться в истории *основателями социализма*<sup>3</sup> (курсив наш.— A. Ш.). Однако по ходу изложения Каутский словно забывает об этом своем тезисе. Под его пером Мор вырастает в такую фигуру, что Мюнцеру рядом с ним просто не остается места.

Лет шесть спустя, задумав издание многотомного труда по истории социализма и своевременно не поставив об этом в известность Энгельса, Каутский и Бернштейн положили в его основу собственную концепцию развития социалистических идей. Если Томас Мор оставался родоначальником утопического коммунизма, то в оценке Мюнцера произошла примечательная трансформация: к основателям утопического коммунизма он причислен не был.

«Современная международная социал-демократия,— гласило введение,— имеет в истории два корня. Оба они возникли на

<sup>1</sup> В подлиннике «Die Anfänge des Sozialismus». По-русски это лучше передать как «начало социализма», или «истоки социализма», поскольку «начала» имеют другой смысл — «принципы», «основные положения».

<sup>2</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 3.

<sup>3</sup> Там же. С. 9.

одной и той же почве — на почве существующего хозяйственного и общественного строя. Оба имеют одну и ту же цель — но оба совершенно различны по своему существу.

Один из этих корней, *коммунистический утопизм*, возник среди высших классов. Представители его принадлежат к духовной аристократии общества. Второй корень социал-демократии — *коммунизм равенства* («*der Gleichheitskommunismus*») — возник среди низших классов, стоявших еще несколько десятилетий тому назад на самых низких ступенях по своему духовному развитию. Утопизм возник благодаря глубокому пониманию действительности высокообразованными людьми, свободными от влияния интересов своего класса. Коммунизм равенства груб и наивен: его создали не социальная проницательность, не бескорыстное мышление и чувство, а настоятельные материальные потребности, борьба из-за классовых интересов.

Буржуазный, филантропический, утопический коммунизм ведет свое начало от Томаса Мора.

Коммунизм равенства современного боевого пролетариата еще моложе. Его первые движения становятся заметными лишь во время английской революции XVII века»<sup>4</sup>.

Как видим, тезис о двух основателях социализма, Море и Мюнцере, превратился в положение о «двух корнях». И если «первый корень» — «коммунистический утопизм» — признавался порождением Мора, то «второй корень» уже никакого отношения к Мюнцеру не имел: его «первые движения» стали заметны лишь лет 130 спустя после смерти Мюнцера — и в другую эпоху, и в другой стране.

Такое «оттеснение» Мюнцера еще более подчеркивалось расположением материала: страницы, посвященные Мюнцеру, находились в первом полутоме, носившем подзаголовок: «От Платона до анабаптистов», а страницы, повествовавшие о Море, — во втором («От Томаса Мора до кануна Великой французской революции»). Хронологический принцип явно нарушался: не только учение Мюнцера и события Великой крестьянской войны, но и последующие выступления анабаптистов излагались до рассказа об «Утопии», хотя появление «Утопии» предшествовало и проповедям Мюнцера, и Крестьянской войне, не говоря уже о Монстерской коммуне. Мюнцер тем самым еще больше «увязывался» со средневековым «еретическим коммунизмом», а новаторство Мора проявлялось еще более ярко. Хотя Каутский и признавал,

<sup>4</sup> Die Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen von E. Bernstein, C. Hugo, K. Kautsky, P. Lafargue, Franz Mehring, G. Plechanow. Erster Band, erster Theil. Stuttgart, 1895. В настоящей работе русский перевод цитируется по изданию: История социализма в монографиях / К. Каутский, П. Лафарг, К. Гуго, Э. Бернштейн. 3-е изд. СПб., 1907. Ч. 1. С. 1.

что «в народной памяти Мюнцер был и остался доныне самым блестящим воплощением революционного, еретического коммунизма»<sup>5</sup>, тем не менее именно коммунизм Мора (на века!) определил дальнейшее развитие социалистической мысли. «„Утопией“ Мора,— утверждал Каутский,— начинается современный социализм»<sup>6</sup>. Превознесение автора «Утопии» Каутским приводит к тому, что утрачивается реальность исторической перспективы.

Однако формулировка, декларированная во вступлении: «Буржуазный, филантропический, утопический коммунизм ведет свое начало от Томаса Мора»,— оказывается почти не связанный со всем последующим изложением. Эпитеты «буржуазный», «филантропический» как-то сами собой отпадают. Тем более что материал этой главы «Истории социализма в отдельных очерках» целиком взят из прежней книги, основной вывод которой гласил: «Мор был отцом утопического социализма»<sup>7</sup>. Центральная мысль главы, как и книги, такова: «„Утопией“ Мора начинается современный социализм»<sup>8</sup>.

Этот тезис, несомненно, оказал влияние и на работы, специально посвященные Томасу Мору, и на общую концепцию истории утопического социализма. Каутский-историк, повторим, писать своего «Томаса Мора» пытался с марксистских позиций, и эта его книжка выгодно отличалась от многих изданных до нее.

Послереволюционная историография в лице В. П. Волгина еще в 1928 г. отбросила некоторые крайности концепции Каутского. Особенно это касается его утверждения о том, будто «Утопией» в истории социализма началась эпоха, обнимающая несколько столетий, будто она дала «форму социализма, непосредственно предшествующего той его форме, в которой он завоевает весь мир»<sup>9</sup>. Волгин видел в Море «первого представителя социализма нового времени»<sup>10</sup>. Он не разделял чрезмерно преувеличенной оценки значения «Утопии», которая была характерна для Каутского. «До основания научного социализма Марксом и Энгельсом,— писал Каутский,— т. е. в течение трехсот лет с лишком, социалистические идеи не выходили за пределы, намеченные Мором»<sup>11</sup>. Волгин ограничил роль «Утопии»— и не только тем, что сузил хронологические рамки ее воздействия, хотя и не склонен был преуменьшать значение «Золо-

<sup>5</sup> Там же. С. 278.

<sup>6</sup> Там же. 2-е изд. СПб., 1907. Ч. 2. С. 27.

<sup>7</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 285.

<sup>8</sup> История социализма в монографиях. Ч. 2. С. 27, 29.

<sup>9</sup> Там же. С. 29.

<sup>10</sup> Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 133.

<sup>11</sup> История социализма в монографиях. Ч. 2. С. 29.

той книжечки»: «Вплоть до французской буржуазной революции XVIII века история социалистической мысли не может отметить ни одного произведения, равного «Утопии» по значению. Т. Мор должен быть с полным правом назван родоначальником и одним из величайших представителей утопического социализма»<sup>12</sup>.

В той же книге, где к первым утопистам нового времени причислены не только Мор и Кампанелла, но и Дони, Томас Мюнцер к их числу отнесен не был, а при изложении высказанных им идей упор делался на связь их со средневековым мышлением. Мюнцер, как утверждалось, шел по стопам крайних еретиков средневековья. «Миросозерцание Мюнцера,— писал Волгин,— мистическое и хилиастическое, не могло дать для построения конкретной программы ни соответственного настроения, ни соответственных отправных пунктов»<sup>13</sup>.

Переоценка значения «Утопии» в истории коммунистических идей при недооценке учения Мюнцера стала на долгие годы характерна для нашей историографии.

Общеизвестно, сколь весомы были работы М. М. Смирина, посвященные Томасу Мюнцеру<sup>14</sup>. Его исследования рассеяли целый ряд ложных или примитивных представлений об одном из величайших сынов немецкого народа. Труды М. М. Смирина получили самое широкое признание<sup>15</sup>.

«Главной задачей М. М. Смирина,— читаем в обзоре, написанном Б. Ф. Поршневым и В. А. Дунаевским,— было, с одной стороны, проследить связь философской мысли и общественного идеала Мюнцера с предшествовавшей и современной ему оппозиционной религиозной идеологией... а с другой стороны, показать ту принципиальную грань, которая отличала Мюнцера от его предшественников и современников... Коммунистический идеал Мюнцера, идеал установления „божьего царства“ не на небе, а на земле, отражал чаяния огромных масс поднявшегося трудового люда Германии, неразрывно сочетался с усилиями направить ход революции по самому радикальному, самому демократическому и подлинно национальному пути,

<sup>12</sup> См.: Волгин В. П. Историческое значение «Утопии». С. 22.

<sup>13</sup> Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 112, 116.

<sup>14</sup> Главнейшая из них: Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. М., 1947; 2-е изд. М., 1955.

<sup>15</sup> О работах М. М. Смирина подробнее см.: Володарский В. М. Научно-педагогическая деятельность М. М. Смирина // Средние века. М., 1965. Вып. 28; Четыре юбилея М. М. Смирина // Там же. М., 1971. Вып. 33; Памяти Моисея Менделевича Смирина // Там же. М., 1975. Вып. 39; Памяти М. М. Смирина // Ежегодник германской истории, 1975. М., 1976. Библиографию трудов М. М. Смирина см.: Смирин М. М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М., 1978.

но не получил детальной положительной разработки»<sup>16</sup>. «Утопический социализм в Германии,— подчеркивалось в том же обзоре<sup>17</sup>,— ведет начало с величественной революционной фигуры вождя народной реформации Томаса Мюнцера». Это утверждение ни в коей мере не поколебало позиции М. М. Смирина. Он по-прежнему не причислял Мюнцера к основателям утопического социализма (или утопического коммунизма) и, говоря о его программе, указывал, что Энгельс характеризовал ее как «близкую к коммунизму»<sup>18</sup>.

С другой стороны, в ряде распространенных изданий прямо писали, что Мюнцер «проповедовал идеи уравнительного утопического коммунизма»<sup>19</sup>.

Позиция М. М. Смирина понятна и последовательна. Он ссылался на Энгельса, отметившего, что политическая программа Мюнцера была близка к коммунизму: ведь Энгельс-то никогда не называл вождя народной реформации основателем утопического коммунизма.

А разве когда-нибудь Энгельс называл Томаса Мора основоположником утопического социализма (или утопического коммунизма)?

Поскольку авторы, писавшие на эту тему, обычно очень часто ссылались на Энгельса, хотя и защищали, случалось, совершенно разные точки зрения, необходимо лучше уяснить себе его позицию. Выше мы рассмотрели лишь часть проблемы, поэтому здесь уделим больше внимания Мюнцеру.

Но прежде, чем сопоставлять страницы «Золотой книжечки» с речами или посланиями Мюнцера, необходимо сделать небольшое отступление. Вековые споры относительно того, что разуметь под христианским равенством, довольствоваться ли только его духовным смыслом или, употребим выражение Лютера, «понимать Евангелие плотски»— требовать осуществления равенства в земной жизни,— стали в эпоху Мора особенно ожесточенными.

В представлениях о христианском равенстве и общности имуществ можно различить, грубо говоря, три направления. Церков-

<sup>16</sup> См.: Дунаевский В. А., Поршинев Б. Ф. Изучение западноевропейского утопического социализма в советской историографии (1917—1963) // История социалистических учений. М., 1964. С. 21—22.

<sup>17</sup> После смерти одного из соавторов обзор был переиздан в составе новой книги, однако без упоминания имени Б. Ф. Поршинева на титульном листе. Из сноски выходило, что участие Б. Ф. Поршинева, видного специалиста по истории социалистической мысли, в этом обзоре было минимальным (от силы 4 с небольшим страницы из 94!). См.: Дунаевский В. А., Кучеренко Г. С. Указ. соч. С. 19, 24.

<sup>18</sup> См.: СИЭ. М., 1966. Т. 9. Стлб. 856.

<sup>19</sup> См., например: Именной указатель // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 642.

ная доктрина опиралась на Фому Аквинского. Отмечая, что на основании естественного права все вещи общие<sup>20</sup>, он тем не менее доказывал, что право это действовало лишь до грехопадения. Вслед за ним родилось своеокорыстие, покончившее с первоначальной общностью. Отныне сохранение частной собственности как наименьшего зла стало необходимым, ибо греховный человек более приложен, когда работает на себя, чем когда на общину<sup>21</sup>.

Другое направление, хотя и близкое к первому, было представлено в трудах гуманистов, «оксфордских реформаторов», Джона Колета, Эразма<sup>22</sup>. Тут тоже звучал знакомый лейтмотив: из-за грехопадения общность имуществ как основа человеческого общежития стала невозможна.

Третьим было направление народное. Если оно и «понимало Евангелие плотски», то, требуя христианского равенства, прежде всего защищало интересы обездоленных и угнетенных. Выдающиеся глашатаями этого направления были Джон Болл и Томас Мюнцер. Обращает на себя внимание как известное сходство формулировок, так и сам ход аргументации. Сравнительное их изучение сулит, на наш взгляд, много интересного.

Из этих трех направлений лишь одно, последнее, покоилось на убеждении, что принцип «все люди равны» может быть осуществлен здесь, на сей грешной земле. В таком смысле народное понимание равенства было единственной формой христианского равенства как принципа, на котором должно зиждаться человеческое общежитие.

И именно этого, единственно реально существовавшего, народного понимания христианского равенства, требовавшего общности имуществ и отмены всяческих привилегий, автор «Утопии», как и многие другие гуманисты, безусловно не принимал.

В ту пору, когда писалась «Утопия», Мюнцер еще не сблизился с анабаптистами, немецкие крестьяне еще не взялись за оружие и грозные вести из Германии еще не будоражили Европу. Но англичанам хватало и собственного опыта<sup>23</sup>. Мы не знаем точно,

<sup>20</sup> Sancti Thome Aquinatis Summa theologica. 2a-2ae, q. 66. art. 2.

<sup>21</sup> Подробнее см.: Кудрявцев О. Ф. Схоласти о собственности // Средние века. М., 1990. Вып. 53.

<sup>22</sup> Lupton J. H. A Life of John Colet. L., 1887. P. 74—75; Seeböhm F. The Oxford Reformers John Colet, Erasmus, and Thomas More. L., 1913; Surtz E. The Praise of Pleasure. P. 166, 170—174.

<sup>23</sup> См.: Петрушевский Д. М. Восстание Уота Тайлера. М.; Л., 1927; Саприн Ю. М. Социально-политические взгляды английского крестьянства в XIV—XVII вв. М., 1972; Гутнова Е. В. Основные источники и историография по истории крестьянской идеологии в Англии XIII—XIV вв. // Средние века. М., 1966. Вып. 29; Кузнецов Е. В. Движение лоллардов в Англии в конце XIV—XV в. // Исследования по истории народных движений в странах Западной Европы XIII—XV вв. Горький, 1971.

сколь осведомлен был Мор относительно событий конца XIV столетия, восстания Уота Тайлера, проповедей Джона Болла. Но он знал и сочинения Виклефа, и многие хроники того времени. Нас интересует сейчас не степень его осведомленности или знакомство с какими-то подробностями. Мы удовлетворимся простой констатацией: Мор отчетливо представлял себе, чем являлось движение лоллардов и в чем была суть учения их проповедников — они, ссылаясь на Евангелие, требовали возвращения к христианскому равенству.

Вести о «восстании лоллардов» (Фруассар так прямо и называет целый раздел своей «Хроники») получили широкое распространение. Суть проповедей Джона Болла ясна даже из изложения Фруассара. В начале мира не было ни рабов, ни господ: все были равны, происходя от одного отца и от одной матери, от Адама и Евы. Если Богу угодно было создать рабов, он бы уже изначально определил, кому быть рабом, а кому — господином. Однако этого он не сделал. Следовательно, если существует рабство, то корень его — несправедливое угнетение ближних своих нечестивцами, нарушившими волю божью. Дела лишь тогда пойдут хорошо в Англии, учил Болл, когда имущество станет общим, когда не будет ни вилланов, ни дворян, но все будут в одинаковом положении<sup>24</sup>. Так же излагались взгляды Джона Болла в хронике Уолсингема<sup>25</sup>.

Полтора века спустя подобные же настроения находят ярчайшее выражение в программе Томаса Мюнцера: близок час, когда не будет ни господ, ни рабов, когда все станет общим и никто не будет возвышаться над другим<sup>26</sup>.

У лоллардов и Болла, у ана뱁тистов и Мюнцера эти требования выдвигаются как возвращение к христианскому равенству. И что особенно примечательно, и в Англии, и в Германии ненависть масс направлена как против церковников, так и всякого рода «книжников», которые корысти ради скрывают от народа истинный дух Евангелия.

Итак, единственное учение о христианском равенстве, притягавшее на осуществление в земной жизни, было представлением народных масс и, скажем сразу, весьма далеким от идеалов, защищаемых гуманистами. В основе такого представления лежала мысль о всеобщем поравнении. Но эта мысль, повторим, не принадлежала к тем, которые вдохновляли гуманистов.

В народной поэме о стране Кокейн, сказочном kraе изобилия и справедливости, все было общим «для молодых и старых, для

<sup>24</sup> См.: Петрушевский Д. М. Указ. соч. С. 97.

<sup>25</sup> См.: Сапрыкин Ю. М. Социально-политические взгляды... С. 31—32.

<sup>26</sup> Münzter T. Schriften und Briefe: Kritische Gesamtausgabe / Unter Mitarbeit von Paul Kirn herausgegeben von Günther Franz. Gütersloh, 1968 (далее: Schriften und Briefe). S. 548; Flugschriften der Bauernkriegszeit. B., 1975. S. 531, 537.

отважных и кротких, для худых и толстых»<sup>27</sup>. Эразм, хотя и по другому поводу, но высказался столь четко, словно возражал именно против такой тенденции: Платонова общность не предполагает равенства, когда дают поровну «молодым и старым, ученым и темным, глупым и мудрым, сильным и слабым, но что каждому следует воздавать по достоинству»<sup>28</sup>.

Даже когда речь шла, казалось бы, об одном и том же — об общности имуществ и о равенстве, — люди, выражавшие интересы различных общественных групп, вкладывали в эти понятия различное содержание. Если радикальные английские проповедники и Мюнцер ссылались на не искаженное книжниками христианство, то Эразм, как и Мор, опирались в значительной степени на античную, в том числе и пифагорейско-платоновскую, традицию.

Вернемся, однако, к Томасу Мюнцеру. В его учении мы обнаруживаем многое из того, что безуспешно пытались найти в «Утопии». Кто действительно ближе Томаса Мюнцера к самым радикальным идеям аскетически сурового коммунизма? Может быть, все-таки правы В. А. Дунаевский и Б. Ф. Поршнев, которые считали, что утопический социализм в Германии ведет начало от Мюнцера?

Давние симпатии к Мюнцеру<sup>29</sup> помогают нам понять преувеличения Б. Ф. Поршнева и В. А. Дунаевского, но не позволяют разделить их точку зрения. Этому препятствуют весьма серьезные соображения. Не всякую проповедь общности имуществ следует объявлять утопическим коммунизмом. А что касается Энгельса, то основателем утопического коммунизма в Германии он считал не Томаса Мюнцера, а Вильгельма Вейтлинга<sup>30</sup>. Разница ведь в целые 300 лет! Немецкий утопический коммунизм

<sup>27</sup> См.: Мортон А. Л. Указ. соч. С. 25; Historical Poems of the XIVth and XVth Centuries / Ed. R. Robbins. N.Y., 1959. P. 123. Ср.: Чиколини Л. С. Указ. соч. С. 262—269; Гутнова Е. В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI—XV вв.). М., 1984. С. 320—324.

<sup>28</sup> Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia. Lugduni Batavorum, 1703. Adagia N 2. Col. 15.

<sup>29</sup> См.: Штекли А. Э. Томас Мюнцер. М., 1961.

<sup>30</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 535. Пусть это раннее высказывание Энгельса и было позже дополнено указанием на известный «приоритет» идей, которых держался Союз коммунистов (см.: Там же, Т. 21. С. 217, 219, 220, 367), период возникновения немецкого утопического коммунизма остался тем же (см.: Там же. Т. 3. С. 461). В статье «Социализм в Германии» (1891) Энгельс писал: «Немецкий социализм возник задолго до 1848 года. Сначала в нем существовало два независимых течения. С одной стороны — чисто рабочее движение, ответвление французского пролетарского коммунизма; плодом этого движения был утопический коммунизм Вейтлинга, явившийся одним из этапов его развития. Затем — теоретическое движение, возникшее в результате распада гегелевской философии; в этом направлении с самого начала господствует имя Маркса» (Там же. Т. 22. С. 250).

возник, по Энгельсу, не во времена Реформации, а в совершенно иную историческую эпоху — в конце 30-х — 40-е годы XIX столетия. Уже одно это требует самым внимательным образом рассмотреть все, что касается высказываний Энгельса о Мюнцеровой «близости к коммунизму».

Подробно излагая ниспровергательские идеи в учении Мюнцера, М. М. Смирин особенно подчеркивает, что изгнание тиранов и передача власти «простому народу» избавят народ от феодального гнета и удовлетворят его повседневные нужды: «Именно в этой конкретной форме Мюнцер практически ставил вопрос о насильственном уничтожении частной собственности. К тому же выводу мы придем при внимательном рассмотрении соответствующего пункта его показаний...»<sup>31</sup> Но процитировав лишь часть документа<sup>32</sup> и отрывок из написанной Меланхтоном «Истории Томаса Мюнцера», автор которой никакой приязни к своему герою не испытывал, М. М. Смирин так расставляет акценты, что проповедь общности имущества не только уходит на второй план, но и оказывается чем-то не органически присущим Мюнцеру, а лишь приписываемым ему. «Идея общности имущества,— резюмирует свою точку зрения М. М. Смирин,— *приписывается* таким образом Мюнцеру (курсив наш.— А. Ш.) на основании его призыва к народу освободиться от гнета господ и положить конец их излишествам. Он же имел тогда в виду только устранение господ и передачу всех богатств в общее пользование в практически мыслимой в то время форме индивидуальной трудовой или общинной собственности»<sup>33</sup>.

Не касаясь вопроса о доказательности этого тезиса, мы все же отметим, что рассмотрение взглядов Мюнцера, относящихся к общности имуществ, нелегко признать исчерпывающим.

Проблема эта сопряжена со значительными трудностями. Общность имуществ, не абстрактная, вымыщенная, помещенная в Нигдее, а общность имуществ как лозунг, поднимавший на борьбу народные массы, не была среди тем, которые специально обсуждались Мюнцером в его печатных произведениях. Она представлена в свидетельствах врагов Мюнцера и в краткой записи его показаний, истогнутых пыткой. Все это нуждается и в источниковедческом анализе, и в соответствующем комментировании.

<sup>31</sup> Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера... С. 268.

<sup>32</sup> Schriften und Briefe. S. 548: «Ist ir artigkel gewest und habens uff dye wege richten wollen: Omnia sunt communia, und sollten eynem idern nach seyner notdorft ausgetheylt werden nach gelegenheytt. Welcher furst, graff oder herre das nit hette thun wollen und des erstlich erinnert, den solt man dye koppe abschlagen oder hengen».

<sup>33</sup> Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера... С. 269.

В качестве примера рассмотрим несколько фраз из показаний Мюнцера. Почему вдруг среди немецкого текста появляется латинский оборот «*omnia sunt communia*»? Ясно, что важнейшая программная установка целого движения («*Ist ir artigkel gewest und habens uff dye wege richten wollen*»), движения, всколыхнувшего народные массы, не должна была формулироваться на языке книжников и в понятиях, чуждых простому народу. Следовательно, лозунг *omnia sunt communia* является чем-то достаточно широко известным, давно существовавшим, привычным. Так оно и было. Эта формула заимствована из «Деяний апостолов», где речь шла об общности имуществ, практиковавшейся первоначальными христианами. Напомним, что, хотя Лютер и начал публиковать свои переводы из Библии, в общежитии, а среди верных Риму немцев — и в церковной службе, продолжали пользоваться латинскими текстами Священного писания. Мы вовсе не ставим знак равенства между Мюнцеровым *omnia sunt communia* и евангельскими формулами. Лозунг Мюнцера имеет более широкий мировоззренческий смысл и звучит как один из главных доводов «естественного права». Но сейчас мы обращаем внимание прежде всего на его связь с Евангелием. Эту связь подчеркивает и вывод, делаемый из основного тезиса: раз «*omnia sunt communia*», то «каждому должно быть выделено по его нужде». Это прямо повторяет известные слова из «Деяний апостолов» о том, что каждому давалось, в чем он имел нужду<sup>34</sup>.

Однако мы должны обратить особое внимание на оговорку, которой снабжено это программное требование Мюнцера: «...каждому должно быть выделено по его нужде *по возможности*» (курсив наш.—A. III.—«*nach gelegenheyt*»)<sup>35</sup>. Ясно, что такое ограничительное добавление, указывающее на необходимость считаться с реальными обстоятельствами, не только допускает известную тактическую гибкость, но и непосредственно связано с вопросом о путях достижения основной цели. «Если какой

<sup>34</sup> В русском переводе «Деяний апостолов» оба места передаются с некоторым отличием: «разделяли всем, смотря по нужде каждого» (2, 44); «каждому давалось, в чем кто имел нужду» (4, 35). В латинском тексте принцип распределения оба раза сформулирован одинаково: *propterea si quicquid opus erat* — «смотря по нужде каждого» или «по потребности каждого» (2, 46; 4,35). В Утопии каждый «отец семейства» получает из общественных складов «то, в чем он и его близкие имеют потребность»: «*qui libet paterfamilias quibus ipse si quicquid opus habent*» (Utopia. Р. 136).

<sup>35</sup> Останавливаясь пока на таком толковании, считаем нужным отметить, что слово «*gelegenheyt*» имело тогда и другое значение: «положение», «состояние». Сравнение с Лютеровым переводом здесь ничего не дает: «...nach dem jederman not war», «...man gab einem iglichen was im not war» (см. факсимильное воспроизведение: *Martin Luther. Biblia...* Leipzig, 1983. Bd. 2).

князь, граф или господин,— продолжаем цитировать краткую запись показаний Мюнцера,— не захотят этого делать (т. е. выделять каждому по его нужде *по возможности*.— A. Ш.), о чём им прежде всего было напомнено, то им следует отрубить головы или повесить».

Поэтому нам трудно согласиться с М. М. Смириным, будто идея общности имущества *приписывается* Мюнцеру на основании его призыва к народу освободиться от гнета господ. Если бы люди, составлявшие протокол, желали оболгать Мюнцера, дабы усугубить его вину перед властью имущими путем фальсификации данных им показаний, они, на наш взгляд, скорее бы *приписали* поверженному пророку именно то настроение, которым его наделяет М. М. Смирин: Мюнцер-де жаждал устраниć господ («отрубить головы или повесить»), завладеть их богатствами и пользоваться ими, в том числе и в форме «индивидуальной трудовой собственности». Но в показаниях говорится об ином ходе мысли Мюнцера, и это в значительной степени свидетельствует о достоверности сделанной записи: ссылаясь на евангельские заветы, Мюнцер требует возвращения «по возможности» к общности имущества, к осуществлению на практике древнего принципа «каждому по его нужде». Правителям и всякого рода господам, в чьих руках избыток собственности, Мюнцер считает долгом прежде всего напомнить об этом забытом ими евангельском принципе. Тем, кто согласится с ним, «устранение» не грозит. Кары ожидают лишь упрямцев, отказывающихся восстановить общность имущества, о которой сказано в Писании.

Мюнцеру присуща, и это доказывают его сочинения, именно такая, а не «обратная» последовательность в аргументации, когда на первое место в качестве неотложной и главнейшей задачи ставится «устранение господ».

Желая подкрепить свое толкование Мюнцеровой темы «Общность имущества и устранение господ» авторитетом Энгельса, М. М. Смирин приводит цитату из «Крестьянской войны в Германии», где говорится: «...под царством божьим Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти... промыслы и имущества становятся общими, устанавливается самое полное равенство»<sup>36</sup>.

Но коль скоро мы хотим выяснить, как Энгельс подходил к изложению Мюнцером темы «Существующие власти и общность имущества», то должны восстановить слова Энгельса, которые М. М. Смирин заменил отточием: «Все существующие

<sup>36</sup> См.: Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера... С. 269.

власти, в случае если они не подчинятся революции и не примкнут к ней, должны быть низложены...»<sup>37</sup>. Сочинения Мюнцера, как и его показания, подтверждают правоту именно такой трактовки: властители подлежали низложению, коль скоро они, презрев напоминание о том, что необходимо вернуться к христианскому братству, не соглашались «выделить каждому по его нужде».

Напомним, что Мюнцер и в своих практических шагах, по Энгельсу, «оставался связанным своими прежними проповедями о христианском равенстве и евангельской общности имущества»<sup>38</sup>.

Если мы примем тезис о том, что идея общности имуществ Мюнцеру *приписывается*, поскольку он имел тогда в виду лишь устранение господ и передачу всех богатств в общее пользование в форме индивидуальной трудовой или общинной собственности, то мы, помимо известных затруднений в истолковании поступков и речей самого Мюнцера, встретимся и с другого рода сложностью. Мы рискуем утратить верный масштаб, когда захотим сравнить Мюнцеровы устремления с другими утопическими проектами его эпохи вроде «Вольфарии» Иоганна Эберлина, «Земского устройства» Михаила Гайсмайра или сочинения Иоганна Гёргота «О новом преобразовании христианской жизни».

Не окажется ли в таком случае, к примеру, Гёргот, настаивающий на общности имуществ<sup>39</sup>, более радикальным, чем сам Мюнцер? Но ведь Гёргот, как считают, всего лишь один из последователей Мюнцера?<sup>40</sup> Поскольку коммунистический идеал не получил у Мюнцера детальной положительной разработки, В. А. Дунаевский и Б. Ф. Поршинев особо подчеркнули важность изучения «коммунистической утопии» Гёргота<sup>41</sup>.

Продолжая заниматься народной реформацией, М. М. Смирин много уделял внимания мюнцеровскому пантеизму, изучал влияние гуманистических идей на Мюнцера. К вопросу о месте

<sup>37</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 371.

<sup>38</sup> Там же. С. 424.

<sup>39</sup> Hergot H. Von der neuen Wandlung eines christlichen Lebens // Flugschriften der Bauernkriegszeit. S. 547—557.

<sup>40</sup> См.: Майер В. Е. Об одном раннем произведении утопического коммунизма в Германии // Средние века. М., 1961. Вып. 20. С. 156, 164.

<sup>41</sup> См.: Дунаевский В. А., Поршинев .Б.Ф\_. Указ. соч. С. 22. Вывод во многих отношениях более чем спорен, ибо Мюнцер и Гёргот — фигуры по своему значению едва ли сопоставимые.

В последнее время в нашей стране изучение Гёргота поднято на новую ступень. См.: Володарский В. М. Утопия Ганса Гёргота // История социалистических учений, 1986. М., 1986. С. 134—153; Он же. Ганс Гёргот и утопия «О новом преобразовании христианской жизни»: (Вступ. ст., пер. с нем и коммент.) / История социалистических учений, 1987. М., 1987. С. 252—273.

его в истории утопического коммунизма М. М. Смирин так и не возвратился. Он последовательно держался точки зрения, высказанной во втором издании его книги: «Известно, что и Энгельс говорил о коммунистических взглядах Мюнцера, однако очень осторожно: „Политическая программа“ Мюнцера „была близка к коммунизму“...»<sup>42</sup>.

Эта установка, особенно в сравнении с господствовавшим тогда тезисом о Томасе Море как родоначальнике утопического социализма (или коммунизма), казалось, недооценивала значение Мюнцера, хотя и была правильной по существу. А если еще вспомнить, что Мюнцер рассматривался как мыслитель *средневековья*, тогда как Мора (Мюнцерова современника!) изображали родоначальником утопического коммунизма *нового времени*, то положение складывалось явно не в пользу Мюнцера.

Однако о какой «осторожности» Энгельса идет речь? Действительно, он никогда не называл коммунизмом учение Мюнцера и никогда не причислял его к основателям утопического коммунизма. Но в этом проявлялась не намеренная «осторожность» формулировок, а твердое убеждение.

Близость представлений Мюнцера о равенстве к представлениям «аскетически сурового, спартанского коммунизма» велика и знаменательна. Различия же между Мором и Мюнцером, двумя современниками, очень существенны, но вряд ли надо продолжать видеть в одном выдающегося вождя средневековья, а другого нарекать первым великим утопистом нового времени. Что же касается их действительного различия, то плохо, когда подобные дефиниции мешают разглядеть подлинную новизну многих мыслей Мюнцера и в то же время заставляют «подновлять» даже такие идеи Мора, от которых веет духом Платона или Аристотеля.

Если, однако, предвосхищение коммунизма мы *впервые* встречаем в Германии, а не в Англии, у Мюнцера, а не у Мора, если *только* у Мюнцера эти проблески коммунистических идей *впервые* становятся выражением стремлений реальной общественной группы<sup>43</sup>, то не вправе ли мы, подчеркивая столь значительные преимущества Мюнцера, счесть именно его родоначальником утопического коммунизма?

Нет, как бы близок ни был Мюнцер к революционным, стихийным «рабочим коммунистам» 30—40-х годов XIX в., он выступал лишь их предтечей.

Подчеркивая необходимость мерить Томаса Мора и Томаса Мюнцера одной меркой, а не разными, мы хотим ликвидировать

<sup>42</sup> Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера... С. 267.

<sup>43</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 364.

существующий перекос и восстановить «историографическую справедливость». А это заставляет именно под таким углом зрения рассмотреть работу, казалось бы, изученную вдоль и поперек.

О «Крестьянской войне в Германии» немало писали как о ярком воплощении нового, материалистического понимания истории, оказавшем значительное влияние на многих исследователей<sup>44</sup>. Однако сие не должно заслонить нам другую, не менее существенную сторону этого труда — его политическое, пропагандистское значение<sup>45</sup>. «Крестьянская война в Германии» — прежде всего страстное произведение революционера, который, даже находясь в самой гуще политической борьбы, был движим стремлением постичь уроки близкого и далекого прошлого ради насущных задач, подчиненных главной цели — освобождению пролетариата.

Приведем один лишь пример. С пребыванием Мюнцера в Мюльхаузене связаны многие значительные события Крестьянской войны. Но мы вряд ли поймем весь смысл отрывка о роли Мюнцера в мюльхаузенском «Вечном совете», если не вспомним о политических реальностях 1850 г. Фразу о председательстве Мюнцера в «Вечном совете» ни в коем случае нельзя отрывать от последующих двух страниц, пронизанных ощущением связи прошлого с настоящим, страниц, которые, по нашему убеждению, были прежде всего обобщением пережитого, оценкой накопленного, подчас горького опыта и одновременно — призывом не повторять ошибок.

Сразу после фразы, говорящей о Мюнцере как председателе «Вечного совета»<sup>46</sup>, Энгельс сделал ряд важных выводов: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью

<sup>44</sup> См., например: Лавровский В. М., Сказкин С. Д. Энгельс как историк Крестьянской войны в Германии 1525 г. // Докл. и сообщ. ист. фак. МГУ. М., 1947. Вып. 5. С. 21—27; Смирин М. М. Энгельс о значении Крестьянской войны 1524—1525 гг. в истории Германии // Средние века. 1962. Вып. 21. С. 15—25; Он же. Фридрих Энгельс о характере народных движений в Германии в эпоху раннебуржуазной революции XVI в. // Энгельс и проблемы истории. С. 128—138.

<sup>45</sup> В этом плане исследование «Крестьянской войны...» было начато историками ГДР. См., например: Bensing M. Friedrich Engels' Schrift über den deutschen Bauernkrieg — ihre aktuelle Bedeutung 1850 und ihre Rolle bei der Herausbildung der marxistischen Geschichtswissenschaft // Friedrich Engels's Kampf und Vermächtnis. В., 1961.

<sup>46</sup> На самом деле Мюнцер не был председателем «Вечного совета», хотя и возглавлял в Мюльхаузене самую революционную партию. Источность эта восходит к первому изданию книги В. Циммермана, которая служила Энгельсу источником фактических данных. Подробнее см.: Штекли А. Э. О некоторых комментариях к «Крестьянской войне в Германии» Энгельса // Новые страницы истории и теории марксизма. М., 1983.

в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что он *может* сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами... То, что он *должен* сделать, чего требует от него его собственная партия, зависит опять-таки не от него самого, но также и не от степени развития классовой борьбы и порождающих ее условий; он связан уже выдвинутыми им доктринаами и требованиями...»<sup>47</sup>.

Вождь крайней партии попадает в исключительно сложное положение. «Таким образом,— продолжает Энгельс,— он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он *может* сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он *должен* сделать, невыполнимо»<sup>48</sup>.

Подкрепив этот тезис примерами из самого недавнего времени, из опыта революции 1848—1849 гг., Энгельс тут же возвращается к Мюнцеру: «Положение Мюнцера во главе мюльхаузенского Вечного совета было, однако, еще более рискованным, чем положение любого современного революционного правителя. Не только тогдашнее движение, но и вся его эпоха еще не созрели для проведения в жизнь тех идей, относительно которых у него самого возникло лишь смутное предчувствие»<sup>49</sup>.

И далее, развивая эту мысль, Энгельс на конкретном материале показывает, что Мюнцер провозглашал и чего в действительности не смог достичь.

Реальную обстановку 1850 г. мы должны иметь в виду и тогда, когда хотим исследовать «Крестьянскую войну в Германии» как произведение, важное и для историков социалистических учений. В 1850 г. у Энгельса был уже такой опыт борьбы за объединение пролетариата и за размежевание с идеиними противниками, вносявшими в рабочее движение теоретическую путаницу, что он особенно чуток ко всякого рода ложным толкованиям. Споря с политическими врагами, Энгельс протестует, когда за коммунизм выдают то, что оным еще не являлось. Так и при осмыслиении прошлого он стоит на своем — даже когда интересы пропаганды могли, казалось бы, допустить больший упор на длительность революционных традиций масс и давность их коммунистических упоминаний.

Изучение «Крестьянской войны в Германии» способствует лучшему уяснению ряда тезисов Энгельса, касающихся револю-

<sup>47</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 422—423.

<sup>48</sup> Там же. С. 423.

<sup>49</sup> Там же.

ционных актов и идейной борьбы XVI в., когда, как считают многие, утопический коммунизм впервые появился на исторической арене.

Мы не будем разбирать «Утопию» или «Город Солнца», чтобы снова доказывать<sup>50</sup>, сколь затруднительно представить их образцами «аскетически сурового, спартанского коммунизма, запрещавшего всякое наслаждение жизнью»<sup>51</sup>. Предпочтем сейчас иной путь. Согласимся на время с теми, кто, видя в Томасе Море, Мюнцере, Кампанелле или Уинстэнли основоположников утопического коммунизма, ссылается на отрывок из «Анти-Дюринга», разобранный нами выше. Но внесем сразу же одно существенное уточнение — стремясь выяснить точку зрения Энгельса, постараемся избегать рассуждений такого типа: прекрасно зная ренессансный дух «Утопии», Энгельс вряд ли бы мог причислить ее к произведениям «аскетически сурового, спартанского коммунизма» и т. п.

Ни о ком из тех, кто в глазах некоторых историков социалистических идей был бы вправе претендовать на титул родоначальника утопического коммунизма XVI—XVII вв., Энгельс не писал так подробно, как о Томасе Мюнцере, видя в нем самую величественную фигуру всей Крестьянской войны, этой «революции 1525 года»<sup>52</sup>. Из находившегося в его распоряжении фактического материала он внимательно отбирал все то, что позволяло судить о социально-политических воззрениях Мюнцера.

Его программа, которая «представляла собой не столько сводку требований тогдашних плебеев, сколько гениальное предвосхищение условий освобождения едва начинавших тогда развиваться среди этих плебеев пролетарских элементов, требовала немедленного установления царства божьего на земле — тысячелетнего царства, предсказанного пророками,— путем возврата церкви к ее первоначальному состоянию и устраниния всех учреждений, находившихся в противоречии с этой якобы раннехристианской, в действительности же совершенной новой церковью»<sup>53</sup>. Программа Мюнцера была пронизана реальными мирскими устремлениями<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> См.: Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. С. 59—61, 346—348.

<sup>51</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 191.

<sup>52</sup> Там же. Т. 7. С. 356, 436.

<sup>53</sup> Там же. С. 371.

<sup>54</sup> Там же. Выше мы приводили слова Энгельса о том, какой смысл вкладывался Мюнцером в понимание «царства божьего». Эта характеристика подтверждается свидетельствами современников. Мюнцер действительно поднимал народ на борьбу, доказывая: подлинная христианская любовь требует, чтобы «никто не стоял над другим, чтобы каждый был свободен и существовала бы общность всех имуществ» (*Melancthon Ph. Die Historie Thomas Münzers // Flugschriften der Bauernkriegszeit*. S. 531).

Иногда Мюнцера изображали витавшим в облаках мечтателем, весьма далеким от действительности. Несомненной заслугой М. М. Смирина, а затем и ряда других ученых<sup>55</sup> было то, что они убедительно показали, сколь тесными узами связан был Мюнцер с самыми насущными нуждами трудового народа. Однако нельзя согласиться с таким положением, когда желание попрочнее привязать Мюнцера к злободневным требованиям масс начинает отрицательно сказываться на изучении тех его взглядов, которые шли значительно дальше этих непосредственных требований.

Здесь мы попытаемся прежде всего ответить на вопрос: можно ли, основываясь на «Крестьянской войне...», утверждать, что учение Томаса Мюнцера, вдохновлявшее его сподвижников, его эмиссаров, его «партию», надо относить к «аскетически суровому, спартанскому коммунизму»? И не является ли его духовное наследие частью того, что принято называть «уравнительным коммунизмом»?

Многие страницы «Крестьянской войны...» Энгельс посвятил как самому Мюнцеру, так и революционным традициям немецкого народа, связям событий Крестьянской войны с прежними выступлениями крестьян и плебеев. Одна из самых непростых задач заключается в необходимости выяснить точки соприкосновения идей Мюнцера с наиболее глубинными, давным-давно укоренившимися представлениями его предшественников. Это поможет не только лучше понять некоторые стороны учения Мюнцера, все еще, на наш взгляд, недостаточно изученные, но и яснее распознать те настроения крестьянских и плебейских масс, которые чутко уловил Мюнцер. Ведь этим и объясняется успех его проповедей и призывов.

Раскроем «Крестьянскую войну в Германии». Энгельс пишет о первых проявлениях революционного духа среди немецкого крестьянства в самом конце XV столетия, о вступлениях Ганса Бегайма. Но рассказ пока лишь кратко предваряет важные обобщения: «Уже здесь, у этого первого предшественника движения, мы находим тот аскетизм, который мы обнаруживаем во всех средневековых восстаниях, носивших религиозную окраску, и в новейшее время на начальной стадии каждого пролетарского движения»<sup>56</sup>.

Энгельс считает необходимым сразу же подчеркнуть определенную преемственность между умонастроением участников народных восстаний в средние века и борющимися пролетариями.

<sup>55</sup> Steinmetz M. Thomas Müntzer in der Forschung der Gegenwart // Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer/Hrsg. M. Steinmetz. Leipzig, 1976. S. 94—96.

<sup>56</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 377.

«Эта аскетическая строгость нравов,— продолжает он,— это требование отказа от всех удовольствий и радостей жизни, с одной стороны, означает выдвижение против господствующих классов принципа спартанского равенства, а с другой—является необходимой переходной ступенью, без которой низший слой общества никогда не может прийти в движение. Для того, чтобы развить свою революционную энергию, чтобы самому осознать свое враждебное положение по отношению ко всем остальным общественным элементам, чтобы объединиться как класс, низший слой должен начать с отказа от всего того, что еще может примирить его с существующим общественным строем, отречься от тех немногих наслаждений, которые минутами еще делают сносным его угнетенное существование и которых не может лишить его даже самый суровый гнет»<sup>57</sup>.

Свообразие такого рода аскетизма необходимо оттенить: «Этот плебейский и пролетарский аскетизм как по своей неистово-фанатической форме, так и по своему содержанию резко отличается от бургсрского аскетизма в том виде, как его проповедовали бургсрская лютеранская мораль и английские пуритане в отличие от индепендентов и других более радикальных сект, и весь секрет которого состоит в буржуазной бережливости»<sup>58</sup>.

В этом отрывке не только суммированы наблюдения, касающиеся далекого прошлого, но и обобщен недавний личный опыт Энгельса. Как известно, Энгельс в молодости был знаком со многими представителями французского и немецкого рабочего коммунизма. О некоторых из них он сохранил навсегда лучшие воспоминания<sup>59</sup>. Судить о сильных и слабых сторонах плебейско-пролетарского аскетизма Энгельс мог и по книгам, и на основании собственных впечатлений. Поэтому суждение о плебейско-пролетарском аскетизме, как и многие другие его высказывания, относящиеся к истории утопического социализма 40—50-х годов, мы должны воспринимать не только как обобщения теоретика и публициста, но и как свидетельство современника.

«Впрочем, само собой разумеется,— продолжает Энгельс,— что этот плебейско-пролетарский аскетизм теряет свой революционный характер по мере того как, с одной стороны, развиваются современные производительные силы, безгранично увеличивая средства потребления и делая тем самым ненужным спартанское равенство, и, с другой стороны, становятся все более революционными условия жизни пролетариата, а вместе с ним и сам

<sup>57</sup> Там же. С. 377—378.

<sup>58</sup> Там же.

<sup>59</sup> См.: Там же. Т. 21. С. 216.

пролетариат. Тогда массы постепенно освобождаются от аскетизма, а у цепляющихся за него сектантов он вырождается либо непосредственно в буржуазную скаредность, либо в ходульную добродетель, которая на практике также сводится к мещанскому или ремесленническому скряжничеству. Масса пролетариата меньше всего нуждается в проповеди отречения от земных благ, хотя бы уже потому, что у нее не осталось почти ничего; от чего бы она могла еще отречься»<sup>60</sup>.

Возвращаясь к движению Ганса Бегейма, Энгельс говорит, что его проповедь покаяния встретила живейший отклик. Констатация этого факта, почертнутого из книги Циммермана, дает повод для еще одного важного вывода: все мятежные пророки начинали с такой проповеди; и действительно, «лишь величайшее напряжение, лишь внезапный отказ от всего привычного образа жизни могли привести в движение этот распыленный, разобщенный, с детства приученный к слепому повиновению крестьянский люд»<sup>61</sup>.

Смысл всего процитированного отрывка, на наш взгляд, как раз в том, что Энгельс прослеживает идеиную преемственность в одной из линий, характерную для истории революционного движения угнетенных. Мюнцер и его единомышленники тоже принадлежали к числу тех, кто исповедовал «плебейский аскетизм»<sup>62</sup>.

Если допустить, что процитированный отрывок к Мюнцеру непосредственно отношения не имеет, а касается лишь его предшественников, как позже революционных пролетариев 30—40-х годов XIX в., то в тексте образуется такая «логическая лакуна», которая делает необъяснимым появление этих страниц в рассказе о Крестьянской войне.

В разбираемом экскурсе Энгельса мы хотим обратить особое внимание на подчеркнутую им связь между аскетической строгостью нравов и принципом спартанского равенства, который выдвигается как оружие против господствующих классов. О «спартанском равенстве» Энгельс упоминает здесь еще раз, когда говорит о пролетариате 40-х годов XIX в.

Следовательно, в истории освободительной борьбы угнетенных плебейско-пролетарский аскетизм выступает в такой тесной связи с принципом спартанского равенства, что само плебейско-пролетарское представление о равенстве надолго приобретает

<sup>60</sup> Там же. Т. 7. С. 378.

<sup>61</sup> Там же.

<sup>62</sup> Вопрос о том, в какой степени учение Мюнцера было проникнуто аскетизмом, заслуживает дополнительной разработки. Если одни ученые (к примеру, М. М. Смирин и М. Бензинг) склонны преуменьшать значение аскетических мотивов в миропонимании Мюнцера, то иные (А. Ломан и др.), наоборот, их оттеняют. Однако рассмотрение этой проблемы не входит в задачи настоящей главы.

суровые аскетические черты. Упомянутое здесь «требование отказа от всех удовольствий и радостей жизни» сопоставим с дополнением, которое Энгельс сделал, когда готовил соответствующие разделы «Анти-Дюринга» для издания в виде отдельной брошюры. Это дополнение выделено нами курсивом: «Аскетически суровый, спартанский коммунизм, запрещавший всякое наслаждение жизнью, был первой формой проявления нового учения»<sup>63</sup>. В немецком тексте это сходство формулировок еще больше бросается в глаза. Если в переводе в одном случае говорится о «радостях жизни», а в другом — о «наслаждении жизнью», то в подлиннике оба раза употреблено одно и то же слово «Lebensgenüß»<sup>64</sup>.

Основной чертой «аскетически сурового, спартанского коммунизма» Энгельс считал требование равенства, сводившегося по существу к требованию уничтожения классов. Оно было характерно как для плебейско-пролетарского представления о равенстве в целом, так и для обоих его этапов — и для начального периода, времени Крестьянской войны в Германии, и для эпохи, открывшейся Французской революцией<sup>65</sup>. Признание этого факта опять ставит перед нами вопрос: к какому времени относить возникновение «аскетически сурового, спартанского коммунизма» — к XVI в., к годам Крестьянской войны в Германии, или к XVIII столетию? В ком видеть первых его представителей — в Томасе Мюнцере или в Морелли и Мабли с их революционными последователями?

В далеком прошлом трудно найти иного такого мыслителя и борца, жизнь которого была бы настолько пронизана всепоглощающим стремлением к равенству, как Мюнцер. Его призывы к установлению строя, где никто не будет возвышаться над другим, служат ярким примером теоретических выступлений, воплощающих начальный этап развития плебейско-пролетарского представления о равенстве. И не следует ли нам поэтому видеть в Томасе Мюнцере реальное олицетворение «аскетически сурового, спартанского коммунизма»?

Ответить на этот вопрос надо отрицательно. Дело здесь, разумеется, не в том, чтобы поставить под сомнение «уравнительные стремления» Мюнцера. Он не был ни глашатаем «аскетически сурового, спартанского коммунизма», ни коммунизма уравнительного. Его теология, полагал Энгельс, выходила за пределы господствовавших в то время представлений: «Подобно

<sup>63</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 191.

<sup>64</sup> Ср.: Marx K., Engels F. Gesamtausgabe (MEGA). B., 1977. Abt. I. Bd. 10. S. 394 (далее: I/10); Marx K., Engels F. Werke. Bd. 19. S. 191.

<sup>65</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 399, 400.

тому, как религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, его политическая программа была близка к коммунизму<sup>66</sup>, и даже накануне февральской революции многие современные коммунистические секты не обладали таким богатым теоретическим арсеналом, каким располагали «мюнцерцы» в XVI веке<sup>67</sup>.

«Коммунизм», о котором говорит тут Энгельс, это не просто какое-то учение об общности имущества, провозглашенное во время Мюнцера или в предшествующие столетия. Коммунизм рассматривается здесь как порождение совсем иной исторической эпохи. Речь идет об утопическом коммунизме середины XIX в.: даже накануне революции 1848 г. многие его представители уступали по богатству теоретического арсенала Мюнцеру и его единомышленникам.

Тем не менее учение Мюнцера не было еще коммунизмом — пламенный проповедник в своей фантазии только *предвосхищал коммунизм*.

«Это резко противоречащее действительности,— писал Энгельс,— но вполне объясняющееся условиями жизни плебеев предвосхищение последующей истории мы впервые встречаем в Германии у Томаса Мюнцера и его партии. Правда, у таборитов уже существовала своего рода хилиастическая общность имущества, однако, лишь в качестве чисто военной меры. Только у Мюнцера эти проблески коммунистических идей впервые становятся выражением стремлений реальной общественной группы, только у него впервые они формируются с известной определенностью, и, начиная с него, мы встречаем их снова в каждом великим народном потрясении, пока они постепенно не сливаются с современным пролетарским движением...»<sup>68</sup>

Для лучшего уяснения мысли Энгельса о «проблесках коммунистических идей» у Мюнцера необходимо иметь в виду, что в подлиннике упомянуты «komunistische Anklänge»<sup>69</sup> (буквально: «отголоски», «созвучия», «сходства»). Если «проблеск» говорит о слабом проявлении чего-то существующего или нарождающегося, а «отголосок» — это отражение, ответ или отклик на

<sup>66</sup> Заслуживает особого внимания то, как выражает Энгельс «близость к коммунизму» идей Мюнцера: «Wie Münzers Religionsphilosophie an den Atheismus, so streife sein politisches Programm an den Kommunismus». Илагол «streifen» свидетельствует как бы о наибольшем приближении: «es streift ans...» — «это граничит с ...», «это уже почти...». Следовательно, религиозная философия Мюнцера не «приближалась к атеизму», а граничила с ним. То же самое и с его политической программой: она не просто «была близка к коммунизму» — она граничила с ним (MEGA. I/10. S. 389).

<sup>67</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 371.

<sup>68</sup> Там же. С. 364.

<sup>69</sup> MEGA. I/10. S. 382.

что-то, тоже существующее или существовавшее (учение Мюнцера, по Энгельсу,—это «предвосхищение коммунизма», неясное «предчувствие» будущего), то «проблески» или «отголоски» здесь мало подходят. Тут отмечаются «сходства», «созвучия» идей Мюнцера с коммунизмом, его «предвосхищение последующей истории».

Эта оценка мировоззрения Мюнцера, высказанная в 1850 г., осталась неизменной и в последующие десятилетия, как видно из переизданий «Крестьянской войны в Германии» 1870 и 1875 гг. Более того, работая над рукописью «Диалектики природы», Энгельс сделал одну очень примечательную поправку. В первоначальном наброске «Введений» он писал, что современное естествознание «начинается с той грандиозной эпохи, когда буржуазия сломило мощь феодализма, когда на заднем плане борьбы между горожанами и феодальным дворянством показалось мятежное крестьянство, а за ним революционные предшественники современного пролетариата, уже с красным знаменем в руках и с коммунизмом на устах...»<sup>70</sup>.

Позже отрывок этот был переработан. Немецкая Крестьянская война, читаем в чистовой редакции, «пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне,— в этом уже не было ничего нового,— но за ними показались предшественники современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах»<sup>71</sup>.

Поправка эта, когда слово «коммунизм» Энгельс заменил словами «требование общности имущества», объясняет, почему он не называл учение Мюнцера «коммунизмом», а говорил лишь о «проблесках коммунистических идей» или «созвучиях с коммунизмом». Даже решительные призывы к общности имущества, звучавшие в ходе Крестьянской войны как ее самый революционный лозунг, в глазах Энгельса коммунизмом еще не были.

Датировка отдельных частей «Диалектики природы» и авторской их переработки представляет большие трудности, однако несомненно, что отношение Энгельса к Мюнцеру требованию общности имущества не претерпело изменений. Поправка во «Введении» к «Диалектике природы»— еще одно доказательство того, что, говоря в «Анти-Дюринге» об «аскетически суровом, спартанском коммунизме», Энгельс имел в виду не Мюнцера и не Мора, не мыслителей XVI—XVII вв., а философов XVIII столетия и их последователей.

<sup>70</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 508.

<sup>71</sup> Там же. С. 345.

Почему же все-таки он писал о «созвучиях» идея Мюнцера с коммунизмом, а не причислял его учение к «уже прямо коммунистическим теориям»?

В «Анти-Дюринге» Энгельс развел ряд положений, высказанных в «Крестьянской войне...» почти на 30 лет раньше. Сейчас для нас весьма важны страницы, посвященные равенству. Работая над «Анти-Дюрингом» — как над подготовительными записями, так и над чистовым текстом — он несколько раз упомянул о Мюнцере<sup>72</sup>. Говоря о том, как во время Крестьянской войны из требований политического равенства стали выводить равенство социальное<sup>73</sup>, Энгельс подразумевал прежде всего Мюнцера.

«Требование равенства в устах пролетариата,— писал Энгельс,— имеет, таким образом, двоякое значение. Либо оно является — и это бывает особенно в самые начальные моменты, например в Крестьянской войне,— стихийной реакцией против воюющих социальных неравенств, против контраста между богатыми и бедными, между господами и крепостными, обжорами и голодающими; в этой своей форме оно является просто выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание. Либо же пролетарское требование равенства возникает как реакция против буржуазного требования равенства, из которого оно выводит более или менее правильные, идущие дальше требования; оно служит тогда агитационным средством, чтобы поднять рабочих против капиталистов при помощи аргументов самих капиталистов, и в таком случае судьба этого требования неразрывно связана с судьбой самого буржуазного равенства. В обоих случаях действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию *уничижения классов*»<sup>74</sup>.

Весь этот отрывок из «Анти-Дюринга» (мы процитировали лишь часть его) приобретает особое значение при сопоставлении с тем, что писалось о равенстве в «Крестьянской войне в Германии». Развивая плебейское требование равенства, Мюнцер не мог не опираться на пример первоначальных христиан. Все другие представления о равенстве, включая и гуманистическое, либо открыто защищали привилегии, либо мирились с ними. Ссылки на «евангельское равенство», конечно же, не слабость Мюнцера. В этом сказалась его зависимость от собственной эпохи. Он тоже «должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала»<sup>75</sup>. Преодолеть буржуазные представления

<sup>72</sup> См.: Там же. С. 18, 161, 664.

<sup>73</sup> См.: Там же. С. 636.

<sup>74</sup> Там же. С. 108.

<sup>75</sup> Там же. С. 16.

о равенстве он не мог по той простой причине, что выработали их значительно позже<sup>76</sup>.

Подведем некоторые итоги. В истории плебейско-пролетарского представления о равенстве можно различить два этапа: начальный, когда призыв к равенству был стихийной реакцией против вопиющей социальной несправедливости и стремление уничтожить классовые различия выступало в религиозной форме: и второй, когда эти требования возникают как реакция против буржуазного требования равенства и преодолевают его ограниченность. Если на первом этапе поборники уничтожения классовых различий опираются на радикальное истолкование заветов первоначального христианства, то на втором они выдвигают собственное учение, которое, отталкиваясь от выработанной буржуазной светской теории равенства, обосновывает необходимость ликвидации самих классов.

Мы знаем, какую большую роль на протяжении столетий играли призывы к общности имуществ у проповедников равенства. Но мы знаем и другое: далеко не каждый приверженец обобществления имуществ способен был подняться до мысли о необходимости уничтожения привилегий, не говоря уже о необходимости уничтожения всяческой эксплуатации. Поэтому, занимаясь историей (или предысторией) утопического коммунизма, вряд ли стоит особенно фетишизировать «общность имуществ». А ведь она подчас настолько завораживает иных историков, что незамеченной оказывается и такая система распределения, которая не только узаконивает неравенство, но и воспевает его.

При изучении названного круга проблем куда плодотворней исследовать прежде всего то, как постепенно складывалось и развивалось пролетарское представление о равенстве. Помня, однако, что даже самые радикальные требования его станут стержнем «уравнительного коммунизма» лишь тогда, когда явятся выражением действителью развернувшейся борьбы пролетариата против господства буржуазии.

Если идеи Мюнцера при всей их революционности — еще только «проблемы коммунизма», «созвучия» с ним, если они только «близки» к коммунизму, «границат» с ним, то следует ли объявлять «основоположниками утопического коммунизма» либо гуманиста, даже не помышлявшего о полном искоренении привилегий и эксплуатации, либо религиозного мыслителя и «непротивленца», который выдавал предлагаемую им систему за ниспосланное свыше «откровение», за «глас божий»?

<sup>76</sup> См.: Там же. С. 104, 637.

# КАРЛ КАУТСКИЙ, ИСТОЛКОВАТЕЛЬ «ЗОЛОТОЙ КНИЖЕЧКИ»

\*

Влияние работ Каутского, посвященных развитию социалистической мысли, на дореволюционную, а затем и послереволюционную историографию было столь значительным и долгим, что могло бы стать предметом специального исследования.

Однако задача сейчас куда скромней: здесь мы хотим показать истоки суждений о Томасе Море как «родоначальнике утопического социализма», заполнивших наши лекционные курсы, справочные издания и научные труды. Показать на основании писем и воспоминаний Каутского, которые увидели свет уже почти полвека назад, но для интересующей нас темы вовсе не использовались. Не будем гадать, что сему виною — полная неосведомленность о существовании таких материалов или иные причины. Остановимся в данный момент на фактической стороне дела.

В пору своего третьего пребывания в Лондоне (1885—1887) Каутский много работал в библиотеке Британского музея, пополнял собственное образование и писал очерк «Экономическое учение Карла Маркса». «Но одновременно,— вспоминает Каутский,— я вел интенсивные исторические разыскания, первым результатом которых явилась работа «Томас Мор и его утопия». Это была первая книга на немецком языке, в которой ученик Маркса и Энгельса применил материалистическое понимание истории, и притом способом, который нашел полнейшее одобрение Энгельса»<sup>1</sup>.

Не будем забывать, что это заявление было сделано Каутским спустя сорок лет после смерти Энгельса. В 1935 г., когда Каутский писал эти строки, он с особенным жаром отстаивал право почитаться первым историком-марксистом, применившим на практике материалистическое понимание истории. Он резко возражал Майеру, который считал таким историком Меринга<sup>2</sup>. «В действительности Меринг,— без доли скромности утверждал Каутский,— помимо самих Маркса и Энгельса, научился

<sup>1</sup> Briefwechsel. S. 178.

<sup>2</sup> Mayer G. F. Engels: Eine Biographie. Haag, 1934. Bd. 2. S. 453.

этому применению (материалистического понимания истории.—  
А. Ш.) от меня. Может быть, мои сочинения были для  
Меринга даже более определяющими, чем сочинения Маркса  
и Энгельса<sup>3</sup> (!).

В своей книге «Томас Мор» (1887)<sup>4</sup> Каутский, по его словам,  
«вывел возникновение первой социалистической утопии из со-  
циальных условий эпохи Реформации»<sup>5</sup>. Он сделал многое также  
для изучения с марксистских позиций возникновения христиан-  
ства. «Но еще дальше,— продолжал Каутский,— продвинулся  
я в этом отношении с другим сочинением. Мою книгу о Томасе  
Море я задумал как часть более обширной работы о социалисти-  
ческих движениях эпохи Реформации. Наряду с утопистом в Анг-  
лии я хотел изобразить также и коммунистические движения  
рабочих в Германии, которые были связаны с Крестьянской вой-  
ной».

Как историк-материалист, признавал Каутский, он многим  
обязан деятельному общению с Энгельсом и проистекавшей из  
этого выучке, которая была для его работ «в высшей степени  
плодотворна»<sup>6</sup>.

Действительно, в пору своего третьего пребывания в Лондоне  
Каутский часто встречался с Энгельсом, широко и разносторонне  
пользовался его помощью. Однако можем ли мы согласиться с утверждением Каутского, будто книга о Томасе Море была  
написана так, что встретила «полнейшее одобрение» Энгельса?  
И следует ли отсюда вывод, будто в оценке значения «Утопии»  
их мнения целиком совпадали? Попытаемся, насколько это по-  
зволяют опубликованные материалы, выяснить, как было дело.

17 августа 1887 г. Энгельс, отдыхавший в Истборне, отвечая  
Каутскому, писал: «С интересом прочту «Мора» в корректуре,  
хотя и не вижу, чем я могу быть тебе при этом полезен»<sup>7</sup>.

Это письмо было впервые опубликовано Каутским в 1935 г.<sup>8</sup>  
Тогда же оно появилось и на русском языке<sup>9</sup>. Можно несколько  
уточнить перевод письма Энгельса: там речь идет не просто  
о корректуре, а о «чистых листах» (*Aushängebogen*)<sup>10</sup>.

Выясняется, что Энгельс не только высказал готовность чи-  
тать «Томаса Мора» в корректуре, но и сделал это.

<sup>3</sup> Briefwechsel. S. 178.

<sup>4</sup> Книга выходила отдельными выпусками, последний из них появился из печати  
в конце декабря 1887 г. На титульном же листе стоит — 1888.

<sup>5</sup> Briefwechsel. S. 179.

<sup>6</sup> Ibid. S. 180.

<sup>7</sup> Marx K., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 583.

<sup>8</sup> Aus der Frühzeit des Marxismus. S. 218.

<sup>9</sup> См.: Marx K., Энгельс Ф. Соч. 1-е изд. 1935. Т. XXVII. С. 659.

<sup>10</sup> Briefwechsel. S. 208.

Однако мы не можем пройти мимо того обстоятельства, что история создания книги о Томасе Море изложена Каутским в его «комментирующих воспоминаниях» невнятно. В рассказе недостает важных звеньев. Мы не знаем, когда началась и как шла работа, какова была роль издателя И. Г. В. Дица. В приведенных документах первое упоминание о «Томасе Море» относится к той стадии издания, когда идут уже «чистые листы». Энгельс узнает о книге чуть ли не накануне ее выхода в свет? Но потом вдруг обнаруживается, что это не так. Да и само подобное предположение едва ли оправданно, если вспомнить, что в Лондоне Каутский много общался с Энгельсом. С другой стороны, те подробности, которые позже сообщит Каутский, показывают, что в курсе своей работы над книгой он Энгельса не держал.

«Я только что получил твоё письмо,— на следующий день из Лондона отвечал Энгельсу Каутский.— Большое спасибо за твою готовность читать корректуры (они отправляются бандеролью одновременно с этим письмом) (это была ошибка, когда я писал о чистых листах). Изменения еще могут быть сделаны, поскольку набор еще не сверстан. Ты меня обязал бы, если бы отметил места, которые кажутся тебе сомнительными и которые я должен еще раз обдумать.

Диц прислал мне вчера слезливое, как обычно, письмо, что типография опоздала, и я потому должен торопиться. Но я не позволю меня опять насиловать, делать работу наспех. Эти книги, издаваемые отдельными выпусками,— нечто отвратительное»<sup>11</sup>.

Обращает на себя внимание странная ошибка. В письме Энгельсу Каутский упомянул о «чистых листах», которые ему присланы. Из дальнейшего же выясняется, что в его распоряжении даже не верстка, а гранки. Трудно объяснить эту ошибку, особенно если допустил ее человек, столь искушенный, как Каутский, в печатном деле. В «чистые листы» поправок обычно уже не вносят. Поэтому слова Энгельса о том, что он с интересом прочтет «чистые листы», хотя и не видит, чем может быть полезен, говорят не просто о скромности. Он с интересом прочтет «Мора» в «чистых листах» (рукописи он, следовательно, не читал!), но много ли от этого проку, если нельзя вносить никаких изменений?

Так эту фразу и понял Каутский, поспешивший исправить свою оплошность, уверив, что еще не поздно послать поправки в типографию. Приходится только сожалеть, что письмо, в котором Каутский допустил эту ошибку, считается утерянным<sup>12</sup>, и мы

<sup>11</sup> Ibid. S. 208—209.

<sup>12</sup> Ibid. S. 209.

не знаем, как там говорилось о «чистых листах» и в каких выражениях была изложена просьба об их прочтении.

Энгельс получил корректуру «Томаса Мора», очевидно, 19 августа и быстро ее вернул. Судя по ответу Каутского, возврат корректуры не сопровождался письмом: Энгельс должен был в ближайшие дни приехать обратно в Лондон. Он предполагал вернуться 27 августа, а прибыл 2 сентября 1887 г.<sup>13</sup>

«Корректуры я получил,— писал Каутский Энгельсу,— большое спасибо за столь быстрое исполнение. Надеюсь, чтение не отняло у тебя слишком много времени и не слишком сильно нагоняло на тебя скуку. Твоего суждения жду уже с великим нетерпением. Это мой первый опыт более крупной самостоятельной исторической работы. Думаю, что при этом у меня было два преимущества: во-первых, как марксист я всюду искал прежде всего экономические основания; во-вторых, как бывший католик я проявил большие понимания католичества, чем, с одной стороны, протестанты и, с другой,— «либеральные» католики, которые видят в папстве единственного врага.

Сколько полезны были мне некоторые твои советы, ты, вероятно, заметил. Введение, по моему первоначальному плану, должно было состоять только из одной главы. Но тема вынуждала меня постоянно расширять исследования и рассуждения. Я также передвинул вперед многое из 2-го и 3-го разделов, что позже слишком бы задержало дальнейший ход изыскания.

Диц в ужасе. Книга будет объемом в 25 листов. От нашего первоначального плана дать просто выдержки из основных произведений социалистов с кратким биографическим очерком по 50 пфенигов за томик я, разумеется, отошел довольно далеко»<sup>14</sup>.

Нелегко себе представить, чтобы Энгельс, выразивший готовность читать в корректуре труд на интересующую его тему, вернул ее автору, не сопроводив запиской в несколько строчек, вроде той, к примеру, почтовой открытки, которой чуть позже он уведомил Каутского о приезде (ее-то Каутский включил в свою публикацию!)<sup>15</sup>. Еще труднее представить, что Энгельс, коль скоро ему понравилось прочтенное, хотя бы в двух словах не поздравил автора с успехом, тем более человека, к которому был расположен. И уже совсем невероятно, чтобы Каутский, если бы получил такую записку, не только не опубликовал ее, но даже и не упомянул.

Не будем подозревать Каутского в том, что он предпочел не опубликовать записку из-за ее содержания. Ограничимся более

<sup>13</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 583, 586, 701.

<sup>14</sup> Briefwechsel. S. 209—210.

<sup>15</sup> Briefwechsel. S. 211; см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 586.

осторожным выводом: познакомившись с работой Каутского о Томасе Море, Энгельс вернул автору корректуру без письменного одобрения или согласия. Поздравлений тоже послано не было.

Здесь нам остается только пожалеть, что Энгельс так быстро возвратился из Истборна в Лондон. Останься он за его пределами на более длительный срок или окажись Каутский где-то в другом городе, мы, возможно, и располагали бы свидетельством того, как Энгельс воспринял «Томаса Мора». Но оба они были теперь в Лондоне, часто встречались, Энгельс, конечно же, высказал Каутскому свое мнение о его работе. Этого автор ждал с нетерпением. Однако никаких современных свидетельств о содержании подобного разговора у нас нет. Лишь по косвенным данным можно судить о том, что Энгельс считал достоинством работы Каутского и чего не принял.

Сделаем, однако, еще одно уточнение: в первом издании «Aus der Frühzeit des Marxismus» письмо Энгельса от 17 августа 1887 г., где он высказал готовность читать «Мора» в «чистых листах», К. Каутский не снабдил никаким примечанием<sup>16</sup>. Во втором издании, опубликовав письмо Каутского к Энгельсу, в котором тот благодарит за согласие читать корректуру, Бенедикт Каутский пояснил, что речь идет о корректурах книги «Томас Мор и его утопия»<sup>17</sup>. Но мы сделаем ложный вывод, если сочтем, что в 20-х числах августа 1887 г. Энгельс получил и, соответственно, прочел всю эту книгу. Вернемся к письму Каутского: книга издавалась, оказывается, отдельными выпусками. Это существенно меняет картину. В августе у Энгельса была корректура, скорее всего, первого выпуска, а не всей книги целиком. Косвенно это подтверждает и содержание письма. Каутский как бы оправдывается за непомерно разросшуюся вступительную часть. Книга выйдет в несколько раз большей, чем предполагалось. Если она была уже у Энгельса в руках, то с какой стати Каутский писал бы ему о том, каков *будет* ее объем?

Коль скоро Энгельс прочел еще только первый выпуск, неосмотрительно делать далеко идущие выводы из того, что корректура, возможно, была возвращена без всякого отзыва.

Но нельзя ли, хотя бы в общих чертах, восстановить историю создания и публикации этой книги Каутского?

И. Г. В. Диц издавал серию «Интернациональная библиотека». Книги выходили отдельными выпусками — по 50 пфенигов за каждый. Каутский обязался написать «Начала социализма»

<sup>16</sup> Aus der Frühzeit des Marxismus. S. 218—219.

<sup>17</sup> Briefwechsel. S. 209.

и хотел соединить в одном томике Мора и Мюнцера, однако так увлекся автором «Утопии», что посвятил ему всю книгу<sup>18</sup>.

О том, как она издавалась, мы можем судить на основании надежных материалов. Дает их нам ежедневная немецкая социал-демократическая газета «Berliner Volksblatt», регулярно сообщавшая о появлении очередных выпусков «Интернациональной библиотеки». Работа Каутского о Море печаталась в четырех выпусках — с 13 по 16. Впервые о выходе в свет 13-го выпуска было объявлено 1 октября 1887 г., 14—29 октября, 15—30 ноября, 16—20 декабря<sup>19</sup>.

Все это время Каутский жил в Лондоне (в Вену он уехал лишь в июне следующего года<sup>20</sup>). Продолжал ли и здесь Энгельс чтение корректур «Томаса Мора», начатое в Истборне, мы не знаем. Никаких следов этого в переписке Энгельса нет. В августе он прочел, вероятно, корректуру первого выпуска, т. е. четверть книги. Как и когда познакомился он с книгой целиком и, главное, как воспринял основные положения Каутского, остается пока неизвестным.

Всякое упоминание о «Томасе Море» больше чем на три с половиной года исчезает из переписки Энгельса. Однако весной 1891 г. он рекомендует перевести эту работу на французский язык. Казалось бы, какие еще нужны доказательства его отношения к ней? Особенно если вспомнить слова Каутского о его, Энгельса, «полнейшем одобрении». Но не будем торопиться с выводами.

7 апреля 1891 г. Энгельс отправляет открытку Каутскому в Штутгарт и среди прочего пишет: «Некий эльзасец Анри Раве — сейчас он сидит в тюрьме, — который перевел „Женщину“ Бебеля, а теперь переводит под контролем Лауры Лафарг мое „Происхождение“ („Происхождение семьи, частной собственности и государства“.—A. Ш.), хочет знать, стоит ли заняться переводом твоего „Т. Мора“. Я рекомендовал ему твою книгу, но в то же время написал, что попрошу тебя послать ему один экземпляр, чтобы он мог убедиться сам. Его адрес: А. Раве, заключенному, Poitiers (Vienne, France)»<sup>21</sup>.

Обратим внимание, что о рекомендации книги Энгельс пишет как о чем-то уже совершенном. Публикация писем Каутского обнаруживает одну интересную подробность: весь текст, рекомендующий переводчику «Т. Мора», целиком начертан рукою Энгельса и на письме Каутского от 5 апреля 1891 г.<sup>22</sup>, которое

<sup>18</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 3.

<sup>19</sup> См.: Berliner Volksblatt, 1887, номера за соответствующие числа.

<sup>20</sup> Briefwechsel. S. 212.

<sup>21</sup> Briefwechsel. S. 292—293; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 38. С. 61.

<sup>22</sup> Briefwechsel. S. 292.

лежало перед Энгельсом<sup>23</sup>, когда он сообщал автору, в каких выражениях он отзывался о «Т. Море». Остается предположить, что эту рекомендацию Энгельс составил тоже 7 апреля (но перед открыткой Каутскому). Она была частью не дошедшего до нас полностью письма к Раве: опубликованный черновой набросок, где говорится о работе над переводом книги Энгельса<sup>24</sup>, также, на наш взгляд, его часть.

Отрывок, посвященный «Т. Мору», Энгельс переписал, дабы послать Каутскому, на свободное место только что полученного от него письма. Послал же он его лишь в конце месяца.

«Мою открытку относительно Раве,— писал Энгельс Каутскому 30 апреля 1891 г.,— ты, вероятно, получил. Лаура Лафарг прочитает и исправит его перевод „Происхождения“, иначе я вряд ли доверил бы ему это дело. За твоего „Мора“, которого он хочет перевести, он возьмется, видимо, еще не скоро; он упомянул о „более выгодных, соответственно лучше оплачиваемых“ работах, которые он должен сделать...

Раве я написал о твоем „Море“ следующее:

„Т. Мор“ Каутского дает в общем правильный и во многих отношениях оригинальный очерк периода Возрождения в протестантских странах, в особенности в Англии. На фоне этого общего очерка исторических условий того времени выступает личность Т. Мора как сына своей эпохи. Итальянское и французское Возрождение, таким образом, стоят в книге лишь на заднем плане. На днях напишу Каутскому и попрошу его прислать Вам свою книгу. Я думаю, что Вы найдете ее заслуживающей перевода»<sup>25</sup>.

Раве как переводчиком Энгельс был не очень доволен. Сообщая Каутскому, что французский перевод «Происхождения семьи, частной собственности и государства» в основном уже готов, Энгельс 13 июня писал: «Между прочим, Раве, хотя он и из Страсбурга, недостаточно знает немецкий язык; он допустил такие грубые ошибки, что Лауре Лафарг пришлось проделать колossalную работу. Удивляюсь, как она вообще взялась за нее»<sup>26</sup>.

Посыпать Раве свою книжку Каутский не торопился, затерял адрес и попросил Энгельса повторно ему его сообщить<sup>27</sup>.

«Томас Мор» переводчика не вдохновил. Через два с половиной года Раве поставил Энгельса в известность, что переводить книгу Каутского не будет — ему не нравились ни стиль, ни содер-

<sup>23</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 38. С. 68.

<sup>24</sup> См.: Там же. С. 62.

<sup>25</sup> Там же. С. 69.

<sup>26</sup> Там же. С. 95.

<sup>27</sup> Briefwechsel. S. 304; см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 107.

жание,— и просил какой-нибудь другой работы. Раве, как видно, спрашивал, доволен ли Энгельс его переводом<sup>28</sup>.

«Перевод моей книги,— деликатно отвечал Энгельс,— в настоящем его виде кажется мне вполне удовлетворительным, к тому же я несу за него свою долю ответственности, поскольку правил его в корректуре.

Стиль „Томаса Мора“ действительно покажется французской публике довольно тяжеловесным. Но в книге есть удачные вещи и отдельные исторические наброски, ценность которых не так уж недолговечна.

В настоящее время я не могу предложить Вам никакой книги для перевода, если найду что-нибудь, то сообщу Вам об этом»<sup>29</sup>.

Щадя авторское самолюбие Каутского, Энгельс не стал вдаваться в подробности, когда извещал его о письме Раве. Похвалив искусность Лауры Лафарг («Её перевод сделан добросовестно и легко читается»), он как бы вскользь заметил: «Раве, который меньше заслуживает подобной оценки, снова написал мне. Он попробовал свои силы на своем „Томасе Море“. Но как это неудобоваримо! Дело в том, что он, оказывается, не вполне владеет немецким языком, хотя родом эльзасец и настоящая его фамилия, вероятно, Раве»<sup>30</sup>.

Итак, что мы можем извлечь из всей этой истории с рекомендацией «Томаса Мора» переводчику? Начнем с соображений, не имеющих прямого отношения к содержанию книги. Каутский был в ту пору одним из близких Энгельсу людей, жил на достаточно скромное жалованье, которое получал от Дица как редактор «Neue Zeit»<sup>31</sup>, и на гонорары от публицистических статей. Излишне говорить, что Энгельс всегда щедро делился своими средствами со многими единомышленниками. Он заботился и о защите их интересов перед издателями<sup>32</sup>.

Когда он отдал свою книгу для перевода именно Раве, уже зная о его скромных способностях как переводчика, это было не только моральной поддержкой заключенного, но и материальной. Раве имел издателя, который выплачивал гонорары<sup>33</sup>.

Уже в силу этого Энгельс должен был проявить известную снисходительность: какие бы возражения ни вызвала у него книга Каутского, ему было бы очень трудно написать, что она не заслуживает перевода. Такой отзыв был бы и по существу

<sup>28</sup> О содержании письма Раве мы судим по ответу Энгельса (см.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 170.*)

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же. С. 168; *Briefwechsel*. S. 399.

<sup>31</sup> См.: *Rieck B. Die Gründung der „Neuen Zeit“ und ihre Entwicklung von 1883 bis 1890: Ein Überblick // Jahrbuch für Geschichte. B., 1974. Bd. 10. S. 271, 278—279.*

<sup>32</sup> См., например: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 126, 131.*

<sup>33</sup> Там же. Т. 38. С. 41, 44, 52, 61, 99; Т. 39. С. 131.

несправедлив, поскольку книга Каутского — лучше других опубликованных до нее работ о Море.

Отметим еще одно обстоятельство, очень, на наш взгляд, существенное. Инициатива исходит не от Энгельса, *не он предлагаает перевести «Томаса Мора» и издать по-французски* — он лишь поддерживает желание переводчика заняться этой книгой<sup>34</sup>. Раве знает о ней понапраслике и, видимо, никогда не читал. Послать ему экземпляр Каутский должен не для работы над переводом, а пока лишь для того, чтобы Раве сам убедился, заслуживает ли она перевода<sup>35</sup>.

Весьма знаменательны и суть рекомендации, и форма, в которую Энгельс ее облекает. Если бы Энгельс, к примеру, писал издателю и предлагал аннотацию для выпускаемого в продажу готового перевода, то можно было бы счесть, что перед нами некая «книготорговая уловка»: попытка предложить публике сочинение по истории социализма под видом книги о Возрождении. Но ведь Энгельс пишет человеку, который не сегодня-завтра эту книгу прочтет и сам будет решать, стоит ли ему заниматься ее переводом. В чем же смысл именно такой, обтекаемо вежливой рекомендации? В том, что она предназначена не одному только Раве, но и Каутскому.

Не случайно, составив рекомендацию, Энгельс тут же переписывает ее на свободное место только что полученного письма от Каутского, чтобы передать ему текст буквально в букву.

Нас озадачивает такая преднамеренная точность. Если, согласно утверждению Каутского, сделанному, правда, десятилетия спустя, Энгельс воспринял то, как написан «Томас Мор», с полнейшим одобрением, для чего передавать рекомендацию дословно? Ведь коль скоро Каутский в «полнейшем одобрении» его уверен, то дело яснее ясного и достаточно краткого сообщения, вроде: «Раве хочет знать, стоит ли переводить твою книгу, я ее рекомендовал, пошли ему экземпляр». То есть сообщения, уже направленного Каутскому 7 апреля.

Необходимость дословного воспроизведения отзыва появляется, на наш взгляд, в том случае, если сам факт рекомендации книги именно этим лицом представляется ее автору неожиданным и вызывает желание узнать, в каких выражениях рекомендация составлена. Применительно к Каутскому это бы означало: он знал о серьезности высказанных ему Энгельсом возражений и должен был поэтому быть осведомлен, как рекомендована его книга. Энгельс не мог, разумеется, назвать достоинством книги то, что считал ее недостатком, а поскольку говорить здесь надо

<sup>34</sup> Там же. Т. 38. С. 61, 69.

<sup>35</sup> Там же. С. 61.

было о достоинствах, то приходилось, не касаясь расхождений, соответственно составить отзыв. Сам факт рекомендации не снимал расхождений, и на этот счет у Каутского не должно было возникнуть никаких сомнений.

Вернемся, однако, к письму. О чём оно говорит? О согласии рекомендующего с основной концепцией автора? Не будем вычитывать из текста того, чего там нет. Каутский «дает в общем правильный и во многих отношениях оригинальный очерк...» Но чего? Начала социализма? Об этом Энгельс не упоминает ни словом. Каутский дает «очерк периода Возрождения в протестантских странах, в особенности в Англии». На фоне этого общего очерка исторических условий того времени выступает личность Мора как сына своей эпохи. Итальянское и французское Возрождение стоят лишь на заднем плане.

Еще однажды коснулся Энгельс «Томаса Мора», когда писал статью «Внешняя политика русского царизма» (декабрь 1889 — февраль 1890 г.)<sup>36</sup>. «В своей работе о Томасе Море Карл Каутский показал, каким образом первая форма буржуазного просвещения, „гуманизм“ XV и XVI веков, в своем дальнейшем развитии превратилась в католический иезуитизм»<sup>37</sup>.

Стоит особо подчеркнуть, что единственный раз, когда, помимо переписки, Энгельс упоминает эту книгу Каутского, он говорит о ней тоже применительно к Возрождению, но не применительно к социализму.

Из слов самого Энгельса вовсе не вытекает, что к тому, как Каутский трактовал роль Мора в истории социализма, Энгельс относился с полнейшим одобрением. Вспомним, как реагировал Энгельс на отказ Раве переводить книгу Каутского. Речь ведь шла не только о его тяжеловесном стиле. Выражения Раве, как видно, достаточно резкие, вынудили Энгельса вступиться за Каутского: «...в книге есть удачные вещи и отдельные исторические наброски, ценность которых не так уж недолговечна»<sup>38</sup> (курсив наш.—А. Ш.). Значение этих «защитительных слов» станет еще более скромным, если учесть, что высказывает их именно тот, кто прежде рекомендовал книгу переводчику<sup>39</sup>. Ясно, сколь далека такая оценка, высказанная Энгельсом, от провозглашенного Каутским позже «полнейшего одобрения».

Но существуют ли твердые основы, которые позволили бы избежать субъективизма при толковании косвенных данных?

<sup>36</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 11, 576—578.

<sup>37</sup> Там же. С. 21.

<sup>38</sup> Там же. Т. 39. С. 170.

<sup>39</sup> Обратим внимание на дипломатичность формулировки: «Я думаю, что Вы найдете ее заслуживающей перевода» (курсив наш.—А. Ш.) (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 69).

Есть ли надежные, документально зафиксированные свидетельства, коими можно было бы руководствоваться? На наш взгляд, такие основы существуют, они — в книгах Энгельса и Каутского, где речь идет об одних и тех же исторических явлениях.

К сожалению, сохранившиеся косвенные свидетельства не дают возможности с уверенностью судить, что именно в книге Каутского Энгельсу нравилось, а что — нет. В изданных письмах Энгельса к Каутскому прямого ответа мы не нашли. Конечно, оценивая «Томаса Мора», Энгельс имел в виду и то, что обычно писали о Море буржуазные историки, а на этом фоне книга Каутского обрела явные достоинства. При тогдашнем, еще очень небольшом, количестве исторических работ, написанных с позиций материалистического понимания истории, всякую честную попытку следовало поддержать, даже если она грешила определенными недостатками.

В задачи настоящей главы не входит подробный анализ «Томаса Мора» в историографическом плане. Поэтому сам почерк Каутского-историка, его метод интерпретировать источники мы не будем разбирать в деталях, а ограничимся лишь несколькими примерами. Посмотрим, как доказывал Каутский свой тезис о том, что Мор — основатель утопического социализма и даже может быть причислен к новейшим социалистам.

«Ни один сколько-нибудь сведущий человек,— делает оговорку Каутский,— не станет утверждать, что цель, преследуемая Мором, была вполне тождественна тенденциям современного научного социализма... Ясно, что Мору во многих пунктах пришлось отступить от современного социализма. Подобно тому как он в политическом отношении, в некотором смысле, мог бы показаться реакционером (если быть настолько безрассудным, чтобы прикладывать к человеку XVI в. мерку XX столетия), противником всякого народного движения и поборником конституционной монархии, так и социализм Мора в экономическом отношении приходится во многих пунктах считать отсталым. Не этому приходится удивляться, а тому, что, несмотря на все неблагоприятные условия, моровский социализм, наряду с отсталыми чертами, тем не менее обнаруживает существенные признаки современного социализма. Поэтому Мора с полным правом можно причислить к новейшим социалистам»<sup>40</sup>.

Отметив «несовременные стороны его идеала» (прикрепление человека к определенному ремеслу, наличие рабов, класса, трудящегося на других, ограничение потребностей), Каутский принял-

<sup>40</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 238, 240—241.

ся исследовать «те признаки моровского социализма, которые у него общи с современным»<sup>41</sup>.

Мировая торговля преодолела ограниченность общины. «Раз капитализму удалось сплотить маленькие общины в нацию, то стремления его пошли и дальше — он должен был растворить в нации все сословия. Этим тенденциям капитализма вполне соответствует моровский коммунизм»<sup>42</sup>. Если в прежние времена он мыслился в пределах отдельной общины или сословия, то теперь распространялся на целый народ.

Итак, по Каутскому, первойшей чертой моровского социализма, общей с социализмом конца XIX в., является масштабность идеала — изображается не маленькая, замкнутая община, а большое государство. Тезис Каутского о том, будто Мор не только обязал всю нацию держаться одного и того же строя, но и проводил идею экономической централизации, оказал известное влияние на работы различных авторов и нуждается в специальному рассмотрении.

«Утопический сенат,— писал Каутский,— состоит из представителей различных общин; эти депутаты нации организуют производство, устанавливают количество необходимых товаров и изыскивают средства к их изготовлению; на основании этой статистики и распределяется между общинами работа»<sup>43</sup>.

Однако этот столь важный тезис Каутского не находит никакого подтверждения в текстах «Утопии». На самом деле роль «депутатов нации» в хозяйственной жизни была куда скромнее. Они вовсе не выступали организаторами производства в масштабе всей страны, не устанавливали количества необходимых товаров и не распределяли работы по их изготовлению между общинами. Все это было внутренним делом каждого из 54 городов-государств. О каком-либо планировании производства в масштабе всей страны и соответствующем распределении заданий между отдельными городами в «Утопии» нет ни слова. Речь в «Утопии» не идет о планировании как неких мерах или наметках, предшествующих самому производству. Напротив, говорится о другом: не о планировании производства, а о перераспределении уже произведенного, перераспределении, вызванном чрезвычайными обстоятельствами. Надо особенно подчеркнуть, что имеется в виду перераспределение сельскохозяйственных продуктов как мера, продиктованная недородом или неурожаем в отдельных областях. Естественно, что происходит это, когда полевые работы закончены, и видно, насколько полны закрома.

<sup>41</sup> Там же. С. 241, 243—244, 245—246.

<sup>42</sup> Там же. С. 246.

<sup>43</sup> Там же.

«Как только в амауротском сенате, который, как я сказал,— писал Мор,— ежегодно составляется из трех лиц от каждого города, станет известным, где и каких продуктов особенно много и, наоборот, что и где уродилось особенно скучно, то недостаток в одном месте немедленно восполняют обилием в другом»<sup>44</sup>.

В тексте, как видим, нет ни планирования производства, ни распределения работы «на основании статистики». Регламентация, столь характерная для средневекового города, во времена Мора еще очень и очень давала себя чувствовать. А ведь она тоже была своеобразной формой планирования. Кстати, для утопийцев, как и для всех современников Мора, предсказывать на год вперед, сколько родит земля,— дело совершенно безнадежное. Поэтому утопийцы осенью и откладывают двухгодичный запас— «ввиду неизвестности урожая следующего года»<sup>45</sup>.

Даже когда Мор представляет себе весь остров единым целым, он не думает о нем как четко отлаженном хозяйственном организме, управляемом из центра,— он думает о нем как об одном семействе, все члены которого охотно спешат друг другу на выручку. Когда одна община отдает часть своего урожая другой, пострадавшей от недорода, Мор видит в этом не просто рациональную экономическую меру, итог продуманного «планирования», а прежде всего акт естественного человеколюбия и подлинной гражданственности: «И утопийцы устраивают это бесплатно, не получая в свою очередь ничего от тех, кому дарят. Но то, что они дают из своих достатков какому-либо городу, не требуя от него ничего обратно, они получают в случае нужды от другого города без всякого награждения. Таким образом весь остров составляет как бы одно семейство»<sup>46</sup>.

Непредубежденный анализ отрывка «Утопии», говорящего о хозяйственных функциях амауротского сената, показывает, что не только учение о государственном планировании экономики, разработанное социализмом второй половины XIX в., но и достаточно еще примитивные «планирующие начала» Сен-Симона имеют мало общего с простым проявлением дружеской взаимовыручки утопийцев в случае неурожая.

Дабы не исказить исторической перспективы и действительно понять всю самобытность Мора, эти его мысли надо сопоставлять не с социалистическими теориями конца XIX в., а с сочинениями гуманистов<sup>47</sup>, в которых те наставляли князей, как им

<sup>44</sup> Утопия. С. 130; Utopia. P. 148.

<sup>45</sup> Там же. С. 131; Ibid.

<sup>46</sup> Там же. С. 130; Ibid.

<sup>47</sup> Важные сопоставления с ними, как и с их предшественниками, читатель найдет в обстоятельной работе О. Ф. Кудрявцева «Ренессансный гуманизм и „Утопия“».

следует печься о народе, когда в одном конце государства ломятся закрома, а в другом — голод.

Желая как можно больше сблизить воззрения Мора с «новейшим социализмом», Каутский произвольно приписывал утопийцам то, чего они и не знали. «Отдельные общины,— продолжал Каутский,— не выменивают своих изделий на изделия, изготовленные другой общиной. Каждая работает для всей нации. Поэтому-то только последняя, а не отдельная община является *собственницей средств производства, а также всей земли*»<sup>48</sup>.

Это утверждение противоречит тексту. По мысли Мора, каждая из 54 общин (городов-государств, полисов) Утопии — в хозяйственном отношении самодовлеющее целое, в нормальных условиях не зависимое от остальных. Гражданам одного города-государства даже не дозволяется без разрешения правителя отправляться на территорию другого. Границы между ними блокируются. Община стоит на принципе автаркии. Основа всей хозяйственной жизни Утопии — это именно отдельный город с окружающими его угодьями. Как бы этого не хотелось Каутскому, развитие мировой торговли непосредственного влияния на идеальную общину Мора не оказало. До представления о плановой социалистической экономике в масштабе всей нации было еще очень и очень далеко.

Уверяя, что только нация является собственницей средств производства и всей земли, Каутский опять «подтягивает» утопийские порядки до принципов современного ему учения о социализме. В каждом городе-государстве, как видно из текста, земля принадлежала общине, т. е. именно этому городу-государству, а не всей нации<sup>49</sup>. То же самое следует сказать и о средствах производства, хотя иногда и выдвигают предположение, что орудия труда, например, принадлежали не всей общине, а отдельному «семейству»<sup>50</sup>.

«И не отдельная община,— продолжает Каутский,— но все государство продает излишек продуктов, в виде товаров, за границу. В его пользу поступает, стало быть, и уплата. Золото и серебро образуют национальный военный фонд»<sup>51</sup>. Конечно, Каутскому желательнее увидеть в Утопии «общенациональную» монополию внешней торговли, чем считать, что ее ведут отдельные города-государства. Тексты не позволяют решить нам этот вопрос. Не позволяют они и судить с уверенностью о «национальном военном фонде». Не исключено, что золото и серебро

<sup>48</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 246—247.

<sup>49</sup> Утопия. С. 103; Utopia. Р. 114.

<sup>50</sup> Ср.: Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 140.

<sup>51</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 147.

были достоянием каждой общины, а не только «национального фонда». Каждый город, видно, заковывал собственных рабов в золотые кандалы и изготавлялочные горшки из золота для собственных граждан. Рассказывая о золоте и серебре, Мор заметил, что «утопийцы имеют *повсюду* эти драгоценности в превышающем вероятие количестве» (курсив наш.—*A. III.*)<sup>52</sup>.

Короче говоря, как бы мы ни подходили к текстам, допускающим различное толкование,—и с позиций общенациональной экономики, и с позиций хозяйства самодовлеющей общины,—мы не можем обойти того факта, что Мор до обидного скрупулезно выскаживается обо всем, касающемся экономических проблем страны в целом, но подробно повествует о хозяйственной жизни города и его округи. Мор живет в эпоху складывающихся больших национальных государств, но в своем стремлении не отстать от века он и собственное образцовое большое государство мыслит как федерацию многократно повторенных идеальных полисов.

Каутский находит, что особенно сближает коммунизм Мора с социализмом конца XIX в. отношение к труду. Равенство «всех членов нации, которое при капиталистическом строе сводится только к равенству всех условий конкуренции, должно было повести у Мора, в его коммунизме, к равной для всех обязанности работать. Этот великий принцип теснейшим образом связывает Мора с новейшим социализмом и вместе с тем резко отличает его от платоновского, являющегося коммунизмом лентяев и эксплуататоров»<sup>53</sup>.

Естественно, что Мор по сравнению с Платоном сделал тут огромный шаг вперед. Его заслуги очевидны, но тем не менее он еще во власти многих предубеждений своего времени. Каутский идеализирует отношение Мора к труду. Физический труд был для утопийцев, как мы уже знаем, «телесным рабством»<sup>54</sup>. Желая как можно теснее связать Мора с «новейшим социализмом», Каутский не находит здесь нужным об этом упомянуть. Да и число людей, которым в Утопии даровалась привилегия не работать физически, Каутский преуменьшает: «От общего для всех обязательного труда только в редких, исключительных случаях можно быть уволенным: изо всех людей, способных к работе, от него освобождено всего несколько ученых»<sup>55</sup>. Мор, правда, иного мнения: в каждом городе и округе освобождены от работы не более пятисот человек<sup>56</sup>. Поскольку в Утопии 54 города, то

<sup>52</sup> Утопия. С. 131; Utopia. P. 148.

<sup>53</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 247.

<sup>54</sup> Утопия. С. 120; Utopia. P. 134.

<sup>55</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 247.

<sup>56</sup> Утопия. С. 117; Utopia. P. 132.

и «освобожденных от труда» не «всего несколько ученых», как уверял Каутский, а куда боле!

Ограничимся этими примерами. Они достаточно ясно показывают, как Каутский осовременил «Утопию», дабы искусственно «приблизить» утопийские порядки к принципам «новейшего социализма».

Примеры эти мы привели не для того, чтобы утверждать, будто именно в них Энгельс видел слабость выдвинутой Каутским точки зрения. Дело было не в частностях, а в расхождении, которое наложило отпечаток на всю книгу. И расхождение это, на наш взгляд, заключалось в разных ответах на вопрос, когда появился пролетариат. Как и Энгельс, Каутский признавал, что социализм зарождается лишь с формированием пролетариата. Но если Энгельс считал, что пролетариат возник только в ходе промышленного переворота, то Каутский был уверен в ином (хотя, случалось, и не хотел признавать этого прямо, по крайней мере перед Энгельсом<sup>57</sup>): новый, отличающийся от античного, пролетариат, по его мнению, образовался при разложении эксплуатируемых классов, уже в XV столетии существовал класс свободных пролетариев<sup>58</sup>. От этого в известной степени зависел и ответ на вопрос, в какую эпоху возник социализм и кто был его основателем.

Констатировать расхождение между важной посылкой книги Каутского и теорией, ранее изложенной в «Анти-Дюринге», — еще не значит показать, что мнение, выдвиннутое Каутским, воспринималось Энгельсом как нечто недопустимое. Известно, что Энгельс всю жизнь проявлял самый живой интерес к новейшим достижениям науки, новым публикациям и новым идеям. Он никогда не становился по отношению к своим молодым сотрудникам в позу ментора. Он внимательно изучал материалы, видя в этом возможность углубить собственные исследования, дополнить их и, если нужно, что-то исправить. Вспомним, как интересовался он занятиями Каутского историей революционных анабаптистов<sup>59</sup> и как радовался его успеху, говоря, что использует его материалы при переработке «Крестьянской войны в Германии»<sup>60</sup>. Энгельс всегда с призательностью принимал указания на малейшую неточность, вплоть до незамеченной опечатки<sup>61</sup>.

Если бы Каутский в общем правильно оценил значение «моровского социализма», то Энгельс, надо думать, воспользовался бы его книгой, — так же, как он позже хотел сделать

<sup>57</sup> Briefwechsel. S. 442.

<sup>58</sup> Каутский К. Указ. соч. С. 33.

<sup>59</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 368.

<sup>60</sup> Там же. С. 399.

<sup>61</sup> См., например: Там же. С. 224—225; Briefwechsel. S. 404—405.

с материалами, касающимися анабаптистов,— чтобы расширить характеристику созданных в XVI—XVII вв. утопических изображений идеального общественного строя.

Мы уже говорили о различии во взглядах Энгельса и Каутского на начало социализма. Если хоть в чем-то Энгельс увидел бы здесь правоту Каутского, то он не замедлил бы восстановить упущенное.

Сопоставим некоторые факты. Последний, четвертый выпуск «Томаса Мора» вышел из печати в канун 1888 г. Три года спустя на запрос Раве о книге Каутского Энгельс дипломатично ответил: «Я думаю, что Вы найдете ее заслуживающей перевода». В ту пору готовилось новое издание «Развитие социализма от утопии к науке»<sup>62</sup>. Зимой и весной Энгельс неоднократно упоминал об этом в письмах: «Развитие социализма» «...я лишь сделаю, по возможности, более популярным»<sup>63</sup>. Он хотел просмотреть текст, дополнить его и снабдить новым введением<sup>64</sup>. Это «Предисловие» к четвертому немецкому изданию «Развития социализма от утопии к науке» было написано 12 мая 1891 г., т. е. без малого две недели спустя после письма к Каутскому, где речь шла о его «Море».

«Настоящее издание,— отмечал в „Предисловии“ Энгельс,— подверглось некоторым незначительным изменениям; более важные дополнения сделаны только в двух местах: в первой главе о Сен-Симоне, которому ранее было отведено слишком мало места по сравнению с Фурье и Оуэном, и в конце третьей главы, о „трестах“, новой форме производства, которая тем временем приобрела важное значение»<sup>65</sup>.

Никаких изменений, касающихся начала социализма, которые можно было бы приписать знакомству с «Мором» Каутского, Энгельс не сделал. Напомним, что Маркс придавал большое значение этой работе Энгельса. Он называл ее «введением в научный социализм»<sup>66</sup>. Естественно, что и общая концепция развития социализма, и, в частности, вопрос о том, на какой стадии капиталистического производства осознанная противоположность между рабочими и капиталистами, борьба пролетариата против господства буржуазии порождают социалистические идеи, остались у Энгельса неизменными.

Все сведения, которыми мы располагаем относительно поправок, дополнений, работы над предисловиями к переизданиям «Развития социализма от утопии к науке» и ее новым переводам,

<sup>62</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 38. С. 22, 44, 503.

<sup>63</sup> Там же. С. 37.

<sup>64</sup> Там же. С. 42, 44, 47.

<sup>65</sup> Там же. Т. 22. С. 213; см. также. Т. 22. С. 618; Т. 20. С. 669—670, 672—673.

<sup>66</sup> Там же. Т. 19. С. 345.

проходившей с момента появления книги Каутского вплоть до смерти Энгельса<sup>67</sup>, как и высказывания на эту тему, убедительно свидетельствуют, что Энгельс ни на йоту не отступил от своего представления о возникновении и развитии социализма.

Отношение Энгельса к «Томасу Мору» еще раз свидетельствует об его умении щадить авторское самолюбие близких ему людей, не подавлять их самостоятельности — более молодых и менее опытных — собственным авторитетом и терпимо воспринимать их «новации», даже если они шли вразрез с его взглядами, коль скоро они не причиняли вреда насущным задачам пролетарского движения<sup>68</sup> и содействовали политическому и культурному просвещению масс.

Однако Каутский не сумел понять ни деликатности Энгельса, ни глубины его представлений о возникновении и развитии социалистической мысли. Это ясно проявилось несколько лет спустя, когда Каутский вместе с другими авторами задумал, не прибегая к советам Энгельса, писать подробную историю социализма.

В самом начале 1894 г. Энгельсу через третьих лиц стало известно, что достаточно близкие к нему люди, Каутский и Бернштейн, совершили трудно объяснимый поступок: они решили создать многотомную общую «Историю социализма и рабочего движения» без его участия<sup>69</sup>.

Но здесь пока мы ограничимся одним: столь распространенный в советской литературе тезис о Томасе Море как родоначальнике утопического социализма восходит не к Энгельсу, а к Каутскому, его более чем спорной интерпретации «Утопии».

<sup>67</sup> Перечень изданий см.: Прижизненные публикации и издания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

<sup>68</sup> Можно согласиться с Каутским, когда он говорил: «Современное социалистическое движение так же мало выигрывает от благоприятного суждения о Море, как мало оно потеряло бы от того, если бы отнеслись к Мору отрицательно» (*Каутский К. Указ. соч. С. 3*). Однако от того, добавим, насколько объективно исследуется подлинное значение «Утопии», в выигрыше или проигрыше оказываются марксистская историография и сама концепция становления социализма.

<sup>69</sup> См. ниже главу «Непонятая предыстория».

# «ЕВДЕМОН» КАСПАРА ШТЮБЛИНА (1555)

\*

В Индийском океане, поблизости от Тапробаны, в излюбленном краю утопистов, где, еще по свидетельству Плиния Старшего<sup>1</sup>, жили совершенные люди, лежал остров Макария с его прекрасной столицей — градом Евдемоном. Об этом нам поведал Каспар Штюблин — немецкий гуманист, уроженец Амтцелля, выходец из бедной семьи. Он окончил Фрайбургский университет и всю жизнь преподавал древнюю словесность<sup>2</sup>. В 1553 г. Штюблин написал свою утопию «О государстве евдемонцев», два года спустя она была издана в Базеле<sup>3</sup>.

Размеры главы не позволяют нам совершить пространное путешествие по Евдемону. Но даже если бы мы, как нынешние туристы, бегом пробежались по идеальному городу, лишь немногого замедляя шаг перед его достопримечательностями, мы рисковали бы за малосущественными подробностями не увидеть главного. Поэтому взглянем на утопию Штюблина с совершенно определенной точки зрения: от «Утопии» Томаса Мора ее отделяло без малого сорок лет — бурные годы Реформации, Крестьянской войны, движения анабаптистов. Каспар Штюблин не принадлежал к числу выдающихся гуманистов, но его заурядность делает еще более любопытной попытку посмотреть, как штормы Реформации отразились на том преломлении действительности, которое зовется утопией.

Обострение сословных противоречий, вылившееся в грозные столкновения, накаляло страсти, вело к размежеванию, требовало четкого определения позиций. Нетерпимость становилась одним из знамений времени. Религиозная позиция должна была быть выявлена в первую очередь.

<sup>1</sup> *Plinius Secundus C. Historiae mundi libri XXXVII.* Basel, 1604. P. 89—90.

<sup>2</sup> *Firpo L. Kaspar Stüblin utopista // Omaggio a Nenni.* Roma, 1973. P. 61—112. Отдельный оттиск. Здесь же (P. 82—112) опубликован итальянский перевод утопии Штюблина.

<sup>3</sup> *Stiblinus G. De Eudaemonensium republica // Stiblinus G. Coropaedia, sive de moribus et vita virginum sacrarum.* Basel, 1555. P. 71—122 (далее ссылки на страницы даются в тексте). Экземпляр этого редкого издания есть в Музее книги Российской государственной библиотеки.

Идеальное государство Томаса Мора не было христианским и отличалось широкой веротерпимостью<sup>4</sup>. От многих положений Мора веяло духом вольномыслия. Утопийцы полагали, что неисповедимой воле божества, возможно, угодно разнообразие религий<sup>5</sup>. У Штюблина все иначе: идеальное государство, даже затерянное в Индийском океане, поскольку оно идеальное, должно быть христианским (р. 111—113). Относительно церковных установлений и божественного культа среди евдемонцев царит полное согласие. Свою чистую веру они «черпают из светлейшего источника Евангелия и ни в чем не отклоняются от католической доктрины» (р. 111).

В идеальном государстве, по Штюблину, нравственность неотделима от религии. Но, с другой стороны, и христианская церковь проявляет себя во всем блеске лишь там, где прочны моральные устои. Евдемонцы «верят, что полный расцвет религии и вящая слава церкви наступают тогда, когда в народе множится набожность, когда умаляются пороки, процветают добрые нравы, когда в полной силе пребывает святое учение Евангелия. Служители церкви, которые зовутся, как и у нас, священниками, в образе жизни и нравах вдохновляются самим Христом, считая себя продолжателями его дела, и собственным примером направляют народ к обязанностям благочестия и к преуспению христианской жизни. Они усердно наставляют народ, свершают торжественные богослужения, возносят молитвы господу, вследствие чего они пользуются высшим почетом, а их авторитет и репутация столь велики, что сказанное ими воспринимается как речения оракулов, жизнь их считается примером добродетели и праведности, а должность и сан становятся превыше всех прочих; они совершенно чужды алчности, жажды наслаждений, пышности жизни и не подвержены другим порокам» (р. 112).

Прочность государства в огромной степени зависит от религиозности граждан, полагают евдемонцы. Среди них, пишет Штюблин, «воистину набожность столь велика, столь пылко рвение, столь высок престиж религии, что если бы они увидели, что она стала неустойчива, а культ всего относящегося к Богу слабеет и охладевает, то они бы затрепетали от страха из опасения за само существование государства в целом и всех его граждан. Посему они являются ярыми поборниками благочестия и божественного культа» (р. 112).

Для Штюблина и его времени весьма характерно обосновывать необходимость религии ссылками на «государственные

<sup>4</sup> Утопия. С. 191—194, 201; Utopia. P. 216, 218, 226.

<sup>5</sup> Там же. С. 195; Ibid. P. 220.

интересы». Подобные соображения лежат в основе его неприязни к религиозному разномыслию. В приобщении мирян к толкованию Евангелия, защищаемому многими протестантами, Штюблин видит угрозу государству. Евдемонцы никому не дозволяют высказывать суждения по религиозным вопросам, кроме тех, кому надлежит трактовать об этом *ex professo*. Если кто-либо болтает, что ему заблагорассудится, относительно религии или церковных установлений, то они тут же изгоняют смутьяна (р. 112—113).

Высокообразованный гуманист, Штюблин не скрывает своей враждебности к такому положению вещей, когда каждому праздному плебею предоставлена свобода по собственному разумению что угодно измышлять или рушить в религиозных вопросах (р. 113).

Реформация привела в движение массы. Вопрос об их роли в управлении страной решался подчас на полях сражений. Если для автора «Утопии» участие в политической жизни всех полно-правных граждан было важнейшей чертой идеального государства, то для Каспара Штюблина неоспоримо другое: простой народ надо держать подальше от кормила власти. Мысль о социальной самодеятельности масс вызывает у него страх и самые неприятные ассоциации.

О «толпе» и «плебсе» он упоминает без тени благорасположения. В чем-чем, а в демократических симпатиях Штюблина не заподозришь! Он хвалит евдемонцев за их недоверие к суждениям народа, за то, что они не прислушиваются к голосам несведущего большинства. Плебс, чуждый культуре, движим только материальными интересами. А все остальное, что не дает надежды на поживу, он ни во что не ставит. Поэтому государство, коль скоро оно управляет по усмотрению толпы, легко приходит в упадок.

Влияние Платона на социальные идеи Возрождения — тема достаточно традиционная. Однако многие стороны этого влияния все еще остаются малоизученными, а предлагаемые решения в ряде случаев отличаются однобокостью и неполнотой. Особенно это касается роли Платоновых учений в возникновении утопий XVI — начала XVII столетия, создатели которых рассматривают подчас как «родоначальники утопического социализма нового времени»<sup>6</sup>. Ясно, что при таком подходе «общность имущества» у стражей, занимавшая в представлении Платона о наилучшем государственном устройстве важное, но далеко не главное место, начинает утрачивать свои конкретно-исторические черты. Вольно или невольно соответствующим страницам Платонова «Государства» придается совершенно не свойственное им

<sup>6</sup> Белов П. Т. Указ. соч. С. 95—96.

звукание. Иногда это делается из верности принятой концепции<sup>7</sup>, иногда проистекает из явной политической тенденциозности<sup>8</sup>. Но и в том, и в другом случае страдает как целостное восприятие Платона, так и понимание его действительной роли в общественной мысли Возрождения.

Не будем развивать тривиальный тезис о том, что мыслители, выражавшие разные сословные интересы, искали у Платона вещи весьма различные. У историка нет таких измерительных приборов, которые позволили бы выяснить, что из выдвинутых Платоном социальных идей в глазах писателей позднего Возрождения было наиболее весомым — «общность имущества» или представление о государстве со строгим сословным разделением, где каждому уготовлено дело с учетом его природной расположенностии и нравственных достоинств. Излишне говорить, что последнее пришло по вкусу многим гуманистам<sup>9</sup>.

Каспар Штюблин был страстным поклонником Платона. Его рассказ о вымышленном государстве, которое автор будто бы посетил во время путешествия, — это типично гуманистическое произведение, по форме напоминает «Утопию», но как далек от нее «Евдемон» по своим идеяным установкам!

Томас Мор, как, вероятно, и некоторые его друзья, видел в уничтожении частной собственности залог осуществления гуманистических идеалов. Но нагрянувшая Реформация нанесла тяжелый удар его мечте: требование «общности всего» перестало быть идеей, вынашиваемой в тиши кабинета. С кличем «Все должно быть общим!» поднимались на борьбу обездоленные.

Теоретические рассуждения, выросшие из знакомства с античной философией, оказались созвучными требованиям бунтарей. Такой поворот событий отпугнул и устрашил многих гуманистов. Отмена частной собственности — фундамент суждений Мора о наилучшем государственном устройстве — стала для них идеей слишком злободневной, радикальной, преисполненной бунтарским духом.

Евдемонцы не в пример утопийцам от частной собственности отказываться и не думали. Они лишь ввели ее в умеренное русло (р. 102), стремясь не ликвидировать социальные различия, а сгладить их остроту. Этой цели служат воспитание и, прежде всего, религиозные наставления.

Все в Евдемоне проникнуто, казалось бы, духом гражданственности, граждане солидарны и общественные интересы

<sup>7</sup> В. П. Волгин, например, считал возможным говорить о «системе потребительского коммунизма» у Платона, о «коммунизме класса стражей» (Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 46).

<sup>8</sup> См.: Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. СПб., 1910.

<sup>9</sup> Garin E. Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano. Bari, 1965. P. 46—48, 52—54.

предпочитают личным (р. 80). Однако сплоченность основана не на равенстве, а на совершенно противоположном принципе. Евдемонцы тоже представляют свое общество как построенное сообразно с природой человека. Но если другие утописты взвывали к природе, отстаивая принцип равенства, то Штюблин делает то же самое, чтобы оправдать неравенство (р. 80). В Евдемоне есть патриции и плебеи, богатые и бедные (р. 80—81). В стране царит не просто согласие, а полная гармония. Каждое сословие довольствуется своим положением. Низшие не завидуют высшим, те же не смотрят на них свысока и всячески опекают их и поддерживают (р. 81). Смутьянов же, приверженцев нововведений, отступающих от дедовских установлений, изгоняют (р. 88), а покусившихся на существующий строй карают смертью (р. 100).

Евдемон по сути откровенно олигархическое государство<sup>10</sup>: только оптиматы выбирают сенат, выбирают туда людей строгих и мудрых, коим принадлежит вся полнота власти. Но истинная знатность, вспоминает Штюблин прописные истины гуманистов, не та, которая унаследована от предков, а та, которая достигнута благодаря собственным достойным действиям (р. 82). Даже бедняк, коль скоро он обладает доблестью, может быть назначен магистратом.

Каждый распоряжается своей собственностью. Хотя все граждане владеют «скромным имуществом»<sup>11</sup>, есть среди них и такие, кто может позволить себе жить в праздности. Правда, последнее считается постыдным (р. 103, 107, 114).

Томаса Мора не причислишь к безудержным, как теперь иногда говорят, «антропологическим оптимистам», но он твердо убежден, что если создать справедливое общественное устройство, то у подавляющего большинства людей возобладает доброе начало: оно и обеспечит нерушимость государства. Штюблин смотрит на природу человека достаточно мрачно: зачастую на практике лишь узда и карающая десница гарантируют порядок (р. 108).

Не столько сама регламентация, сколько апофеоз надзора — власть в Макарии символизирует огромное око (р. 84) — и вера

<sup>10</sup> Штюблин вряд ли бы согласился с таким определением. И не только потому, что олигархия предполагает « власть немногих », а сенаторов, правивших в Евдемоне, было, как видно, немало (р. 84). Куда важнее другое: вслед за Платоном Штюблин считал начертанный им самим проект государственного устройства «правлением философов», последнее же Платон противопоставлял не только тимократическому строю, демократии и тирании, но и олигархии (Resp. VIII, 544).

<sup>11</sup> Возможность избавиться от гибельных общественных зол многие мыслители XVI столетия видели в возвращении к идеи «среднего достатка». См.: Чиколини Л. С. Указ. соч. С. 392.

в целительную силу наказаний заставляют подумать о женевских реформаторах.

Если бы мы задались вопросом, что в представлениях о блаженной жизни больше всего отличает евдемонцев от утопийцев, то пришли бы к выводу — отношение к наслаждению. Возрожденческий гимн наслаждению, который звучит на многих страницах «Утопии»<sup>12</sup>, никогда не услышишь в Евдемоне. Штюблине не устает повторять, что от жажды наслаждений проистекает все зло. Препятствовать этому надо соответствующим воспитанием, строжайшей дисциплиной, неусыпным надзором (р. 83—84, 100—102, 106—107).

Как бы отрицательно мы ни восприняли идеи Штюблина, надо воздать ему должное: хотя бы одну из тенденций современной ему действительности он приметил правильно — крен к рефодализации, к феодальной реакции, стремление повернуть историю вспять. И это стремление Штюблин выразил достаточно откровенно.

«Евдемонцы решительно осуждают страсть к новшествам,— пишет он,— и остаются верными дедовским установлениям, так как понимают, что новшества — корень тяжких смут. Доказательство тому они извлекают из анналов, составленных древними, поскольку сия жажда все менять и рушить оказалась гибельна для афинян и римлян, как и для многих других городов-государств и империй, поскольку люди хотели извлечь из новшеств собственную выгоду, а о делах общественных не заботились» (р. 98).

Этот опыт послужил евдемонцам назидательным уроком, и они принимают суровейшие меры против тех, кто пытается упразднить законы или предать забвению обычай, любезные древним. Они опасаются, что новшества ослабят государство, и соглашаются на перемены лишь в том случае, если убеждены в их значительной пользе общему делу (р. 98—99).

«Насколько же евдемонцы,— восклицает Штюблин,— счастливее нас! Нас, которым дозволяется по нашему усмотрению мешать все, что находится между небом и землей. Мы разрушаем старые установления и освящаем новые, затем опять отменяем их и опять вводим. Оттого все у нас то возносится, то низвергается, и ничто не остается длительное время в своем первоначальном состоянии. По этой причине законы теряют присущее им достоинство, падает авторитет властей и именитых граждан, среди плебса распространяется наглость, множатся пороки. Вот что влечет за собой страсть к постоянным переменам!» (р. 99). Штюблин горячо обличает необузданную и безумную дерзость тех,

<sup>12</sup> Утопия. С. 147—157; Utopia. Р. 160—178.

кто стремится по собственной прихоти к нововведениям, касающимся политического устройства и религии. Нет сомнения, что отсюда проистекают в мире столь грозные смуты! (р. 99).

Утопия Штюблина пронизана патетикой охранительности. Пуще огня надо бояться новшеств! Поражаешься тому, как Штюблин, предлагая различные улучшения, держится за старое, давно отжившее. Кажется, будто он больше всего озабочен тем, чтобы, настаивая на известных переменах, не затронуть существующих основ общества.

Он очень скрупульно говорит об экономической жизни своего идеального государства. Чем это объяснить? Тем, что Штюблин страстный любитель древней словесности, мало интересуется прозаическими сторонами бытия? Или тем, что он и здесь подражает милому его сердцу Платону, который не очень-то распространяется в «Государстве» (II, 369 а—372 с) о социальном статусе людей, коим было вменено в обязанность работать в мастерских и на полях, обеспечивая «правителей» и «стражей» всем необходимым?<sup>13</sup> Или же этот «недостаток интереса» объясняется и у Платона, и у Штюблина одним и тем же: существовавшие экономические основы, признававшие естественность эксплуатации, воспринимались как нерушимая реальность и сомнению не подлежали? Думается, что именно здесь кроется отгадка.

Штюблина трудно обвинить в том, что он покушается на имущество толстосумов или хочет лишить магistratov их власти. Да, он предлагает различные улучшения, печется об образованности правителей, о прочности государства. Даже когда он, прямо ссылаясь на Платона, говорит о «правлении философов», это не означает, что он жаждет совершенно отстранить от корпорации власти феодальное дворянство или городской патрициат. Он достаточно осторожен и не ищет обвинений в крамоле.

Но суть не в осторожности. Он действительно не хочет, чтобы обладающие властью сословия были кем-то оттеснены. Тогда в чем же смысл его идеального государства и изложенного у Штюблина варианта «правления философов»? Лишь в том, чтобы несколько окультурить носителей реальной власти! «Евдемон», так сказать, поэтические вариации на темы Эразмова «Наставления христианского государя», вариации, которым придана форма утопии?

Если бы это было так, проект Штюблина утратил бы в наших глазах значительную часть интереса, который он вызывает. Нам уже приходилось писать о том, какие различные оттенки приобретала в эпоху Возрождения мысль Платона о «правлении фило-

<sup>13</sup> См.: Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 599—607; Асмус В. Ф. Вводная статья к «Государству» // Платон. Соч. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 595—598.

софов»<sup>14</sup>. Государство может благоденствовать лишь в том случае, излагал Мор Платонов тезис, если философы будут царями или цари философами<sup>15</sup>. Если и состоялось частичное приобщение правителей к философии, то оно порождало, как правило, чувство горечи<sup>16</sup>. Томас Мор, а вслед за ним и Кампанелла, принялись искать иной выход — упор стали делать на первой части Платоновой формулы: «царствовать должны философы».

Сложный вопрос о том, чьи чаяния выражали «Утопия» и «Город Солнца», вряд ли приблизится к своему разрешению, если мы и впредь, как уже говорилось, будем обходить молчанием тему, непосредственно связанную с этим. Из чьих притязаний на руководство обществом родились «Утопия» и «Город Солнца»? Из притязаний, повторим, гуманистов, «философов».

Однако проекты, предложенные Мором и Кампанеллой, были самыми радикальными. Они знаменовали собой возникновение нового течения в ренессансном гуманизме. Как бы велико ни было их влияние на современников, они все-таки стояли несколько особняком в общем потоке произведений позднего Возрождения именно благодаря своему радикализму, выразившемуся прежде всего в требовании «общности всего» как основы наилучшего государственного устройства. Зная, какую позицию в спорах о «правлении философов» занимали Мор и Кампанелла, мы с тем большим вниманием отнесемся к взглядам Каспара Штюблина.

К сожалению, неизвестно, какими мотивами руководствовался Штюблин, когда сочинял «Евдемон» (р. 73—74). Неизвестно также, сколь осуществимым считал он собственный проект. Но, как видно, свое представление о «наилучшем государственном устройстве» он находил более реалистичным, чем «Утопию» Мора. В частности, и в вопросе о том, что касалось «правления философов». Штюблин не требует фундаментальных общественных преобразований. Его путь — путь компромисса. Править должны философы? Но кто они? Мудрецы вроде утопийцев, порвавшие с привычными установлениями? Или законные правители, прошедшие школу философии? Первый вариант для него слишком радикален, второй — недостаточен. Он не хочет, чтобы из чертогов власти совершенно изгнали всех существующих правителей вкупе с их наследниками. Желания его скромнее: он мечтает, чтобы там нашлось место и другим людям, достойным править.

<sup>14</sup> См.: Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. С. 53—58.

<sup>15</sup> См.: Утопия. С. 75; Utopia. Р. 86.

<sup>16</sup> «Справься у историков,—советовал Эразм,—и увидишь, что ничего не бывало для государства пагубнее, нежели правители, которые баловались философией или науками» (Эразм Роттердамский. Похвала Глупости. М., 1960. С. 31).

Свой вариант «правления философов» Штюблин излагает не-навязчиво и осторожно. Сенаторы, верховенствующие в Евдемоне, не ищут личной выгоды, будучи убеждены, что их ждет награда на небесах (р. 88). «И может ли быть,— пишет Штюблин,— более блаженное государство, чем то, где не правят ни плебеи, ни люди неосмотрительные, а правят философы? Что, наконец, более угодно Богу, чем столь святая жизнь почтеннейших сенаторов, которые постоянно приобщаются к некоей почти божественной духовности? Наши же, напротив, избегают и ни во что не ставят любую должность, которая не внушает надежды на хотя бы малейшую прибыль. Евдемонцы превозносят изречение божественного Платона, согласно которому мир обретет наконец счастье, когда высшая власть будет доверена философам или когда те, кому выпала она по воле случая, будут заниматься философией» (р. 89).

«Правление философов», по Штюблину,— это правление сенаторов: «Сенат, состоящий из людей, отобранных благодаря их испытанной мудрости и строгости нравов и жизни, пользуется величайшим авторитетом. Поэтому туда принимают не всякого, а лишь людей безукоризненной учености, порядочности, честности. Магистраты, далее, не назначаются голосами толпы, а только голосами оптиматов. Действительно, суждение толпы в большинстве случаев— наихудший советник, так как не диктуется рассудительностью, а влечется страстью и алчностью. По этой причине люди наиболее разумные считают, что прочным, долговечным и счастливым будет государство, в правительстве которого сидят люди ученые и степенные, те, кто мудрым своим советом умеет наилучшим образом позаботиться об общих интересах» (р. 83).

Их обязанности сложны и многообразны: «Задача этих правителей— содержать в неприкосновенности статус города-государства, блюсти всякое право, карать виновных и преступных, отмечать наградами добрые деяния, не допускать обид по отношению к кому бы то ни было, отращивать опасности общественные и частные, энергично крепить и защищать достоинство государства, наконец, мудро вершить любыми делами, касающимися благосостояния общины» (р. 83). Сенаторы должны проявлять большую заботу о вывозе и ввозе товаров, давать разного рода рекомендации, выносить приговоры, издавать от имени сената законы, постановления, распоряжения, ведать оборонительными приготовлениями, поощрять добродетель и, конечно же, содействовать расцвету словесности.

Задачи, стоящие перед правителями, требуют самоотверженности и высоких моральных качеств. «Они ведут жизнь,— пишет Штюблин,— столь безупречную и обильную заслугами, что под-

данные, побуждаемые к праведности их примером, повинуются им с почтительным благоговением. Они пользуются в глазах народа таким уважением и авторитетом, что всякое их постановление воспринимается всеми как речение оракула» (р. 84). Весьма благоразумные евдемонцы воздерживаются назначать на общественные должности лиц, чья репутация не безупречна. Они не допускают к магistrатурам и тех, кто зарабатывает на жизнь каким-нибудь малопочтенным занятием или добивается богатства сомнительными способами. Ведь подобного рода люди, претендующие управлять другими, не смогут этого делать, раз они не в состоянии даже исправить самих себя (р. 84).

Повествуя об образцовых правителях Евдемона, Штюблин то и дело вспоминает собственную страну: «Когда я сказал, что в наших краях управление провинциями поручается по преимуществу богачам, а людям, менее имущим, даже образованным и честным, всякий доступ к высшим должностям прегражден, они поразились такой глупости» (р. 87). Ведь золото копит ростовщик, а сенатора, напротив, ценят за то, что он свободен от низменной алчности, невосприимчив к ложным мнениям толпы, наделен высшим благородством и способен рассуждать иначе, чем большинство. «Что же бы они сказали, если бы услышали, что у нас люди, наиболее невежественные и достойные презрения, избираются сенаторами? Люди, которые не приобрели мудрости ни практикой, ни учением и тем не менее выносят приговоры в трибуналах, принимают постановления в ассамблеях, вершат всеми общественными делами!» (р. 88).

И тут же без всякого перехода Штюблин говорит о том, как в Евдемоне обходятся с разного рода «отбросами человечества». Трудно избавиться от впечатления, что этот пассаж навеян мыслями о собственной стране. Штюблин еще не остыл от возмущения, которое с такой страстью дает о себе знать в предыдущем отрывке. Тем более что абзац, посвященный «отбросам человечества», прерывает продолжающийся рассказ о сенате и сенаторах Евдемона. «Прелюбодеев, пьяниц, нечестивцев, людей, помеченных клеймом алчности, бунтовщиков, лиц, обуреваемых жаждой политических переворотов, чуждых любви к знанию, предающихся распутству, не только держат подальше от сената, но, помимо того, обрекают на позор и бесчестие. Евдемон не терпит подобных отбросов человечества и как опаснейшую зарузь отвергает их и изгоняет» (р. 88).

За свое бескорыстное служение государству сенаторы получают высшую награду — награду на небесах. Души тех — Штюблин опять вспоминает Платона (*Resp.* IX, 614—620), — кто на земле вел себя доблестно, вознесясь, окажутся в кругу небожителей. Тем

же, кто, став добычей наслаждений, под влиянием сластолюбия нарушил право, путь на небо заказан (р. 88—89).

Разумеется, никакое «правление философов» невозможно, если в государстве не организовано соответствующее «профессиональное обучение». Штюблин подробно описывает, как поставлено образование в Евдемоне и какая там превосходная школа. У государства евдемонцев два главных отличия и как бы два столпа: красноречие и изучение словесности (р. 92). Как истый гуманист Штюблин с удовольствием рассуждает на эту тему. Но когда мы вникнем в суть его представлений об идеальном государстве, то нас не очень станут радовать ни преклонение перед античностью, ни даже чисто ренессансные черты придуманного им города: великолепные постройки, статуи, красивые надписи с назидательными цитатами из древних поэтов. На утопическом проекте Штюблина лежит такая печать консерватизма, что все ренессансные контуры Евдемона блекнут, утрачивая свою привлекательность.

Общим местом многих работ, посвященных Возрождению, стала мысль о том, что античное наследие служило самым что ни на есть прогрессивным устремлениям, содействовало высвобождению человека из-под власти церкви и созданию нового, светского мировоззрения. Не оспаривая, разумеется, этой главной тенденции, имеет, на наш взгляд, смысл присмотреться и к явлениям, выходящим за рамки привычной для нас схемы. В этом отношении утопия Каспара Штюблина дает благодарный материал.

Тщетно пытались бы мы найти в «Евдемоне» мотивы, которые можно было бы истолковать как свидетельство симпатий автора к раннебуржуазным отношениям, к предпринимательской инициативе бюргеров, к прославлению промысла. Напротив, рисуя идеал города-государства, образец полиса, Штюблин словно демонстративно пренебрегает реальностями своего времени. В них он черпает только отрицательные примеры. И трудно отыскать в его утопии отражение каких-то позитивных устремлений эпохи, кроме своеобразно проявленного восхищения античной образованностью.

Свидетель расцвета городской жизни и возрастающей активности бюргеров, Штюблин игнорирует исторический опыт. Но мы были бы несправедливы к автору «Евдемона», если бы слишком корили его за это. Неприятие действительности — характерная черта утопистов, и далеко не все из них критиковали современные им порядки с высоты осознанного представления о действительном ходе истории. Стоит ли разделять широко распространенное мнение, будто проницательнейший Томас Мор вскрыл «гибельность капитализма», еще и не разглядев заложенных в нем потенций?

Правда, как бы ни был суров Мор к вопиющим социальным неурядицам современной ему Англии, в том духе самоуправления, которым проникнуты порядки утопийцев, явственно чувствуется многовековый британский опыт развитой городской жизни. Отвергая действительность, Мор не зачеркивает отдельных ее достижений.

Иное дело Штюблин. Его Евдемон и впрямь существует где-то рядом с идеальными государствами Платона, Аристотеля и Ксенофonta (р. 75). Если бы не упоминание о христианстве, то его утопию по духу можно было бы отнести к седой древности. Проект Штюблина не только консервативен, он реакционен. Особенно это заметно даже не из рассуждений о том, что «толпу» надо держать подальше от кормила правления. Еще в большей степени это яствует из отношения к ремеслу и ремесленникам как фундаменту тогдашней городской жизни. Каспар Штюблин заявляет — и это происходит в середине XVI в.! — что люди, занятые ремесленным трудом, «бесполезны для государства» (р. 117).

«Искусства, которые зовутся механическими и сидячими, евдемонцы считают малопочетными, и прежде всего потому, что они служат причиной телесных недугов и изнуряют тело того, кто ими занят, а ущерб, причиняемый телу, уменьшает также и энергию души. Кроме того, работники, занятые ручным трудом, считаются бесполезными для государства, поскольку взгляд их сосредоточен лишь на низменных и недостойных вещах, и обладают они душой удрученной. По этой причине еще у древних спартанцев этими ремеслами занимались только рабы» (р. 116—117). Даже если мы смягчим подобное заявление, оговорив, что речь идет не о бесполезности ремесленников вообще, а об их бесполезности в качестве граждан, участвующих в решении государственных дел, то и тогда слова Штюблина будут восприниматься нами как несомненный анахронизм.

Приведенный отрывок не позволяет прийти к определенному выводу относительно положения ремесленников в Евдемоне. Однако явное одобрение, с которым Штюблин ссылается на пример спартанцев, показывает, что их судьба вряд ли была завидной. Из следующей фразы становится ясно, что ремесло рассматривалось как занятие, не достойное свободного человека. Даже если это и не значило, что ремесленники находились на положении зависимых людей, то, во всяком случае, к числу полноправных граждан они не принадлежали.

«Занятие сельским хозяйством, однако, они расценивают как достойнейшее свободного человека». Но тут же следует оговорка: «С другой стороны, у них нет нужды ради прибыли работать ожесточенно, поскольку они живут, довольствуясь

малым, и вовсе не восторгаются богатством, не подают вида, что остро чувствуют какую-либо нехватку» (р. 117). Штюблину претит погоня за выгодой: «Там не найдешь ненасытной адовы жажды владения, которая широко распространена среди нас. Там нет этих скряг, которые, прибегая к постыднейшим и бесчестнейшим средствам, копят имущества и добывают деньги грязнейшимиисканиями, людей, которые скорее добровольно содействовали бы гибели целого государства, чем согласились бы потерять несколько грошей. О, испорченнейшие времена, о, бесстыднейшие, выродившиеся люди!» (р. 117).

У Штюблина перед глазами средневековый (если не античный!) город: необходимо ввести строгую регламентацию, чтобы подавить алчность и воспрепятствовать безудержному росту цен. Штюблин ничего не пишет об организации ремесленного производства, но считает нужным упомянуть: «Цена на все товары заранее установлена и неизменна, и никто не имеет права продавать их по собственному произволу, иначе из-за бесчестности людей стоимость вещей и их расценка в денежном выражении поднялись бы до такой степени, что даже среди наибольшего изобилия граждане были бы их лишены, поскольку все мы позволяем владычествовать над нами прежде всего алчности. Если кто-нибудь продаст товар за цену, большую той, которая согласна с обыкновением, то он принуждается к уплате штрафа, помимо того, что страдает от конфискации его товара» (р. 113—114).

Сразу же после фразы о наказании лиц, нарушающих хозяйственную регламентацию ради собственного стяжательства, Штюблин говорит о мерах, принимаемых против всякого рода злодеев и правонарушителей: «Клеветники, хулигани, доносчики, те, кто посягает на доброе имя честных людей, те, кто обращает собственные обиды на погибель другим и разжигает среди граждан обоюдную ненависть, изгоняются из города» (р. 113—114).

Мотив «изгнания злодеев» часто звучал в произведениях политических писателей Возрождения.

«Воров они,— продолжал Штюблин,— как и мы, отправляют на виселицу. Бездельников же, изнывающих от праздности или слишком предающихся пьянству и роскошеству, они сурово наказывают» (р. 113—114). Тому существуют серьезные причины: евдемонцы, «эти превосходные люди, понимают, что из постыдной праздности часто рождаются тяжкие пороки и иногда—коварная поросль, прямо ведущая государство к погибели». Их изничтожение— обязанность совершенного государства. «Все злодеи, разбойники, убийцы, предатели и враги отчизны, поджигатели, прелюбодеи и т. п. искореняются, хотя в Макарии такого рода преступнейшее отродье появляется чрезвычайно редко» (р. 114).

Штюблин, видящий в одной из господствующих тенденций своего времени — в стремлении к богатству, накоплению имущества, ненасытном приобретательстве — величайшее зло, пытается найти иные жизненные стимулы. Евдемонцы, пишет он, «полагают, что родители оставят детям лучшее наследство, если позаботятся укоренить в них с самого раннего возраста благородные наставления и праведные нравы. Они, напротив, считают бесчестием копить имущество собственным отпрыскам лишь ради того, чтобы предложить им более щедрое содержание для роскошества и большие возможностей для праздности. Они рассуждают, что государству действительно полезны отнюдь не люди богатые, а люди честные и образованные, и думают, что к доблести естественным путем присоединяется пристойный достаток» (р. 115). Однако Штюблин не уточняет, как «естественным путем» человек, воспитанный в доблести, достигает благосостояния.

Поскольку не на стремлении к богатству надобно сосредоточить усилия граждан, Штюблин так формулирует главную задачу правления: «Каждый, кому выпадет исполнять общественную обязанность или кто будет назначен на должность, всегда, в любом случае, положении, моменте, в любом деле и месте старательно служит праву, блюдет справедливость, всеми средствами преследует злодеев и преступников, разит их и наказывает, решительно их искореняет и, наоборот, воздает почесть людям порядочным, благоволит им и добросердечно им покровительствует» (р. 115).

Сколько бы мы ни ссылались на вдохновлявшие Штюблина античные образцы, где смыслом государства объявлялось осуществление справедливости, нам не избежать вопроса, весьма важного для понимания его утопии в целом. Пусть Штюблин во власти античных идей и образов, пусть он не приемлет окружающую его действительность с ее ненасытной жаждой обогащения, но чьи интересы, помимо собственных, он пытается выражать?

Евдемон — «совершеннейший пример счастливого государства». Евдемонцы убеждены в его божественном происхождении. Догосударственные времена они вовсе не идеализируют: одиночные люди бродили по полям и лесам — все решалось силой. Но потом они перешли к более цивилизованному образу жизни. Город Евдемон подобен единому телу, образованному из множества отдельных членов (р. 78), его безопасность и целостность должны заботить в равной степени всех (*Ibid.*).

Сравнение государства с телом нужно Штюблину, чтобы обосновать естественность неравенства: «Как в человеческом теле одни органы более значимы и более благородны, чем другие, одни находятся на виду, другие же потаены и скрыты, так

и в Евдемоне не все обладают одинаковым достоинством и положением, и между лицами существуют многообразные различия. Эти — плебеи, те — патриции, эти окружены великим уважением и почетом, те — безвестны и неприметны. И тот имеет больше заслуг перед государством, кто больше выделяется благородством и доблестью, и тем больше получает он почестей» (р. 80).

Неравенство не вызывает среди евдемонцев никакого протеста. Паче того, «они до такой степени умеренны, что тот, кто внизу, не завидует тому, кто наверху, плебей не завидует патрицию, а благоволит ему; именитые граждане и магнаты не относятся с презрением к гражданам низкого и бедного звания, а опекают их и поддерживают» (р. 81).

В этой идиллической картине Штюблип выписывает все новые и новые детали. «Ни презрение, ни высокомерие не ослабляют их согласия. Усердие свое и все усилия обращают на то, чтобы сохранить потомкам государство нерушимым. Никто не отвергает власти магistrата, но все связаны полюбовным единодушием и пребывают как бы в полной гармонии. Мужам достославным и выдающимся они оказывают величайшие почести, чтут их и восхищаются ими. Опытные граждане знают, сколь часто беды государства проис текали от презрения и пренебрежения ко всем достославным и заслуженным мужам и что сила доблести чахнет, если нет надежды на славу как заслуженную награду» (*Ibid.*).

Историки, привыкшие считать, что на утопистов XVI и последующих столетий Платон оказал влияние главным образом своим учением об общности имуществ, будут разочарованы, когда обратятся к Штюблину. Он ссылается на знаменитую фразу Платона о том, что мир обретет блаженство, когда будут царствовать философы либо цари философствовать (р. 89). И тут же говорит, что он, Штюблип, понимает под таким идеальным «правлением философов». Вспоминая Платона, он вовсе не имеет в виду общность имуществ. Об этом Штюблип не обмолвился ни словом. Для него в образце, начертанном античным мыслителем, дорого совершенно иное.

«В государстве евдемонцев,— пишет Штюблип,— каждый защищен своим собственным достоинством, у каждого сословия — собственный ранг и честь: чем больше тот или иной выделяется доблестью, тем выше его общественное положение. Они считают величайшим позором, если кто-нибудь злобно высказываетя против доброй и незапятнанной репутации кого-либо. Постыдно поносить мужа великой славы и известности: если они воздали кому-либо честь за его доблесть, то считают это священным, ибо непозволительно порицать стоящих во главе. Они полагают, что наилучшим образом позаботятся о делах человеческих, если каждый будет блести в гражданской общине собственное положение

ние, если народу будет дано то, чего требует справедливость, если сенату будет предоставлено столько, сколько позволяют ученость, законы и справедливость, если одни будут уравновешиваться другими и все в совокупности станет управляться на основе твердого договора...» (р. 90). Знаменательно, что утопист уподобляет уравновещенное общество космосу, который всегда пребывает неизменным, несмотря на вечное борение стихий.

Такой философский фундамент подводит Штюблин под здание своего государства, и нет ничего удивительного в том, что евдемонцы «не выносят тех, кто, забыв собственное положение, предпринимает попытки, превышающие их возможности, так что город по большей части терпит от этого ущерб. Они хотят, чтобы каждый не роптал на судьбу, которая выпала на его долю, и не слишком бы простирал крылья за пределы своего гнезда во вред государству, особенно если он оказался неподходящим и неспособным исполнять другие обязанности (*Ibid.*)».

Коль скоро вся политическая мудрость Штюблина сводилась бы к пословице «Всяк сверчок знай свой шесток», то легко было бы заподозрить его в измене чаяниям гуманистов, их мечте об обществе, где каждый займет положение, сообразное его доблести. Но в этом вряд ли упрекнешь Штюблина. При всем его консерватизме, если не сказать реакционности, он очень дорожит мечтой, которая так привлекала гуманистов в учении Платона. Какой шанс история, казалось, готова предоставить образованным людям, когда не знатность рода или богатство будут определять твое положение, а знание древней словесности и нравственное совершенство!

Конечно же, Штюблин об этом не забывает: «В Евдемоне высшая честь выпадает на долю того, кто доблестно поднимается с более низкой ступени на другую, более почетную, или достигает какого-то более высокого достоинства» (*Ibid.*). Но тут же, словно спохватившись, продолжает твердить: всякому надобно помнить о том положении, которое занимает, всякий обязан довольствоваться шкурой, в коей оказался. Маргиналия красноречиво подводит итог: «Каждый должен оставаться при своем», т. е. довольствоваться своей долей (*Ibid.*).

Если бы мы задались целью показать, как творец «Евдемона», провозгласивший неравенство одним из основных принципов своего идеального государства, мыслит его существование, нам пришлось бы говорить о всякого рода мерах, применяемых против смутьянов и нарушителей. Но мы нашли бы здесь мало оригинального. Чтобы увидеть вора на виселице или богохульника, которому перед казнью вырывают язык, не надо было отправляться на остров Макария. Этого и в тогдашней Европе было предостаточно.

Для нас, естественно, что государство, основанное на неравенстве, поддерживает свое существование именно средствами насилия и подавления. Ничуть не бывало! Штюблин — и в этом кроется особый интерес, который вызывает его утопия,— подчеркивает, наоборот, что его Евдемон отличается особой внутренней прочностью, что в нем царит дух согласия, что всякого рода экзцессы там — редчайшее исключение. Государство функционирует как крепкий и здоровый организм, где каждый член, осуществляя собственное назначение, служит общему благу.

Мы привыкли считать, что осознание неравенства, особенно когда это неравенство провозглашается государственным принципом, неизбежно должно вызывать протест, беспорядки, репрессии. Но что, собственно, нас удивляет? Ведь мы имеем дело с вымышленным государством. На то Штюблин и утопист, чтобы кроить его по собственным меркам. Ему хотелось, чтобы идеальные граждане воспринимали неравенство как справедливость, и он написал «Евдемон».

Но, может быть, все не так просто, как кажется? Может быть, здесь отразились какие-то существенные стороны античных учений об обществе? Мотивы, которые были созвучны ренессансным мыслителям, а нашему слуху почти недоступны?

«Они ведут жизнь столь безупречную и возвеличенную благодеяниями,— рассказывает Штюблин о сенаторах Евдемона,— что подданные, побуждаемые к добродетели их примером, повинуются им с почтительным благоговением. Они пользуются в глазах народа таким уважением и авторитетом, что любое их постановление воспринимается всеми как оракул. Они не отделяют права от справедливости. Не только сенаторы, но и обыкновенные граждане отдают государству свой труд, умственные способности; они тотчас, не размышая, встают на его защиту, показывая себя столь справедливыми и добродетельными, что кажется, будто они так вылеплены природой, а не воспитанием. Одним словом, они являются собой такую прирожденную добродетель, что в них не найдешь ничего, кроме самого чистого и светлого» (*Ibid.*).

Может быть, Штюблин намеренно упрощает задачу, когда наделяет граждан Евдемона качествами, которые облегчают управление государством? Если мы будем думать подобным образом, то не поймем ни Штюблина, ни многих других утопистов. Речь шла не о формировании граждан, которые были бы удобны для правителей. До кошмарных фантазий Хаксли и Оруэлла было еще очень и очень далеко. Речь шла о тех гражданских качествах, которые действительно воспринимались как добродетель и, по мысли древних, делали государство внутренне целостным и гармоничным. Эта добродетель звалась софросина. И не

особенно важно, какие нюансы ее оставались для ренессансных авторов утраченными и насколько удачно, переводя Платона, находили они многообразному греческому термину воистину подходящее, если и не адекватное латинское выражение. Суть софросины, надо думать, они понимали.

Платоновы идеи у многих гуманистов вошли в плоть и кровь. Они стали частью их сознания. Мыслители позднего Возрождения, воспитанные на Платоне, отдавая предпочтение разным сторонам его учения о наилучшем государственном устройстве, знали его, разумеется, и в совокупности.

А. Ф. Лосев посвятил анализу софросины ряд блистательных страниц<sup>17</sup>, настойчиво повторяя, что сию добродетель у нас обычно переводили как «благоразумие» или как «рассудительность», однако «оба эти перевода никуда не годятся... Термин этот непереводим даже на латинский язык»<sup>18</sup>. А. Ф. Лосев показал, какую огромную роль играла софросина в представлениях Платона, и в частности в его учении об обществе: «...все идеальное государство у Платона сверху донизу есть космос; а имя этой музыки, этой всеобщей симфонии и гармонии этого всеобщего космоса — софросина»<sup>19</sup>.

В подобном кругу представлений мысль о том, что каждый должен довольствоваться своим положением и не выказывать притязаний, превышающих его возможности, звучала не как начальственный окрик «Знай свое место!», а как призыв найти такую форму человеческого общежития, при которой люди, трезво сознавая собственное неравенство, не враждовали бы между собой, а уравновешивали друг друга и пребывали в постоянной гармонии.

Пусть так, и мы, быть может, правильно восприняли «политическое мироощущение» евдемовцев, но нам, нынешним читателям этой почти забытой утопии, все-таки не следует уходить от возникшего выше вопроса: чьи интересы стремился выразить Штюблин в своем «Евдемоне»?

Его утопия — еще один пример того, как по-разному проявлялись притязания гуманистов на руководство обществом. Ему далеко до смелости Томаса Мора или будущих мессианских претензий Кампанеллы. Представления Штюблина о желанном «правлении философов», как мы уже отмечали, куда скромнее. Справедливость он видит в том, чтобы каждое сословие занимало собственное место и находило в этом удовлетворение. Штюблин не отказывается от мечты гуманистов, которая тешила их

<sup>17</sup> См.: Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 357—363, 599—607.

<sup>18</sup> Там же. С. 603.

<sup>19</sup> Там же. С. 362.

и возвышала в собственных глазах, одновременно оправдывая их притязания: чем более отличен человек доблестью, тем выше должно быть его социальное положение. Но никому не подобает, не устает повторять Штюблин, покушаться на большее, чем позволяют возможности (р. 90).

Забота Штюблина о достойном месте гуманистов в государстве чувствуется не только в рассуждениях о социальных порядках евдемонцев, но и в ряде деталей, выдающих его настроения. Известно, например, как страдали многие гуманисты от стесненности в средствах, когда вынуждены были жить на скучные доходы от преподавания. Описывая школу, учрежденную евдемонцами (р. 93—98), Штюблин не забывает отметить: в этой блестящей коллегии они содержат на великолепных окладах со всей щедростью и достоинством людей, опытнейших в латинском и греческом языках (р. 93). Нередко, отправившись на чужбину, гуманисты оказывались во враждебном окружении. Иное дело в Евдемоне: там успешно преподают выдающиеся профессора по всем отраслям знания. Евдемонцы собрали их отовсюду, не постояв перед «великими тратами» (р. 93).

Как мы уже убедились, Штюблин не звал к коренным экономическим и социальным преобразованиям. «Все граждане Евдемона располагают скромным имуществом и живут им» (р. 102). Нищих там нет. Неуемную жажду богатства Штюблин осуждает: новые богачи, пускающиеся ради денег на любую низость, вызывают у него неприязнь. Не случайно поэтому в Евдемоне терпят весьма малое число банкиров и купцов (р. 108) (ввозом и вывозом товаров там ведали специальные магистраты — р. 83). Банкиры и купцы, разносчики чуждых нравов, нередко виноваты в том, что юноши, получившие хорошее воспитание, разворачиваются (р. 108).

Какому же сословию предназначал Штюблин, этот убежденнейший враг опасных новшеств, в качестве образца для подражания свой проект? Это были, на наш взгляд, территориальные князья Германии, землевладельцы<sup>20</sup>, задававшие тон во многих городах, иногда в силу наследственных прав, иногда в силу родственных связей с городским патрициатом. В них, «прави-

<sup>20</sup> Об этом, по нашему мнению, говорит фраза: «Занятие сельским хозяйством, однако, они расценивают как достойнейшее свободного человека» (р. 117). Заниматься сельским хозяйством — это не обязательно самому ходить за плугом, хотя последнее, согласно давней традиции, и не считалось унижающим человеческое достоинство. Вспомним Цинцинната, который пахал поле, когда его позвали в Рим стать диктатором. Слова о том, что евдемонцы, довольствуясь малым, не работали особенно рьяно, относятся, возможно, и к людям, собственными руками обрабатывающими землю. Но говорить о какой-то значительной их роли в политической жизни Евдемона не приходится.

телях» и «патрициях», Штюблин видел своих естественных союзников, которые, наложив узду на ненасытность новых богачей и вернув «толпу» в приличествующее ей подчиненное положение, с помощью гуманистов, надежных советников, блюстителей античных традиций, воскресили бы в Германии «древнюю тевтонскую дисциплину» (р. 109).

Каспар Штюблин, создавая собственный вариант «правления философов», не стремился к подлинно радикальным переменам. Он не помышлял *оттеснить* существующих властителей, а мечтал лишь о том, чтобы они сами, осознав истинные интересы государства, несколько *потеснились* и дали бы место у кормила правления таким же, как он, гуманистам, высокоученым философам, хранителям древней мудрости.

# «АСКЕТИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ» (МОРЕЛЛИ И МАБЛИ)

\*

Любые попытки осмыслить случившееся с нашей страной неизбежно влекут за собой множество вопросов политических, экономических и совсем не в последнюю очередь — мировоззренческих. «Реальный социализм» лишь одно звено из длинной цепи различных социалистических исканий, опытов, систем, которые еще недавно модно было называть моделями. Судьбы социализма, хотим мы этого или нет, будут и впредь волновать умы. Писать о «конце социализма» так же неосмотрительно, как рассуждать о «конце истории».

Многие десятилетия к изучению социалистических идей у нас относились с внешним пietетом, но зачастую с внутренним безразличием. Главное было следовать очередному идеологическому предписанию. Не будем, однако, опять валить все на внешние обстоятельства. Дискуссии, когда они велись, нередко превращались в битву цитат: каждый пользовался оружием, которое было сподручней. Такие образцовые исследования, как книги А. Р. Иоаннисяна, становились по сути редким событием.

Обилие публикаций, диссертационных работ, статей и пособий обычно качеством своим не радовало. И удивительное дело, тексты, на коих чуть ли не присягали, не были подчас досконально изучены. Иногда туманными или необъясненными оставались важные понятия. Так произошло и с «аскетическим коммунизмом».

Нет, мы не оговорились, хотя непривычность словосочетания, вынесенного в заголовок, может сразу же вызвать решительный отпор. Читатели, со студенческой скамьи знакомые с «Анти-Дюрингом» и «Развитием социализма от утопии к науке», без труда уличат автора в неточности: там ведь речь идет об «аскетически суровом, спартанском коммунизме»<sup>1</sup>. Но мы хотим сделать предметом рассуждений именно «аскетический коммунизм».

<sup>1</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 18; Т. 19. С. 191. При переработке трех глав «Анти-Дюринга» для самостоятельного издания здесь в текст было внесено небольшое дополнение. См. также: Т. 19. С. 566—567; Т. 20. С. 665.

И право на это нам дает подлинник<sup>2</sup>. Нас совершенно не смущает то обстоятельство, что наши историки, философы и экономисты, писавшие о различных утопически-коммунистических учениях, понятием «аскетический коммунизм» обычно не пользовались. Насколько известно, не существует ни одной статьи, посвященной «аскетическому коммунизму» как таковому. Справедливости ради заметим, что и «смягченному» его варианту («аскетически суровому, спартанскому коммунизму») в этом отношении повезло не больше. Его избегают и энциклопедии<sup>3</sup>, и учебные пособия<sup>4</sup>, и специальные работы<sup>5</sup>. Дело дошло до курьеза: даже такой «смягченный» перевод казался неподходящим — куда спокойней было говорить просто о «спартанском коммунизме»<sup>6</sup>.

Подобные приемы не способствуют, разумеется, ни уяснению концепции Энгельса, ни разрешению вопроса о том, почему в «Анти-Дюринге» появились понятие «аскетический коммунизм» и строки, его характеризующие. Многие исследователи предпочли путь наименьшего сопротивления — в результате при

<sup>2</sup> Engels F. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Moskau; L., 1935 (далее: Anti-Dühring). S. 21: «Neben diesen revolutionären Schilderhebungen einer noch unfertigen Klasse gingen entsprechende theoretische Manifestationen her; im 16. und 17. Jahrhundert utopische Schilderungen idealer Gesellschaftszustände, im 18. schon direkt kommunistische Theorien (Morelly und Mably). Die Forderung der Gleichheit wurde nicht mehr auf die politischen Rechte beschränkt, sie sollte sich auch auf die gesellschaftliche Lage der einzelnen erstrecken; nicht bloß die Klassenprivilegien sollten aufgehoben werden, sondern die Klassenunterschiede selbst. Ein asketischer, an Sparta anknüpfender Kommunismus war so die erste Erscheinungsform der neuen Lehre». Нам приходилось уже высказываться на эту тему. Однако слишком большое значение, которое мы придавали ранним планам Маркса и Энгельса относительно «Библиотеки выдающихся иностранных социалистов», мешало увидеть суть. Здесь мы восполняем этот пробел.

<sup>3</sup> Мы говорим именно об анализе самого понятия, хотя в статье о Мабли и было сказано, что его коммунизм — это аскетический коммунизм. Ср.: Философская энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 272—274, 504—505; М., 1979. Т. 5. С. 292; Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 8. Стлб. 875—876; М., 1966. Т. 9. Стлб. 691—692; М., 1973. Т. 14. Стлб. 902. Вместе с тем в «Истории философии» (М., 1941. Т. 2. С. 338) было лишь стыдливо отмечено, что «учения Мабли и Морелли имели аскетический оттенок и проповедовали мелкобуржуазную уравнительность».

<sup>4</sup> Ср.: Кан С. Б. История социалистических идей (до возникновения марксизма): Курс лекций. М., 1963; 2-е изд. М., 1967. С. 38—51; Застенкер Н. Е. Очерки истории социалистической мысли. М., 1985. С. 151—163.

<sup>5</sup> Ср.: Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 205—220; Он же. Французский утопический коммунизм. М., 1960. С. 34—48, 52—56; Сафронов С. С. Политические и социальные идеи Мабли // Из истории социально-политических идей. М., 1955. С. 238—264.

<sup>6</sup> См.: Застенкер Н. Е. Очерки истории социалистической мысли. С. 53. Автор весьма своеобразно препарировал цитату из Энгельса, утверждая, что там «говорится о «спартанском коммунизме» как первой форме проявления нового учения».

всей своей кажущейся определенности родилось нечто поразительно расплывчатое: «грубоуравнительный (или казарменный) коммунизм», который будто бы появляется в самые различные эпохи человеческой истории, не признавая ни временных, ни территориальных границ,— в Древнем Китае или Передней Азии, в средневековых монастырях Европы и еретических движениях, среди мятежных крестьян и замышляющих заговоры плебеев, в революционных событиях первой половины XIX в. и на страницах рабочих листков— вплоть до наших дней, до Мао Цзэдуна и Пола Пота<sup>7</sup>. Такое понимание «грубоуравнительного (казарменного) коммунизма», приобретшего чуть ли не «надисторическую» значимость<sup>8</sup>, делает ненужной всякую попытку отыскать грань между вековечными уравнительными тенденциями обездоленных и «грубым» пролетарским коммунизмом. Что уже тут говорить о каких-то текстологических тонкостях!

Однако все-таки необходимо запастись терпением. Безбрежной интерпретации «грубоуравнительного коммунизма» надо противопоставить конкретные исследования. Мы, к примеру, глубоко убеждены, что Бабёф, да и некоторые его пылкие приверженцы 30—40-х годов XIX столетия, как бы их подчас ни превозносили в нашей историографии<sup>9</sup>, никогда не достигли идеиного уровня своих предшественников, Морелли и Мабли, на коих любили ссылаться<sup>10</sup>.

Кроме того, если мы действительно хотим прояснить, как складывалось представление Энгельса о развитии социалистической мысли, то должны тщательно проанализировать все, что связано с «аскетическим коммунизмом».

Само это понятие появилось в рукописи не сразу. Даже из примечания к начальному абзацу «Анти-Дюринга», где предварительный набросок воспроизведен почти целиком, видно, что Энгельс по ходу работы существенно изменил свою оценку

<sup>7</sup> См.: Арзамасцев А. М. Казарменный «коммунизм»: Критический очерк. М., 1974; Суперфин Л. Г. Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом концепции грубоуравнительного коммунизма: (Экономический аспект). М., 1975; и др.

<sup>8</sup> См.: Штекли А. Э. Равенство и свобода: К изучению понятия «казарменный коммунизм» // История социалистических учений, 1989. М., 1989.

<sup>9</sup> См.: Волгин В. П. Очерки по истории социализма. М.; Л., 1935. Ч. 2. Здесь, в статье «От Бабёфа к Марксу», он писал: «В истории революционного коммунизма предшественником марксизма по прямой линии является бабунизм» (С. 407). Значимость такой конъюнктурной идеологической установки углублялась тем, что в этой же книге Волгин фактически отлучил Сен-Симона от утопического социализма: «Сам он социалистом не был, и причисление его к социалистам свидетельствует лишь о чрезвычайно низком уровне, на каком стояло вплоть до начала XX в. изучение истории социализма» (С. 231).

<sup>10</sup> См.: Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабёфа. М.; Л., 1948. Т. I. С. 12, 14, 64, 67; 1948. Т. II. С. 52, 218.

роли, сыгранной Морелли и Мабли в истории утопического социализма<sup>11</sup>.

Среди подготовительных материалов к произведениям Маркса и Энгельса не так уж много текстов, которые позволяют историкам, изучающим их наследие, с достаточной степенью надежности наблюдать зарождение той или иной концепции. Черновой набросок «Введения» к «Анти-Дюрингу» принадлежит к числу именно таких текстов. Однако надо признать, что предложенные нами толкования если кое-что и уточнили<sup>12</sup>, то темы, разумеется, не исчерпали.

Долгие раздумья над соотношением между черновым наброском «Введения» и его чистовой редакцией все больше убеждают в том, насколько сложна поднятая проблема. Новая публикация перевода подготовительных работ к «Анти-Дюрингу»<sup>13</sup> делает уместным еще раз вернуться к тем неясностям, которые по-прежнему подстерегают читателя<sup>14</sup>.

В чистовой редакции Энгельс писал о том, что революционные выступления еще не созревшего класса (позже он назовет его *предпролетариатом*) проходили наряду<sup>15</sup> с соответствующими теоретическими выступлениями: «таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке — уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли)». Энгельс тут же развивает свою мысль: «Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общество положение каждой отдельной личности; доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий. Аскетически суровый, спартанский коммунизм был первой формой проявления нового учения»<sup>16</sup>.

Но что подразумевается под «новым учением»? Естественно, «социализм утопический». Вчитываемся в первый абзац «Введения»,

<sup>11</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 16. Текст подлинника см.: Anti-Dühring. S. 396—397.

<sup>12</sup> См.: Штекли А. Э. Энгельс о начальном этапе утопического социализма // Из истории марксизма-ленинизма и международного рабочего движения. М., 1982. С. 115—143; Он же. Подготовительные работы к «Анти-Дюрингу» и вопрос о начале утопического социализма // История социалистических учений, 1985. М., 1985. С. 29—44.

<sup>13</sup> См.: Новый документ Фридриха Энгельса // Коммунист. 1986. № 18. С. 3—7. Этот набросок «Введения» к «Анти-Дюрингу» вошел также в состав 5-го тома Избранных сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса в девяти томах (М., 1986. Т. 5. С. 631—635, 727, 728).

<sup>14</sup> См.: Штекли А. Э. К публикации нового документа Фридриха Энгельса // История социалистических учений, 1988. М., 1988. С. 3—11.

<sup>15</sup> О необходимых поправках в переводе см. главу «„Утопия“ как выражение социальных чаяний...».

<sup>16</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 18.

однако такого выражения там нет, зато находим: новая теория это «социализм». Мы могли бы испытать удовлетворение, если бы не пробежали глазами помещенный под строкою текст, из которого явствует, что с Морелли и Мабли начинался *«современный социализм»*. Будто для того, чтобы еще больше увеличить наше недоумение, Энгельс выделил эти слова курсивом.

Здесь в пору сделать отступление и назвать этот раздел главы «Кто был основоположником современного социализма?». Читатель будет прав, если заподозрит нас в погоне за дешевой сенсационностью, присущей ныне многим публицистам и историкам. Тем более что ответ должен быть известен с лет ученичества: в важнейших произведениях, посвященных развитию социалистической мысли, *«современный социализм»* служит, как обычно считают, синонимом *«социализма научного»*. Посему сам вопрос, если был бы вынесен в заголовок, отдавал бы душком, хоть и дозволенного, но сомнительного фрондёрства. Однако речь пойдет все-таки о некой текстологической загадке.

«Современный социализм,— именно этими словами открывал Энгельс свое Введение к *«Анти-Дюрингу»*,— по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения, с одной стороны, господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, наемными рабочими и буржуа, а с другой— царящей в производстве анархии. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века»<sup>17</sup>.

Выходит, *«современный социализм»*— это прежде всего существовавший тогда социализм. Однако в историческом плане он был первоначально социализмом утопическим. То, что под упомянутым в тексте слове «он» имелся в виду именно утопический, а не научный этап развития *«современного социализма»*, видно из следующей фразы: «Как всякая новая теория, социализм должен был исходить прежде всего из накопленного до него идеиного материала, хотя его корни лежали глубоко в экономических фактах»<sup>18</sup>. Ниже Энгельс пишет о том, как великие люди просвещали во Франции умы для приближавшейся революции.

На этой же странице *«Анти-Дюринга»* в подстрочном примечании опубликован почти целиком перевод чернового наброска

<sup>17</sup> Там же. С. 16.

<sup>18</sup> Там же.

первого абзаца Введения: «Современный социализм, хотя он по существу дела возник из наблюдения существующих в обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, рабочими и эксплуататорами, но по своей теоретической форме он выступает как более последовательное, дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века,— ведь первые представители этого социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к числу просветителей»<sup>19</sup>.

В оригинале текст звучал так: „Der moderne Sozialismus, so sehr er auch der Sache nach entstanden ist aus der Anschauung der in der vorgefundenen Gesellschaft bestehenden Klassengegensätze von Besitzenden und Besitzlosen, Arbeitern und Ausbeutern, erscheint doch in seiner theoretischen Form zunächst als eine konsequenterer, weitergetriebene Fortführung der von der großen französischen Aufklärern des 18. Jahrhunderts aufgestellten Grundsätze, wie denn seine ersten Vertreter Morelly und Mably, auch zu diesen gehörten. Wie jede neue Theorie, mußte er zunächst anknüpfen an das vorliegende Gedankenmaterial, obwohl seine Wurzel in den materiellen Tatsachen lag“<sup>20</sup>.

Весь этот абзац, за исключением последней фразы, опущенной при издании перевода чернового наброска, поскольку она сохранина в чистовой редакции, состоит, как видим, из одного, достаточно пространного, предложения. Нас озадачит расхождение текстов. Если из окончательного варианта ясно, что социализм сначала (т. е. утопический социализм) опирался на принципы французского Просвещения, то в черновике говорилось об ином. Там все высказывание относится к «социализму современному», причем четко указано, что Морелли и Мабли были «первыми представителями этого социализма».

Но если «современный социализм» возник в середине XVIII столетия, раз у его истоков стояли Морелли и Мабли, то мы, по всей вероятности, ошиблись, когда сочли, что Энгельс имел в виду под «современным социализмом» существовавший тогда социализм? Однако ведь в чистовой редакции наряду с «современным социализмом» упоминается и просто «социализм». Замеченное нами расхождение можно было бы отнести за счет незавершенности работы над черновым наброском. Но тут вспоминаем, какую важную роль в истории социалистических идей Маркс и Энгельс отводили Морелли и Мабли<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Anti-Dühring. S. 396—397.

<sup>21</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 24, 25, 27; Т. 42. С. 259, 479.

Мы снова обращаемся к чистовой редакции, теперь уже в подлиннике<sup>22</sup>. И здесь нас подстерегает неожиданность. В немецком тексте нет просто «социализма». Речь идет о «современном социализме»: и в первом, и во втором случае именно к нему относится подлежащее «он». «Социализм», появившийся в русском издании, оказывается произвольной конъюктурой переводчика или редактора, которая к тому же совершенно не была оговорена.

Сличение в оригинале чернового наброска и окончательной редакции убеждает, сколь спорны могут быть выводы, основанные лишь на сопоставлении соответствующих отрывков русского перевода. И в том, и в другом тексте подлинника говорится о «современном социализме», который развивал принципы Просвещения. В чистовой вариант не вошла только заключительная часть фразы: «... ведь первые представители этого социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к числу просветителей» (ниже они появятся снова, хотя и в несколько ином качестве)<sup>23</sup>.

Раз в этом контексте речь идет именно о «современном социализме», а не просто о «социализме», значит Энгельс подразумевал под «современным социализмом» не только «нынешний», «теперешний» социализм, *современный* работе над «Анти-Дюрингом», но и что-то иное.

Как вообще это понятие употреблял Энгельс в «Анти-Дюринге»? В поисках ответа обратимся прежде всего к предметному указателю<sup>24</sup>. Нас ждет новое затруднение. Выходит, в абзаце, которым открывается «Анти-Дюринг», Энгельс, говоря о «современном социализме», имел в виду «научный коммунизм»<sup>25</sup>!

Это может привести к тому, что употребленное Энгельсом выражение «современный социализм» будет восприниматься как синоним «научного коммунизма».

Не исключено, что подобная ссылка связана с конъюктурой, сделанной в русском переводе. Поскольку в третьем предложении первого абзаца упоминался просто «социализм» (в данном случае — «социализм утопический») и пояснялась мысль, высказанная в предыдущей фразе, напрашивался вывод, что и в ней речь идет тоже не о «современном социализме». Эта ссылка была повторена и относительно соответствующей страницы «Развития социализма от утопии к науке»<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Anti-Dühring, S. 396—397.

<sup>23</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 18.

<sup>24</sup> См.: Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1978. Ч. 1, 2.

<sup>25</sup> Там же. Ч. 1. С. 362.

<sup>26</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 189.

Дабы все-таки выяснить, что имел в виду Энгельс, употребляя во Введении выражение «современный социализм»<sup>27</sup>, обратимся к другому месту «Анти-Дюринга», названному в «Предметном указателе». По мнению составителя этого раздела, и в нижеследующем отрывке под «современным социализмом» подразумевается научный социализм: «Современный социализм есть не что иное, как отражение в мышлении этого фактического конфликта (конфликта между производительными силами и способом производства.— A. Ш.), идеальное отражение его в головах прежде всего того класса, который страдает от него непосредственно,— рабочего класса»<sup>28</sup>.

Вспомнив чеканную формулировку Энгельса: научный социализм является «теоретическим выражением пролетарского движения»<sup>29</sup>, мы не решились бы причислять к научному коммунизму всякое отражение в головах рабочего класса конфликта между производительными силами и способом производства. Отражения бывали, как известно, самые фантастические, утопические, ненаучные. Даже деятели, вроде Лассала, выдававшие себя за выразителей интересов пролетариата, не говоря уже о самом Евгении Дюринге с его псевдосоциализмом, оказывали определенное влияние на рабочих своими «новыми социалистическими теориями»<sup>30</sup>. Кроме того, из последующего изложения, где упоминается Фурье, видно, что «современный социализм» и в данном случае не может пониматься как синоним «научного коммунизма»<sup>31</sup>.

Само по себе выражение «der moderne Sozialismus» не так-то просто осмыслить. Прилагательное «modern» имеет несколько значений, и переводчику порой нелегко уловить нюансы. При переводе на русский язык сочинений Маркса и Энгельса встречается немало слов, хотя и очень употребительных, но вызывающих затруднения даже у опытных людей, когда выбор значения зависит не столько от глубины лингвистических по-

<sup>27</sup> Как по-разному понимается подчас этот отрывок из Энгельса, демонстрирует такой пример. Если «Предметный указатель» видит в упомянутом здесь «современном социализме» научный коммунизм, то А. И. Володин, давая цитату в сокращении («Современный социализм... по своей теоретической форме... выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века»), показывает, что не склонен делать различие между «современным социализмом» и просто «социализмом», как предложили публикаторы русского перевода. См.: Володин А. И. Предшественники научного коммунизма / Утопический социализм: Крестоматия. М., 1982. С. 21.

<sup>28</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 279.

<sup>29</sup> См.: Там же. С. 295.

<sup>30</sup> См.: Там же. С. 5—7, 19, 199, 296.

<sup>31</sup> См.: Там же. С. 285, 287—288.

знаний, сколько от знакомства с сутью того, о чём идет речь. К их числу относится и слово «modern» — «современный», «новейший», «новый», «принадлежащий новому времени», «нынешний», «теперешний» и т. д. Ниже мы разберем отрывок из «Манифеста», принципиально важный для выяснения взглядов Маркса и Энгельса на раннюю историю коммунистических идей, могущий служить тому незаурядным примером<sup>32</sup>.

Итак, «современный социализм», которым открывается Введение к «Анти-Дюрингу», — это не синоним «научного коммунизма». «Современный социализм», восходящий к эпохе Морелли и Мабли? Может быть, «социализм нового времени»?

Обратившись к немецкому тексту «Анти-Дюринга», необходимо попытаться вникнуть в лексику Энгельса, приглядеться к тем словосочетаниям, где употреблено прилагательное «modern». Учитывая многозначность слова «modern», мы должны постараться ответить на несколько вопросов. Доказывают ли разбираемые тексты, что Энгельс полагал, будто именно «современный социализм» возник как дальнейшее развитие принципов французского Просвещения? И следует ли поэтому считать, основываясь на черновом наброске, будто Энгельс видел в Морелли и Мабли первых представителей «современного социализма»?

Коль скоро они положили начало именно «этому социализму», правомерно ли делать вывод, будто, по мысли Энгельса, существовал еще какой-то, более ранний социализм? Ведь если искать родоначальников такого «раннего утопического социализма XVI—XVII вв.» (мы употребляем выражение, весьма распространенное среди наших историков и философов), то естественно вспомнить Мора и Мюнцера!

Начнем с небольшого уточнения. При переводе чернового наброска вряд ли, не сделав оговорки, целесообразно использовать поясняющие слова (мы выделяем их курсивом) «первые представители *этого социализма*, Морелли и Мабли», тогда как в подлиннике стоит «его первые представители»<sup>33</sup>. Слова «этого социализма» могут зародить у читателя уверенность, что, по Энгельсу, до Морелли и Мабли существовал какой-то другой социализм, отличный от «этого социализма». В результате утрачивается важный оттенок мысли Энгельса: *первоначально*, т. е. с момента своего возникновения, «современный социализм» выступал лишь как дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими просветителями.

<sup>32</sup> См.: главу «Какую литературу породил Бабёф?».

<sup>33</sup> См.: немецкий текст, приведенный в начале главы.

Стоит, однако, взамен «современный социализм» поставить «нынешний» или «существующий ныне», — а ведь именно в нем отразились классовые противоположности «нынешнего общества»<sup>34</sup>, — как еще четче предстанет перед нами и продолжение фразы: «существующий ныне социализм» первоначально («anfänglich»), т. е. на первом этапе своей истории, выступал лишь как дальнейшее развитие принципов французского Просвещения. Из текста вовсе не вытекает, будто, по мнению Энгельса, существовал какой-то другой, «старый социализм», возникший до эпохи Просвещения<sup>35</sup>.

Разбираемое место «Анти-Дюринга» противится отождествлению «научного коммунизма» с упомянутым здесь «современным социализмом». Разумеется, «научный коммунизм» (или «научный социализм») — часть названного Энгельсом «современного социализма», пусть его главная, но не единственная часть. Начальным же этапом развития «современного социализма» был «социализм утопический».

Рассматривая вариант, возникший при подготовке к изданию «Развития социализма от утопии к науке», где в первой фразе<sup>36</sup> рядом с «современным социализмом» вместо «современного общества» появляется общество «нынешнее»<sup>37</sup>, мы не можем избавиться от впечатления, что для Энгельса выражение «der moderne Sozialismus» значило больше, чем просто «нынешний социализм». Именно «современный социализм» стоял на плечах Просвещения. А раз так, то конъектура вообще не нужна.

Но не противоречим ли мы самим себе? Не доказывает ли понятие «современный социализм», что до эпохи Просвещения существовал пусть другой, не «современный», однако все-таки социализм?

<sup>34</sup> В черновом варианте упомянуты: «der moderne Sozialismus» и классовые противоречия, наблюдавшиеся в данном обществе («in der vorgefundene Gesellschaft»). В чистовой редакции: «der moderne Sozialismus» и классовые противоречия, господствующие в «современном» или «нынешнем обществе» («in der modernen Gesellschaft»). Характерно, что, готовя текст для издания брошюры «Развитие социализма от утопии к науке», Энгельс внес совсем немного изменений. В том числе он, сохранив «der moderne Sozialismus», уже прямо писал о противоречиях, царящих в «нынешнем обществе» («in der heutigen Gesellschaft»). Это показывает, что в прилагательном «moderne» Энгельс видел синоним слова «heutig», а его первое значение именно «сегодняшний», «нынешний».

<sup>35</sup> Отметим, что встречающийся на других страницах «Анти-Дюринга» «der bisherrige Sozialismus» («прежний социализм») — это не какой-то «старый» или «ранний социализм» XVI—XVIII вв., а утопический социализм, возникший на заре XIX столетия.

<sup>36</sup> Marx K., Engels F. Werke. Bd. 19. S. 189.

<sup>37</sup> Непонятно, почему в русском переводе не учтена эта правка. Зачем употреблять дважды прилагательное «современный», когда сам автор стремился избежать повтора? Ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 189.

Разобраться в этом поможет нам, надо думать, большая внимательность к словоупотреблению Энгельса. Раскроем Введение к «Диалектике природы». Оно начинается так: «Современное исследование природы — единственное, которое привело к научному, систематическому, всестороннему развитию, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и по большей части безрезультатно исчезнувшим открытиям арабов, — современное исследование природы, как и вся новая история, ведет свое летоисчисление с той великой эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключившемуся с нами национальному несчастью, Реформацией, французы — Ренессансом, а итальянцы — Чинквеченто и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это — эпоха, начинаящаяся со второй половины XV века»<sup>38</sup>.

Именно в эту эпоху, суммирует ниже свои наблюдения Энгельс, начался первый период развития естествознания<sup>39</sup>. Отметим, что здесь говорится о первом периоде развития просто «естествознания», а не «современного естествознания». Иными словами, признание того факта, что «современное естествознание» (или «современное исследование природы») ведет свое начало с эпохи Возрождения, не предполагает, будто, по Энгельсу, в предшествующие века существовало пусть не «современное», но все-таки «естествознание». В эпоху Возрождения, повторим его слова, начался «первый период развития естествознания». До этого естествознания как такового не существовало, были лишь гениальные натурфилософские догадки и спорадические открытия.

Анализируя, в каком контексте Энгельс употреблял выражения «der moderne Sozialismus», «die moderne Naturforschung» и аналогичные им, мы придем к выводу, что, хотя именно «современный социализм» выступает сначала как дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями, это не предполагает существования какого-то более раннего социализма.

Заметим, что «старым социализмом» Энгельс в «Анти-Дюринге» называет не произведения утопистов далекого прошлого, а теории Оуэна, французских «рабочих коммунистов», Вейтлинга<sup>40</sup>.

Если пример с «современным естествознанием» из Введения к «Диалектике природы» правилен, такое сопоставление может

<sup>38</sup> Там же. Т. 20. С. 345.

<sup>39</sup> См.: Там же. С. 347.

<sup>40</sup> См.: Там же. Т. 20. С. 316, 207, 19; Anti-Dühring. S. 316, 205, 21—22.

оказаться плодотворным и в споре о том, следует ли учения XVI—XVIII вв., требовавшие обобществления имущества, рассматривать как первый этап истории утопического социализма или лишь как его предысторию.

Но ограничимся простой констатацией: «современный социализм» во Введении к «Анти-Дюрингу» не был синонимом «научного коммунизма». А коль скоро Энгельс, пусть в черновом наброске, размышляя о первых представителях «современного социализма», написал имена Морелли и Мабли, то мы вынуждены отказаться от давнего стереотипа и заново поставить вопрос. Кто же все-таки был основоположником современного социализма?

Нет нужды распространяться о том, как бы еще совсем недавно встретили безумца, попытавшегося, ссылаясь на черновик Энгельса, доказать, будто первыми представителями научного коммунизма были Морелли и Мабли, тогда как одним из теоретических источников марксизма являлся не утопический социализм XIX в., а идеи французского Просвещения!

Да и предположение, что в двух вариантах текста Энгельс вкладывал в одно и то же понятие «современный социализм» весьма различное содержание, кажется нам трудно доказуемым. Хотя разбираемый отрывок при подготовке к печати и был подвергнут существенной правке, у нас нет оснований полагать, будто за короткий промежуток времени между первоначальным наброском и окончательной редакцией (т. е. во второй половине 1876 г.) автор «Анти-Дюринга» в корне переосмыслил само понятие «современный социализм».

Не станем гадать, в силу каких причин составители «Предметного указателя», имевшие перед глазами обе редакции, никак не отреагировали на столь разящую несообразность. Естественно, что ошибка в «Предметном указателе» должна быть исправлена.

«Автор» досадной конъектуры, которая породила текстологическую неразбериху, скорее всего из убеждения, что «современный социализм» есть синоним «научного социализма», поставил просто «социализм» там, где в подлиннике было «он» (т. е. «современный социализм»)<sup>41</sup>. И никто из редакторов, несмотря

<sup>41</sup> Anti-Dühring. S. 396; Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в девяти томах. Т. 5. С. 631: «Как всякая новая теория, *современный социализм* (курсив наш.—А. Ш.) должен был исходить прежде всего из имеющегося идеиного материала, хотя корни его лежали в материальных фактах». Неточный перевод чернового наброска наконец исправлен, однако читатель вряд ли испытает удовлетворение, убедившись, что чистовая редакция (фактически тот же текст!) напечатана и здесь (С. 13, 303) в прежнем переводе—с неоправданной и неоговоренной конъектурой.

на многочисленные переиздания «Анти-Дюринга», не обратил внимания на то, что сделанная при переводе чистового варианта конъектура, находясь на одной странице с черновым наброском, порождала недоуменный вопрос относительно различного содержания самого понятия «современный социализм» в двух редакциях текста.

Однако мы очень бы упростили проблему, если бы ограничились пожеланием убрать ненужную конъектуру и впредь не печатать этот отрывок в заведомо неточном переводе. Главная сложность в ином: чем объяснить, что в черновом наброске Морелли и Мабли фигурировали как первые представители «современного социализма», а в чистовой редакции они этот статус утратили? Мы пытались как-то «сгладить» резкость действительного изменения<sup>42</sup>, но на этом поприще, признаться, успеха не достигли: смысл очевидной перемены яснее не стал. Пусть речь идет не о каком-либо умалении роли Морелли и Мабли в истории общественной мысли, а лишь об уточнении исходных формулировок, но это очень важное уточнение!

Работая над «Введением», Энгельс внес радикальную поправку: Морелли и Мабли, бывшие в черновике «первыми представителями современного социализма», теперь как создатели «уже прямо коммунистических теорий» превратились, стало быть, в «родоначальников «аскетического коммунизма» (если вообще не в его глашатаев эпохи Просвещения). Но почему?

Среди историков были случаи, когда упомянутое Энгельсом в переписке с Марксом желание выпустить немецкий перевод Морелли одним из первых<sup>43</sup> в замыслимой «Библиотеке выдающихся иностранных социалистов»<sup>44</sup>, использовалось для слишком обязывающих выводов. Мы тоже не избежали такого упрощения. Поэтому необходимо со всей откровенностью сказать, что эти издательские наметки 1845 г. нельзя класть в основу каких-либо важных построений.

Более того, сама мысль, возможно мимолетная, об исключительном месте Морелли и Мабли в истории «современного социализма», отраженная в черновом наброске, появилась у Энгельса, вероятней всего, как воспоминание о тех давних издательских

<sup>42</sup> См.: Штекли А. Э. Подготовительные работы к «Анти-Дюрингу»... С. 37—40.

<sup>43</sup> В. П. Волгин допустил ошибку, когда писал, будто Энгельс хотел публиковать Морелли «в первую очередь, раньше Фурье и Оуэна». См.: Волгин В. П. Коммунистическая теория Морелли // Морелли. Кодекс природы, или Истинный дух ее законов. М.; Л., 1947. С. 42.

<sup>44</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 24, 25, 27; Т. 42. С. 259; Т. 37. С. 97.

планах<sup>45</sup>. Однако это не должно создать у читателя впечатление, будто автор «Анти-Дюринга» в процессе работы над книгой остался на позициях тридцатилетней давности. Черновик показывает, с чего начал Энгельс свои размышления об истоках утопического социализма. Кроме того, он свидетельствует, что к началу работы над «Анти-Дюрингом» у Энгельса еще не было завершенной картины развития социалистической мысли.

Тем более необходимо проявлять осмотрительность при ссылках на высказывания Маркса и Энгельса о желательности перевода трудов Морелли и Мабли: это как-никак суждения *февраля—марта 1845 г.*, когда их взгляды на историю социализма не очень-то отличались от воззрений некоторых других «философских коммунистов». Еще предстоит выяснить в деталях, как постепенно выкристаллизировались те представления о различных видах социализма, которые нашли выражение на страницах «Коммунистического манифеста».

Очерк истории социалистической мысли, написанный для «Анти-Дюринга» и опубликованный затем также в виде отдельной брошюры, как это и ни странно звучит, среди многих наших обществоведов должного признания не получил, хотя ссылались на него буквально на каждом шагу. Бесчисленная армия преподавателей, требуя знания этих работ от студентов, читала курс социалистических учений вовсе не «по Энгельсу», а «по Каутскому»<sup>46</sup>. Большинство таких лекторов, возможно, и не предполагало, какой концепции они следуют: многократно переиздававшиеся труды академика В. П. Волгина, на долгие годы обеспечившего себе исключительное положение в этой отрасли исторической науки, и разнообразные пособия, так и отдельные исследования, где Томас Мор превозносился в качестве «родоначальника утопического социализма», способствовали укоренению стойкого стереотипа: «Элементы социализма», а то и сам «социализм» находили и в древнем мире, и в средние века, и в эпоху Реформа-

<sup>45</sup> Все, что касается этого неосуществленного замысла, заслуживает изучения. Давняя статья Ренаты Меркель не отражает современного состояния источников. См.: *Merkel R. Die von Marx und Engels geplante Bibliothek utopischer Sozialisten // Beiträge zur Geschichte.* 1966. N. 5. S. 860—867. С другой стороны, подготовители соответствующего тома МЭГА придали этому плану такое значение, с которым трудно согласиться: «Дабы распространять идеи научного коммунизма (курсив наш.—А. Ш.), Маркс и Энгельс хотели издать на немецком языке важнейшие произведения французского утопического социализма и коммунизма с подробными критическими комментариями» (*Marx K., Engels F. Gesamtausgabe (MEGA). Dritte Abteilung. Briefwechsel. B., 1975. Bd. 1. S. 25\**).

<sup>46</sup> См. главу «Непонятая „предыстория“».

ции<sup>47</sup>. Хотя после кончины В. П. Волгина вспыхивали время от времени дискуссии о предмете и методе изучения утопического социализма<sup>48</sup>, а также публиковались полемические работы, тем не менее некоторые важные положения Энгельса исследовательского внимания так и не встретили.

К ним принадлежит проблема «аскетического коммунизма»: разноголосица царила и относительно того, когда он возник (называют его обычно «ранним утопическим коммунизмом») — в начале XVI или в середине XVIII в., кто его представители, как долго он просуществовал. А главное, какова его роль в истории социалистических идей, был ли он ее предысторией, начальным этапом, «первой формой» или же вообще к собственно утопическому социализму и коммунизму причастность имеет лишь косвенную?

Отметим, что характеристика, данная Энгельсом «аскетическому коммунизму», употреблялась — к месту или не к месту — несравненно чаще, чем само понятие. Его настойчиво избегали, даже когда пользовались относящейся к нему цитатой — в усеченном естественно виде<sup>49</sup>.

Как бы высоко мы ни ценили в Энгельсе историка социалистических идей, все-таки следует признать, что его и Маркса интерес к этому предмету диктовался прежде всего ходом политической и идеологической борьбы. Не приходится подчеркивать, что и «Манифест Коммунистической партии», и «Анти-Дюринг» были созданы в решающие периоды пролетарского движения.

Когда псевдосоциалистические доктрины Дюринга, в том числе и его самонадеянные суждения о социалистах-утопистах, стали причинять реальный вред партии немецких рабочих, Энгельс был вынужден среди прочего противопоставить им свою и Маркса концепцию развития социализма.

Между «Коммунистическим манифестом» и «Анти-Дюрингом» лежало тридцатилетие, целая эпоха: революция 1848—1849 гг., раскол в Союзе коммунистов, наступление реакции, становление I Интернационала, развитие массового рабочего движения, Парижская Коммуна — менялись не только названия партий, менялись подчас и сами понятия. Пролетарское движение, тридцать лет назад называвшееся коммунистическим, имело теперь социалистическим<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> Волгин В. П. История социалистических идей. Ч. 1. С. 29—132; Застенкер Н. Е. Очерки истории социалистической мысли. С. 59—93.

<sup>48</sup> См., например: История общественной мысли: Современные проблемы. М., 1972. С. 431—474.

<sup>49</sup> Специалист, изучающий «Утопию», разумеется, не причислит ее к произведениям «аскетического коммунизма», но соблазн частично процитировать подходящее высказывание преодолеть бывало трудно.

<sup>50</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 366—367.

Исследователю, не учитывавшему этих изменений, происшедших в третьей четверти XIX в., грозит серьезная опасность: он может легко утратить представление об исторической обусловленности понятий и в любом призывае к «общности» узрит, если не сам «социализм», то его «элементы».

Итак, перед Энгельсом, делающим черновые наброски к «Анти-Дюрингу», сложная задача — написать очерк развития социализма. Казалось бы, в чем сложность? Ведь он — один из создателей «Коммунистического манифеста», где четко определены основные положения. Собственно социалистические и коммунистические системы — это системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д. Все они были созданы на заре XIX столетия. С них начинается история собственно утопического социализма и коммунизма. Предшествующие, да и современные им учения, проповедовавшие всеобщий аскетизм и грубую уравнительность, были по своему содержанию неизбежно реакционными<sup>51</sup>.

Пусть в этих суровых словах отразилась напряженная обстановка, царившая в пролетарском движении накануне создания «Манифеста», когда революционная нетерпеливость сторонников «совершенного равенства» сказывалась также в пренебрежении к «образованным» с их мудреными теориями. Однако в основе несогласия Маркса и Энгельса с призывами установить как можно скорее поголовное поравнение лежали глубокие причины. Грубый, неосмысливший коммунизм был еще далеко не изжит. Работая над «Экономическо-философскими рукописями 1844 года», Маркс уже видел угрозу, которую тот собой представлял<sup>52</sup>.

И пожалуй, ничто так хорошо не покажет нам истоки неприязни к нему творцов «Манифеста», как слова, взятые из тех же «Рукописей»: «Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся как власть зависеть представляет собой ту скрытую форму, которую принимает стяжательство и в которой оно себя лишь иным способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает — по крайней мере по отношению к более богатой частной собственности — зависеть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции».

Маркс дает нам здесь ключ к пониманию тех строк «Манифеста», которые появятся три с половиной — четыре года спустя, где речь пойдет о литературе, проповедующей всеобщий аскетизм и грубую уравнительность: «Грубый коммунизм есть лишь

<sup>51</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 455.

<sup>52</sup> См.: Там же. Т. 42. С. 114—117.

завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из представления о некоем минимуме. У него — определенная ограниченная мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее»<sup>53</sup>.

Вряд ли бы мы рискнули утверждать, что в то время к грубым коммунистам, Бабёфу и его последователям, Энгельс относился более терпимо, чем Маркс: трудно сравнивать строки из опубликованной статьи<sup>54</sup> с записями, сделанными для самого себя. Но одно несомненно: оба они, высоко ценя Морелли и Мабли, некогда полагали, что хронологический перечень авторов, произведения которых следует включить в задуманную «Библиотеку выдающихся иностранных социалистов», естественно начать именно с них. Особый интерес к Морелли, возможно, был связан с тем, что трудами Вильгарделя лишь недавно «Кодекс природы» был впервые издан под собственным именем его создателя<sup>55</sup> и стал пользоваться большой популярностью<sup>56</sup>.

Слова чернового наброска о Морелли и Мабли как «первых представителях» современного социализма мы можем объяснить, повторим, лишь тем, что Энгельс невольно вспомнил о планах несостоявшейся «Библиотеки», однако вскоре заметил несоответствие этих слов с изложенным в «Коммунистическом манифесте».

Черновик нуждался в правке — так у «французских аскетических коммунистов» первоначальной редакции, современников Сен-Симона, появились духовные предтечи в лице Морелли и Мабли, появилось и само понятие «аскетический коммунизм».

Мы прежде уже писали о том, что в представлении Энгельса, на наш взгляд, оба эти выдающиеся мыслителя эпохи Просвеще-

<sup>53</sup> Там же. С. 114—115.

<sup>54</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 527: «...коммунизм того времени сам по себе был весьма примитивным и поверхностным...» Подлинник позволяет несколько уточнить перевод и восстановить прилагательное «грубый» там, где оно утратилось: «тогдашний коммунизм сам по себе был весьма грубого и поверхностного сорта» (MEGA. 1/3. S. 496: «...the then communism itself was of a very rough and superficial kind...»).

<sup>55</sup> Вопреки распространенному у нас мнению первое такое переиздание «Кодекса природы» было осуществлено не в 1841 г., а годом раньше. Здесь ссылки на французский текст даются по: Morelly. *Code de la Nature: Réimpression complète, augmentée des fragments importants de la «Basiliade»*, avec l'analyse raisonnée du système social de Morelly / Par François Villegardelle. Р., 1841.

<sup>56</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 531—532.

ния положили начало «аскетическому коммунизму». Но позвольте себе высказать некоторые дополнительные наблюдения. Предлагая вместо «аскетически суровый, спартанский коммунизм» переводить «аскетический, опиравшийся на Спарту коммунизм», мы стремились как можно точнее передать смысл подлинника. Большой интерес Мабли к Спарте очевиден, но относительно Морелли необходимы уточнения. Он действительно упоминал Ликурга и спартанцев, но совсем не как пример для подражания. Идеальное государство, описанное в «Кодексе природы», со Спартой все-таки имеет мало общего. Там нет ни военного воспитания, ни военной службы, ни особой суровости нравов. Да и с аскетизмом не лучше. Трудно назвать аскетическим образ жизни людей, которые видят смысл своего существования в счастье, понимаемом как беспрепятственное удовлетворение всех естественных желаний<sup>57</sup>. Ограничения, налагаемые на граждан, как из моральных установок, так и из экономических соображений<sup>58</sup>, придают, конечно же, обществу некоторые аскетические черты, но не делают их доминирующими.

Так что же, Энгельс, выходит, излишне сгустил краски? Объяснение, вероятнее всего, в другом: теории Морелли и Мабли лишь положили начало «аскетическому коммунизму», Бабёф и его последователи развили и укоренили его. Призывы к умеренности, еще достаточно мягкие у просветителей, превратились среди бабувистов в непреложные требования: «республика равных» поражает одержимостью насилием, своим возведенным в закон свирепым аскетизмом, спартанско-палочной дисциплиной и полным пренебрежением к человеческой личности<sup>59</sup>.

Если давно высказанный нами тезис о том, что «аскетический коммунизм» включает в себя и учения бабувистов, правомерен, тогда удается вполне удовлетворительно объяснить еще одно загадочное исправление, сделанное Энгельсом. Готовя текст «Развития социализма от утопии к науке», он пополнил разбираемую фразу несколькими словами (мы выделяем их здесь курсивом): «Аскетически суровый, спартанский коммунизм, запрещавший всякое наслаждение жизнью, был первой формой проявления нового учения»<sup>60</sup>. Сравнив эту вставку с предыдущим дополнением, когда вместо «движение Томаса Мюнцера» появилось «движение анабаптистов и Томаса Мюнцера», и зная мнение Энгельса о плебейском и пролетарском аскетизме<sup>61</sup>, можно было бы решить, что как раз «добавленные» анабаптисты явились причиной

<sup>57</sup> Морелли. Указ. соч. С. 123; Morelly. Op. cit. P. 96.

<sup>58</sup> Морелли. Указ. соч. С. 205—206, 216; Morelly. Op. cit. P. 161, 154.

<sup>59</sup> См.: Буонарроти Ф. Указ. соч. Т. II. С. 303—321.

<sup>60</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 191.

<sup>61</sup> См.: Там же. Т. 7. С. 377—378.

второй вставки. Однако это предположение наталкивается на непреодолимые трудности<sup>62</sup>. Вероятней иное: именно возвращение мысли Энгельса к «французским аскетическим коммунистам» XIX в. с их ставшей анахронизмом проповедью плебейско-пролетарского аскетизма и подсказало необходимость нового дополнения: «Аскетический коммунизм.., запрещавший всякое наслаждение жизнью...».

Этот тезис можно подкрепить еще одним, хотя и косвенным доводом, который, однако, очень хорошо показывает, какие чувства вызывали идеи Бабёфа у молодых «философских коммунистов» Германии. Мозес Гесс, в ту пору один из ближайших единомышленников Маркса и Энгельса, отметив, что в лице Бабёфа коммунизм обрел «лишь свою первую, грубейшую форму» («Gestalt»)<sup>63</sup>, писал: «Эта первая форма коммунизма вышла непосредственно из санкюлотизма. Равенство, которое имел в виду Бабёф, было поэтому равенством санкюлотов<sup>64</sup>, равенством бедности. Богатство, роскошь, искусства и науки должны были быть упразднены, города — разрушены; руссоистское представление о «естественном состоянии» было призраком, который бродил тогда в умах. Великое поприще индустрии осталось для этого коммунизма еще «terra incognita». Это был абстрактнейший коммунизм, равенство должно было быть достигнуто путем отрицания, посредством умерщвления всякой радости (Lust). Это был монашеский, христианский коммунизм, но без загробной жизни, без надежды на лучшее будущее. Лишь естественные потребности признавались как действительные, но, конечно, тоже только из нужды. Если бы можно было представить себе человека лишенным тела, то отвергли бы и тело. Но поскольку сделать этого нельзя, позволили сохранить земледелие как средство, служащее удовлетворению телесных потребностей. Эта самая убогая форма («ärmste Gestalt») коммунизма не могла продлить свою жизнь в теории, ибо сама отрицала всякую науку; она требовала немедленного практического осуществления. Однако действительность достигла уже значительно более высокой ступени [развития], чем это естественное состояние, посему он (такой коммунизм.—A. Ш.) также потерпел поражение»<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> См. главу «Что за равенство без привилегий?».

<sup>63</sup> «Gestalt» — «форма», «облик», «вид». Мы отмечаем это, чтобы предупредить читателя: «первая форма» коммунизма («Gestalt») вовсе не синоним «первой формы проявления» социализма.

<sup>64</sup> Интересно, что в новой литературе все чаще пишут о расплывчатом характере слова «санкюлот». См., например: Соболь А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966.

<sup>65</sup> Heß M. Philosophische und sozialistische Schriften, 1837—1850. B., 1980. S. 205.

Гесс и в дальнейшем высказывался против грубого коммунизма, сводящего все к материальным потребностям, когда равенство понимается лишь как поголовное поравнение. Гибельность подобных начинаний он видел в том, что такого рода «нивелирование» ввело бы монашеский (или лучше сказать — монастырский) коммунизм, а люди, лишенные возможности жить и работать так, как им хочется, вместе со свободой утрачивают не только инициативу, но и жизнерадостность<sup>66</sup>. Тут невольно приходит на ум дополнение, внесенное Энгельсом в характеристику «аскетического коммунизма» как «запрещавшего всякое наслаждение жизнью».

Такое, выходящее за пределы XVIII в., понимание «аскетического коммунизма» прекрасно согласовывается с двумя первыми абзацами третьей главы III раздела «Манифеста», названной «Критически-утопический социализм и коммунизм»<sup>67</sup>. Почему авторы «Манифеста» не захотели говорить здесь о литературе, выражавшей требования пролетариата, вроде сочинений Бабёфа? Помня, сколь напряженными были отношения Маркса и Энгельса со многими приверженцами примитивного «рабочего» и «портняжного коммунизма», опиравшегося на воспоминания о Бабёфе, нетрудно предположить, что это «нежелание говорить» о подобного рода сочинениях объяснялось тактическими соображениями.

Однако такая догадка вряд ли правильна: суть дела не в «нежелании говорить» (свое суждение о революционной литературе, сопровождавшей первые движения пролетариата, они как раз с предельной откровенностью высказали, назвав ее неизбежно реакционной по своему содержанию), а в том, что здесь, в главе «Критически-утопический социализм и коммунизм», они, авторы «Манифеста», не говорят о такого рода литературе, поскольку тут это неуместно, глава посвящена другой теме. Иными словами, революционная литература (сочинения Бабёфа и т. д.), проповедовавшая всеобщий аскетизм и грубую уравнительность, к критически-утопическому коммунизму не относится.

Тогда что же она все-таки собой являет? И хотя в дальнейшем суровость оценки, данная в «Манифесте», несколько смягчалась, вопрос по-прежнему оставался открытым. Упомянув в черновом наброске о Морелли и Мабли как первых представителях современного социализма, Энгельс, по всей вероятности, вскоре заметил, что это вступает в противоречие с «Манифестом». Чистовая редакция была дополнена вставкой об «аскетическом коммунизме».

<sup>66</sup> Ibid. S. 214, 224.

<sup>67</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 455.

Сделал это Энгельс, разумеется, не только из стремления в своем очерке истории социализма держаться «Манифеста», но и из желания прояснить вопрос, остававшийся без ответа: куда отнести сочинения Бабёфа и его последователей, в которых проповедовался всеобщей аскетизм и грубая уравнительность? Связь между понятием «аскетический коммунизм» и соответствующими строками «Манифеста», на наш взгляд, очевидна. А это служит еще одним доводом в пользу выдвинутого нами тезиса: «аскетический коммунизм», основанный на теориях Морелли и Мабли, ими вовсе не исчерпывается: он существовал и до того, как появились первые труды «основателей социализма», Сен-Симона, Фурье и Оуэна, и тогда, когда критически-утопический социализм переживал свой расцвет. Отношение «аскетического коммунизма» к последнему определено Энгельсом весьма четко: «аскетический коммунизм» был первой формой проявления нового учения. Но никакого социализма до возникновения систем Сен-Симона, Фурье и Оуэна мир не знал: им предшествовал лишь «аскетический коммунизм», но не в качестве «первой формы» социализма, а лишь в качестве его «первой формы проявления»<sup>68</sup>.

Говоря о «первой форме проявления», надо иметь в виду не одну лишь хронологическую последовательность: «первая форма проявления» может прекрасно развиваться наряду с «подлинной формой», а может, случается, ее и пережить. Существование систем Сен-Симона и Фурье не помешало «возрождению» идей бабувистов. Подобные примеры мы находим не только на французской земле. В Китае Мао Цзэдуна обрела для себя благодатную почву «первая форма проявления» социализма, да и в Париже кое-кто из «новых левых», презрев полтора века развития социалистической мысли, вернулся к пресловутым «истокам».

Итак, коль скоро в черновом наброске под «французскими аскетическими коммунистами» Энгельс подразумевал сторонников стихийного, грубого «рабочего коммунизма», возникшего под влиянием Бабёфа и его последователей, которые взросли на доктринах Морелли и Мабли, то правомерен вывод, что именно

<sup>68</sup> Стоит вспомнить слова Маркса из «Экономико-философских рукописей 1844 года»: «...первое положительное упразднение частной собственности, грубый коммунизм, есть только *форма проявления* гнусности частной собственности, желающей утвердить себя в качестве *положительной общности*» (Там же. Т. 42. С. 116). Маркс и Энгельс неоднократно указывали на необходимость делать различие между первой эмпирической формой проявления чего-либо и самой основой (см.: Там же. Т. 20. С. 208; Т. 23. С. 157, 414). Форма проявления, отмечал Маркс, иногда скрывает истинное отношение и создает «видимость отношения прямо противоположного» (Там же. Т. 23. С. 414).

последние, по Энгельсу, были в конечном итоге теми, кто философски обосновал необходимость упразднения всех классовых различий, создав «уже прямо коммунистические теории».

Как мы давно доказываем, Энгельс не принимал «расширенного» толкования социализма. Пестрый набор различных учений, который Каутский выдавал за «историю социализма», он расценивал лишь как его «предысторию».

Но чем объяснить «изменение статуса» Морелли и Мабли в чистовой редакции? Речь идет не о каком-либо умалении их роли в истории общественной мысли, а об уточнении исходных формулировок. Если возникновение утопического коммунизма и социализма связано с появлением на исторической сцене пролетариата в результате промышленного переворота, то предшествующие коммунистические представления, уходящие своими корнями в более раннюю эпоху, нуждаются в четком теоретическом осмыслении. Это еще не утопический коммунизм в буквальном смысле слова. Энгельс не хочет называть теории Морелли и Мабли «грубым коммунизмом», ибо «грубый коммунизм» — прежде всего идеи Бабёфа и, в еще большей мере, бабувистов, их «грубость» — присущее им реакционное содержание, на котором лежит печать анахронизма. В эпоху, когда существует уже крупное машинное производство, призывы к всеобщему аскетизму и грубой уравнительности — дань, зачастую не осознанная, прошлому<sup>69</sup>.

Энгельс соблюдает принцип историзма: если «грубые коммунисты» 40-х годов XIX столетия во многом реакционны, это не значит, что Морелли и Мабли, на авторитет которых они нередко ссылались, еще «грубее». Напротив, Энгельс видит в их теориях примечательное достижение, одну из вершин социальной мысли века Просвещения: «Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение каждой отдельной личности; доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий»<sup>70</sup>.

Мы сказали бы очень мало, если бы в идеях Морелли и Мабли увидели лишь основу для выработки плебейско-пролетарского представления о равенстве как сути «уравнительного коммунизма». Влияние их было значительно шире и многообразней. Не исключено, к примеру, что своим «притяжением по страсти» Фурье был обязан «Кодексу природы».

Появление теорий Морелли и Мабли знаменовало собой скачок в развитии общественной мысли. Главное отличие

<sup>69</sup> См.: Там же. Т. 7. С. 377—378.

<sup>70</sup> Там же. Т. 20. С. 18.

«аскетического коммунизма» от других, даже самых радикальных, учений об общности имуществ в том, что лишь теперь призыв к упразднению всех классовых различий избавляется от своей сугубо религиозной формы, от аргументации, всецело опиравшейся на первоначальное христианство<sup>71</sup>. Разумеется, это не означало решительного отказа от религии или от ссылок на евангельские наставления. Необходимость равенства при строем «общности» впервые обосновывается доводами рационалистической моральной философии. И делается это с таким блеском, что Морелли и Мабли по праву занимают теперь почетное место среди писателей Просвещения.

Их идеи оказали сильное влияние на Бабёфа и его последователей, а также на формирование французского и немецкого «рабочего коммунизма», на широкую и успешную пропаганду столь привлекательных тогда принципов «общности». «Аскетический коммунизм» был *первой формой проявления социализма*, нового учения, опиравшегося на идеи французского Просвещения. Именно на идеи Просвещения, а не на социальные доктрины гуманистов Возрождения или радикальных деятелей Реформации. Морелли и Мабли заложили теоретический фундамент «аскетического коммунизма». Однако роль его в истории была двойственной. Если при своем появлении на свет «аскетический коммунизм» воплотил в себе и развил многие достижения просветителей, то в дальнейшем под пером Бабёфа и его нетерпеливых приверженцев он, все больше отставая от жизни, отчетливей и отчетливей обнаруживал за революционной фразой свое реакционное содержание. «Аскетический коммунизм», утратив свои философские корни и связь с породившей его культурой Просвещения, к концу 30-х — началу 40-х годов XIX столетия превратился в «грубый, неосмысленный коммунизм».

Нам уже приходилось немало ломать голову над тем, к кому именно относить слова, характеризующие «аскетический коммунизм». Но выстраивая в один ряд Томаса Мора, ана뱁тистов, Мюнцера, Кампанеллу, левеллеров, Морелли, Мабли, Бабёфа, мы вольно или невольно отступаем от сказанного Энгельсом: он недаром различал «самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата», и происходившие наряду с ними соответствующие *теоретические выступления*<sup>72</sup>. Если мы примем такое уточнение, то число последних ограничится «утопическими изображениями идеального общественного строя» (в данном слу-

<sup>71</sup> См.: Там же. С. 108.

<sup>72</sup> См.: Там же. С. 17—18.

чае — «Утопией» и «Городом Солнца») и «уже прямо коммунистическими теориями» Морелли и Мабли. Под определение «аскетический коммунизм» ни Томас Мор, ни Кампанелла не подходят: и дело здесь не столько в «антиаскетическом» мировощении<sup>73</sup>, сколько в сохранении привилегий у утопистов и торжестве принципа иерархии у соляриев<sup>74</sup>. Следовательно, учения Томаса Мора и Кампанеллы в отличие от теорий Морелли и Мабли к «уже прямо коммунистическим» причислены быть не могут.

Внимание, уделенное нами «аскетическому коммунизму», продиктовано прежде всего тем, что правильное его осмысление позволяет лучше увидеть проведенную в чистовой редакции Введения к «Анти-Дюрингу» разграничительную линию между собственно социализмом и первой формой его проявления.

Кроме того, само возникновение этого отрывка, родившегося из краткого упоминания о «французских аскетических коммунистах», современниках Сен-Симона, служит — что не менее важно — хорошим, на наш взгляд, объяснением причины, в силу которой был изменен черновой вариант: текст наброска надлежало привести в соответствие с теми абзацами «Коммунистического манифеста», где осуждалась реакционная по своему содержанию проповедь всеобщего аскетизма и грубой уравнительности. Со своей стороны, появление такого разъясняющего пассажа в чистовой редакции отлично дополняло соответствующие абзацы «Манифеста» и способствовало их правильному пониманию.

Энгельс отграничивал «аскетический коммунизм» от собственно утопического коммунизма. Пусть между возникновением первого и созданием второго лежало целых полстолетия, но ведь и тот, и другой выступали за «общность», обличали разрушающую роль собственности и требовали ее отмены. Не слишком ли зыбка здесь грань, чтобы читатель смог увидеть принципиальное их различие?

Но ориентир существует вполне надежный. Хотя определенная трудность, конечно, сохраняется, и связано это с этимологией самого понятия: слово «Kommunismus» употребляли нередко как синоним слова «communaute»<sup>75</sup>. В XIX в. считалось вполне естественным, если речь шла о «коммунизме Платона» или «коммунизме ранних христиан». Да и сейчас, когда, к примеру, Э. Суртц, большой знаток творчества Мора, пишет «communism of

<sup>73</sup> См.: Кудрявцев О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». С. 25—62.

<sup>74</sup> См.: Штекли А. Э. «Город Солнца»: утопия и наука. С. 208—224 и др.

<sup>75</sup> Müller H. Ursprung und Geschichte des Wortes «Sozialismus» und seiner Verwandten. Hannover, 1967. S. 108—111.

women», то сие отнюдь не «коммунизм женщин», не какое-то особое, женское, представление о коммунизме, а «общность женщин»<sup>76</sup> (или как у нас принято переводить «общность жен»).

Однако и сделанная оговорка не очень-то выручает. Если Морелли и Мабли проповедовали «аскетический коммунизм», а Оуэн, к примеру, уже собственно коммунизм (с непременным у нас добавлением «утопический»), то, согласимся, разграничение может здесь казаться искусственным, и куда легче рассуждать о всех этих мыслителях просто как об «утопических коммунистах» или «утопических социалистах».

Но от такой «простоты» ясности не прибавится. Надо сразу подчеркнуть, что Маркс и Энгельс, говоря о социализме и коммунизме, имели в виду не какой-то конгломерат идей, а прежде всего реальное, исторически уже существовавшее движение, совершенно определенный этап классовой борьбы в наиболее экономически развитых странах Европы. «Социалистическая и коммунистическая литература Франции,— сказано в «Манифесте»,— возникшая под гнетом господствующей буржуазии», является «литературным выражением борьбы против этого господства»<sup>77</sup>.

Исторический рубеж определен: говорится не вообще о борьбе против буржуазии, а о борьбе против гнета, установившегося в результате завоеванного ею господства. Нельзя забывать и четко сформулированную мысль: коммунизм как учение не является отрицанием собственности вообще, а отрицанием буржуазной частной собственности<sup>78</sup>. Посему и речи Платона, и филиппики ряда отцов церкви, и проповеди средневековых еретиков, подобно рассуждениям Томаса Мора, Кампанеллы, Уинстэнли, Морелли и Мабли,— это все еще не коммунизм в буквальном смысле слова.

Завершая главу, отметим, что «аскетический коммунизм» прочно занял свое место в понятийном аппарате Энгельса-историка: при переизданиях и переводах обеих работ, ни само понятие, ни слова, характеризующие его суть, никакой дальнейшей правке не подверглись. Правда, позже у Энгельса появился термин «Gleichheitskomunismus», который, на наш взгляд, неудачно передают как «уравнительный коммунизм»<sup>79</sup>. Сразу приходят на ум слова «Манифеста» о революционной литературе, проповедовавшей всеобщий аскетизм и грубую *уравнительность* («*grohe Gleichmacherei*»). Ассоциация была бы бесспорной, да мешают сомнения в точности широко распространенного перевода:

<sup>76</sup> Surtz E. Prais of Pleasure. Р. 191.

<sup>77</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 451.

<sup>78</sup> См.: Там же. С. 438.

<sup>79</sup> См.: Там же. Т. 21. С. 215—216.

«Gleichheitskommunismus» так же отличается от «Gleichmacherei», как просто «равенство» от «уравниловки».

В свое время Д. Б. Рязанов предлагал передавать «Gleichheitskommunismus» как «коммунизм равенства»<sup>80</sup>, но услышан не был. Нельзя ради некой стилистической гладкости жертвовать смыслом понятия: сторонники этого «коммунизма равенства», по Энгельсу, отличались не тем, что хотели подвергнуть всех поголовному нивелированию, постричь под одну гребенку (хотя, конечно, грешили излишней охотой к «регламентации»), а тем, что в требовании общности имуществ видели необходимое следствие изначального равенства людей.

Вряд ли надо специально подчеркивать, сколь плодотворным может оказаться конкретное, сопоставительное изучение «аскетического коммунизма» и «коммунизма равенства». Представляют ли они собой в идейном отношении разные фазы одного и того же явления или расходятся по существу? Давно пора поставить под сомнение удачность самого понятия «грубоуравнительный коммунизм», мелькавшего на страницах наших изданий,— этой странной помеси «грубого коммунизма» с коммунизмом «уравнительным». Коль скоро здесь налицо некий «теоретический вклад», то стоит поразмыслить, в какой степени согласуется он с приводимыми аргументами и принципом историзма.

<sup>80</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Коммунистический манифест / С введ. и примеч. Д. Рязанова. М.; Л., 1930. С. 8.

# КАКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПОРОДИЛ БАБЁФ?

\*

Казалось бы, историки, философы и экономисты, посвятившие свои труды изучению утопического социализма как одного из источников марксизма, постоянно ссылаясь на «Коммунистический манифест», должны были бы уже в силу поставленной задачи самым тщательным образом исследовать соответствующие тексты и в случае любой обнаруженной трудности при их истолковании по крайней мере это отметить и задуматься над адекватностью перевода. Но такая позиция долгие годы не была характерна для весьма многих обществоведов. Мы не станем объяснять подобное положение лишь «объективными причинами» и неписаной необходимостью верить в непогрешимость «официального» перевода — в его последней редакции.

Перед историком, стремящимся выяснить подлинное отношение творцов «Манифеста» к революционной проповеди всеобщего аскетизма и грубой уравнительности на разных этапах ее развития или, иначе говоря, к кругу явлений, который у нас не очень удачно окрестили «грубоуравнительным коммунизмом», возникает непростая текстологическая задача — как с предельной точностью осмыслить вступительные строки третьей главы III раздела «Коммунистического манифеста». Ибо здесь, на наш взгляд, разгадка того, как создатели «Манифеста» представляли себе пролог критически-утопического социализма и коммунизма; тут же ответ на вопрос, как воспринимали они революционную литературу, сопровождавшую первые движения еще незрелого пролетариата.

Идея равенства, как известно, сыграла важную роль в становлении утопического коммунизма<sup>1</sup>. Хотя этот тезис и не требует доказательств, только конкретные исторические изыскания могут в полной мере выявить реальное содержание тех или иных призывов к равенству. А были среди них и такие (вроде проповеди грубой уравнительности), которые далеко не всегда содействовали консолидации трудящихся. С развитием же крупного ма-

<sup>1</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 18, 104—109; Т. 21. С. 215—216.

шинного производства, когда появились материальные предпосылки для освобождения пролетариата, требование поголовного и примитивного «полнейшего поравнения» приобрело реакционные черты.

Для создателей «Манифеста Коммунистической партии» это было совершенно ясно, но некоторые его переводчики и комментаторы наткнулись здесь на изрядную трудность. Кому непосредственно обращены осуждающие слова «Манифеста» — прежде всего к современникам или в равной степени и к весьма далеким предтечам?

От решения этого вопроса зависит многое — и периодизация истории утопического коммунизма, и оценка его ранних, грубоуравнительных тенденций. В наши дни люди, даже начисто лишенные чувства историзма, охотно рассуждают о гибельности «уравниловки». В славных мыслителях давних эпох, в Томаса Мора или Кампанеллу, бросают камень с такой же легкостью, как в какого-нибудь ограниченного идеологического служаку административно-командной системы. И впрямь, если во всех великих революциях нового времени проповедники аскетизма и грубой уравнительности стояли по сути на реакционных позициях, то почему заодно с Бабёфом не предать анафеме и Томаса Мюнцера, и левеллеров? Историки-то ведь молчат. А соответствующая цитата из «Манифеста» подкрепит, в случае надобности, ревностность публициста.

Сейчас мы остановимся лишь на одной проблеме и попытаемся определить, относится ли суровая критика Марксом и Энгельсом революционной литературы, проповедовавшей «всеобщий аскетизм и грубую уравнительность», ко всему огромному периоду — от начала XVI в. до середины XIX — или только к последнему полустолетию (с Французской революции до конца 40-х годов XIX в.).

Два начальных абзаца третьей главы («Критически-утопический социализм и коммунизм») III раздела «Манифеста» гласят: «Мы не говорим здесь о той литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата (сочинения Бабёфа и т. д.).

Первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопровождающая эти первые движения пролетариата, по своему содержанию неизбежно является реакционной.

Она проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнительность»<sup>2</sup>.

Что имеется в виду, когда речь заходит обо «всех великих революциях нового времени»? О двух спору нет: Великая английская и Великая французская революции. Вспомним, что в своих заметках Энгельс называл Реформацию и Крестьянскую войну в Германии в качестве ее критического эпизода «буржуазной революцией № 1»<sup>3</sup>. Теперь сопоставим процитированный отрывок из «Манифеста» с Введением Энгельса к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке» (1892), где говорится о трех великих восстаниях буржуазии. В немецком варианте сказано еще яснее: «Во всех трех великих буржуазных революциях боевой армией являются крестьяне»<sup>4</sup>. Этот текст был особенно по душе ряду ученых, положивших его в основу всей, по существу, периодизации истории<sup>5</sup>.

Не будем говорить здесь об уязвимости самого метода, если высказыванием 1892 г. пытаться прояснить текст 1848 г. То, что Маркс и Энгельс всегда требовали от исследователей прошлого — чувство историзма, — должно неукоснительно присутствовать и при изучении их собственных произведений.

А это заставляет взглянуть иначе на ясный, казалось бы, вопрос. Слова о «великих революциях нового времени» нельзя относить ко всему огромному периоду — от начала XVI в. до середины XIX. Ибо, когда создавался «Манифест», ни Маркс, ни Энгельс не расценивали Реформацию и Крестьянскую войну в Германии как первую буржуазную революцию. Еще до конца сентября 1847 г., т. е. месяца за два до начала работы над «Манифестом», Энгельс писал: «На протяжении последних шестисот лет города в такой мере служили очагами всех прогрессивных движений, что в своих самостоятельных демократических движениях сельское население (Уот Тайлер, Джек Кэд, Жакерия, Крестьянская война), во-первых, всякий раз держалось реакционно, а во-вторых, всякий раз подавлялось»<sup>6</sup>. Представление о Крестьянской войне в Германии как революции появилось у Энгельса под влиянием революционных событий 1848—1849 гг. и изучения книги Циммермана<sup>7</sup>, в период, когда сам он обдумывал и писал свою «Крестьянскую войну в Германии» — приблизительно два с половиной года спустя после создания «Манифеста». А тезис

<sup>2</sup> Там же. Т. 4. С. 455.

<sup>3</sup> См.: Там же. Т. 21. С. 417, 314.

<sup>4</sup> Там же. Т. 22. С. 308.

<sup>5</sup> Laube A., Steinmetz M., Vogler G. Illustrierte Geschichte der deutschen fröhburgerlichen Revolution. В., 1982.

<sup>6</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 272.

<sup>7</sup> См.: Там же. Т. 7. С. 436—437; Т. 16. С. 412—413.

о Реформации и Крестьянской войне как «буржуазной революции № 1» был сформулирован значительно позже, вероятно, в конце 1884 г.<sup>8</sup>

Если не вызывает сомнений, что Крестьянская война в Германии не имеет отношения к словам «Манифеста» о «великих революциях нового времени», то надо ли вообще оставлять XVI век вне нашего рассмотрения? Ведь Нидерландская буржуазная революция<sup>9</sup> произошла, как известно, в конце XVI столетия. Верно. Но создатели «Манифеста» на нее так еще не смотрели, они расценивали ее как «восстание нидерландцев против Испании». Сошлемся на статью Маркса «Буржуазия и контрреволюция», написанную в декабре 1848 г., где высказаны важные мысли об Английской революции XVII в. и Французской XVIII в. «В 1648 году,— отмечал Маркс,— буржуазия в союзе с новым дворянством боролась против монархии, против феодального дворянства и против господствующей церкви.

В 1789 году буржуазия в союзе с народом боролась против монархии, дворянства и господствующей церкви.

Революция 1789 года имела своим прообразом, по крайней мере, в Европе только революцию 1648 года, а революция 1648 года — только восстание нидерландцев против Испании. Каждая из этих революций ушла на столетие вперед по сравнению со своими прообразами не только по времени, но и своему содержанию<sup>10</sup>.

И далее Маркс говорит о европейском масштабе этих обеих революций<sup>11</sup>. Не следует ли, однако, искать еще одну великую революцию, «не достающую» нам для понимания текста, в бурных событиях конца XVIII в., потрясших Северную Америку? Но создатели «Манифеста» не расценивали их как великую Американскую буржуазную революцию, а писали чаще об американской Войне за независимость<sup>12</sup>.

Из приведенных высказываний видно, что под «великими революциями» Маркс и Энгельс тогда могли бы иметь в виду лишь две революции — Английскую 1648 г. и Французскую 1789 г. Но если так, то мы оказываемся в затруднении: в тексте

<sup>8</sup> См.: Там же. Т. 21. С. 417, 621.

<sup>9</sup> См.: Чистозонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; *Он же*. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в.; *Он же*. Генезис капитализма: Проблемы методологии. М., 1985.

<sup>10</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 114.

<sup>11</sup> См.: Там же. С. 115.

<sup>12</sup> Хотя понятие «американская революция» в их трудах тоже встречается. См., например: Там же. Т. 4. С. 270; Т. 20. С. 172; Т. 21. С. 210; Т. 45. С. 8, 67. Но, насколько нам известно, великой революцией они ее не называли, несмотря на большое значение, ей придаваемое. См.: Там же. Т. 23. С. 9.

говорится о «всех великих революциях нового времени» (курсив наш.—*A. Ш.*). Не «обеих», не «двух», а именно «всех».

Кроме того, если действительно подразумевались лишь «великие революции» начиная с Английской, почему в качестве образца литературы, выражавшей требования пролетариата, упомянуты единственно сочинения Бабёфа, упомянуты в очень характерной редакции: «сочинения Бабёфа и т. д. (курсив наш.—*A. Ш.*). Казалось бы, коль речь идет лишь о «великих революциях» и сочинения, приведенные для примера, сопровождены словами «и т. д.», указывающими на продолжение, то начинать логичней было бы с какого-нибудь автора времен Английской революции, а не наоборот. Пустяшный недосмотр, на который не стоит и обращать внимание? Но ведь мы имеем дело с текстом «Коммунистического манифеста», где продумана каждая деталь. «Сочинения Бабёфа и т. д.». Бабёф не завершает предполагаемую череду авторов, проповедовавших всеобщий аскетизм и грубую уравнительность, что было бы естественно, если бы речь шла о великих революциях, а *открывает его*. Текст подталкивает читателя к мысли, что за сочинениями Бабёфа следовали родственные им по духу произведения. И только ли в эпоху Великой французской революции?

Нам остается признать, что некоторые неясности, с коими мы сталкиваемся, разбирая этот отрывок из «Коммунистического манифеста», проистекают, вероятно, от не совсем адекватного осмысления подлинника. Но не станем особенно сетовать на переводчиков; интересующая нас фраза может быть переведена по-разному.

«Wir reden hier nicht von der Literatur, die in allen großen modernen Revolutionen die Forderungen des Proletariats aussprach. (Schriften Babeufs usw.)»<sup>13</sup>

Не останавливаясь специально на истории русских переводов «Манифеста», отметим лишь, что большее внимание к переводческой традиции полезно для лучшего уяснения текста или, по крайней мере, как увидим ниже, для четкого осознания трудностей, с которыми сталкиваются здесь переводчики и комментаторы.

Слова «сочинения Бабёфа и т. д.», несмотря на предшествующее им упоминание о «всех великих революциях нового времени», настойчиво заставляют думать, что как раз сочинения Бабёфа выступали в авангарде литературы, выражавшей еще незрелые пролетарские требования.

<sup>13</sup> Ссылки на немецкий текст «Манифеста» даются по воспроизведению его в сборнике документов: *Der Bund der Kommunisten*. Bd. I. S. 699 (далее: *Manifest*).

«Первые попытки пролетариата,— мы вынуждены повторить часть уже приведенного отрывка,— непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи»<sup>14</sup>. Два названных фактора и определили характер революционной литературы, сопровождавшей подобные движения пролетариата.

В следующем абзаце «Манифеста» сразу же названы «собственно социалистические и коммунистические системы, системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д.»<sup>15</sup>, и сказано, что они возникают в первый неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией. Неразвитая форма классовой борьбы, говорится ниже, и собственное положение творцов таких систем приводит к тому, что они, отвергая революционное действие, уповают на всепобеждающую привлекательность своих социальных проектов.

«Это фантастическое описание будущего общества,— вновь отмечают авторы «Манифеста»,— возникает в то время, когда пролетариат еще находится в очень неразвитом состоянии и представляет себе поэтому свое собственное положение еще фантастически, оно возникает из первого исполненного предчувствий порыва пролетариата к всеобщему преобразованию общества»<sup>16</sup>.

Начиная с упоминания о социалистических и коммунистических в буквальном смысле слова — системах Сен-Симона, Фурье, Оуэна, речь идет уже не о некой поре «всех великих революций нового времени», а о первой половине XIX столетия. И здесь трижды отмечается неразвитость пролетариата, неразвитость самой борьбы его с буржуазией. Условия, порождавшие литературу, подобную сочинениям Бабёфа и его последователей, продолжали существовать и в эпоху, когда со своими проектами выступали Сен-Симон, Фурье, Оуэн. Не будем останавливаться на расцвете бабувистской литературы во Франции 30-х — начала

<sup>14</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 455; Manifest. S. 699.

<sup>15</sup> Manifest. S. 699: «Die eigentlich sozialistischen und kommunistischen Systeme, die Systeme St. Simons, Fouriers, Owens usw...» Необходимо подчеркнуть, что здесь «eigentlich» употреблено как ограничительная частица, означающая: «в буквальном, собственном смысле слова». Т. е. системы Сен-Симона, Фурье и Оуэна — это в буквальном смысле слова системы «социалистические и коммунистические». Иначе говоря, учения, проповедующие аскетизм и грубую уравнительность, начиная с системы Бабёфа, к таковым не принадлежат.

<sup>16</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 456.

40-х годов<sup>17</sup>. Вспомним, как Маркс ополчался против «еще совершенно грубого и неосмыслившего коммунизма»<sup>18</sup>. Мы говорим об этом лишь с одной целью, чтобы подчеркнуть: между условиями появления литературы, выражавшей требования пролетариата (вроде сочинений Бабёфа), описанными в первых двух абзацах, и условиями, способствовавшими успеху известнейших утопистов, о коих речь идет в непосредственном продолжении текста, нет такого кардинального «разрыва», который неизбежно бы существовал, если бы вначале имелась в виду и Английская революция 1648 г.

Более того, на наш взгляд, оба первых абзаца относятся главным образом к эпохе, когда действовали Сен-Симон, Фурье и Оуэн, а также их активные приверженцы. Сочинения, призывающие к аскетизму и грубой уравнительности, с гибелю Бабёфа не исчезли. Напротив. Так же с Великой французской революцией не кончились, а только начались выступления пролетариата, пытавшегося непосредственно осуществить собственные классовые интересы. Об этих выступлениях конца XVIII — первой половины XIX в. и сказано в разбираемом отрывке.

Но ведь предлагаемое нами толкование расходится со словами о «великих революциях нового времени». Даже если согласиться с мыслью о необходимости распространить содержание первых двух абзацев до времени создания «Коммунистического манифеста», то и в таком случае нам нелегко отыскать еще одну «великую революцию», чтобы к двум известным тогда Марксу и Энгельсу, Английской и Французской, прибавить хотя бы третью и оправдать тем самым упоминание обо «всех великих революциях нового времени».

Здесь в самую пору, вспомнив о подлиннике, обратиться к русской переводческой традиции. М. А. Бакунин, первый, как по праву считают<sup>19</sup>, переводчик «Коммунистического манифеста» на русский язык, передал это место так: «Мы не намерены говорить здесь о литературе, которая при всех великих современных революциях высказывала требования пролетариата (сочинения Бабёфа и др.)»<sup>20</sup>. В переводе Г. В. Плеханова временная приближенность такого рода литературы к эпохе создания «Ма-

<sup>17</sup> См.: Волгин В. П. Французский утопический коммунизм; *Он же. Место бабуизма в истории социальных идей* // Французский ежегодник, 1960. М., 1961; Иоаннисян А. Р. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1840—1841 гг. М., 1983; *Он же. Революционно-коммунистическое движение во Франции в 1842—1847 гг.* М., 1986.

<sup>18</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 113—118.

<sup>19</sup> Тезис этот был оспорен. См.: Левин Л. А. «Манифест Коммунистической партии» в России. М., 1956.

<sup>20</sup> Манифест Коммунистической партии. Б. м., б. г. С. 21. Возможно, это издание появилось в Женеве в 1869 г.

нифеста» была подчеркнута еще сильнее: речь тут шла о литературе, которая «во всех больших революциях новейшего времени выражала требования пролетариата»<sup>21</sup>.

Эти уточнения весьма знаменательны. Хотя формулировка, найденная Бакуниным, представляет собой кальку немецкого текста и как таковая была почти неуязвима, Плеханов предпочел иной вариант. Тот смысл слова «modern» («относящийся к новому, или новейшему, времени»), который был ясен западноевропейским читателям, был еще недостаточно привычен русскому уху. Под «современным» тогда имелось в виду, судя по Далю, прежде всего — «одновременный», «совпадающий по времени», «бывший в наше время», «наших времен», «сверстный нам»<sup>22</sup>. Кроме того, русский читатель в ту пору хорошо знал две «великие революции» — Английскую и Французскую, а XVII век вовсе не подходил к «нашим временам». Возможно, поэтому вместо «при всех великих современных революциях», как было у Бакунина, Плеханов дал: «во всех больших революциях новейшего времени».

В переводе «Манифеста», осуществленном под редакцией Д. Б. Рязанова, предложили еще один вариант: из Бакунина были оставлены «великие революции», но отринуто прилагательное «современные», плехановская поправка «большие революции» принята не была, а его хронологическое определение («новейшего времени») заменили на «нового времени». Теперь речь шла о литературе, которая «во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата»<sup>23</sup>.

Этот перевод «Манифеста» вошел и в первое издание Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса<sup>24</sup>. Однако вскоре, уже через три года, появилась новая отдельная публикация «Манифеста», в которой перевод был отредактирован В. В. Адоратским<sup>25</sup>. Интересующий нас отрывок был воспроизведен там по варианту Бакунина без каких-либо комментариев. Читателю оставалось только гадать, почему не принята первая плехановская поправка и чем плох вариант Рязанова.

В 30-е годы перевод под редакцией Адоратского издавался многократно. Однако при подготовке юбилейного издания

<sup>21</sup> Манифест Коммунистической партии / Пер. с нем. изд. 1872 г. Г. В. Плеханова. Женева, 1882. С. 35.

<sup>22</sup> См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 2-е изд. СПб.; М., 1882. Т. IV. С. 256.

<sup>23</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Коммунистический манифест / Пер. с нем. Под ред. и с примеч. Д. Рязанова. М., 1922. С. 59.

<sup>24</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М.; Л., 1929. Т. V. С. 509.

<sup>25</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1932. С. 42.

«Манифеста», приуроченного к его столетию, занимающая нас фраза была опять дана в варианте Рязанова<sup>26</sup>. Спустя семь лет мы находим его и во втором издании Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Весь абзац был перепечатан там без изменений, если не считать, что вместо «литературе» стало «той литературе»<sup>27</sup>.

Четыре основных варианта переводов этого абзаца показывают, сколь нелегко осмыслить текст подлинника. Вариант Рязанова, утративший на долгие годы свою авторскую принадлежность, несмотря на его фактическую «общепризнанность», трудно счесть наилучшим. Но чтобы убедиться в этом, необходимы специальные разыскания. Один филологический разбор здесь мало что даст, ибо «große Revolutionen» — это и «великие революции», и «большие», и «крупные»<sup>28</sup>. А слово «modern» в данном контексте тоже допустимо понимать по-разному.

На наш взгляд, помочь делу может лишь тщательный и широкий исторический анализ, когда ни на миг не упускается из вида важнейшее обстоятельство: «Манифест» создан не вообще Марксом и Энгельсом — он создан накануне революции 1848 г. В нем ярко отразилось не только новое, материалистическое понимание истории, уроки борьбы пролетариата за свое освобождение, конкретная обстановка того времени, но и совершенно определенный этап духовного развития Маркса и Энгельса, их практического опыта и научных открытий. Этим объясняется в «Манифесте» многое — и исторические обобщения, и революционный пафос актуальнойнейшей политической декларации, и даже степень научного предвидения.

Читатель смог уже обратить внимание на то, сколь тесно связан выбор эпитета («великие революции» или «большие революции») с представлением о протяженности описываемого периода европейской истории. То, что в разбираемом отрывке из «Манифеста» речь шла, по убеждению Плеханова, о революциях,

<sup>26</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1948. С. 75.

<sup>27</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 455.

<sup>28</sup> Приведем характерный пример. Имея в виду Реформацию и Крестьянскую войну, Энгельс писал: «Почти четыреста лет тому назад Германия была исходным пунктом первого крупного восстания европейского среднего класса; если судить по теперешнему положению вещей, разве не может оказаться, что Германия станет также ареной первой великой победы европейского пролетариата?» (Там же. Т. 22. С. 320). Выделенные нами здесь, как и в немецком тексте, курсивом слова достаточно наглядны. См.: Marx K., Engels F. Werke. B., 1974. Bd. 22. S. 311. «Vor fast vierhundert Jahren war Deutschland der Ausgangspunkt der ersten großen Erhebung der europäischen Mittelklasse; wie die Dinge heute liegen, sollte es unmöglich sein, daß Deutschland auch der Schauplatz sein wird für den ersten großen Sieg des europäischen Proletariats?»

начавшихся с эпохи Бабёфа, и заставило его говорить о «всех больших революциях новейшего времени». Рязанов не согласился ни с Бакуниным, ни с Плехановым. У нас есть серьезные основания полагать, что его вариант перевода оказал существенное влияние на историков и философов, привыкших строить «собственные концепции» на вырванных из контекста цитатах.

Да разве столь уж настоятельна необходимость передавать «*große Revolutionen*» непременно как «великие революции»? Такое словосочетание для нас особенно привычно, но не будем забывать все многообразие значений прилагательного «*groß*» — «большой», «крупный», «обширный», «великий», «значительный», «важный», и т. д. и т. п. Заметим, что и в русском переводе «Коммунистического манифеста» прилагательное «*groß*» передается чаще всего словом «крупный».<sup>29</sup>

Стоит лишь избежать в переводе столь обязывающего эпитета, как «великий», заменив его на «крупный», либо на «значительный», то сразу же отпадает нужда приписывать творцам «Манифеста» представление о третьей «великой революции», представление, которого в канун 1848 г. у Маркса и Энгельса не было: мысль о трех великих буржуазных революциях (начиная с Реформации и Крестьянской войны в Германии) появилась, повторяем, значительно позже.

Что же касается всякого рода революций — в тогдашнем широком понимании этого слова, — то в первой половине XIX в. было их целое множество — больших и малых, длительных и мимолётных, выражавших возмущение масс или предпринятых сверху<sup>30</sup>. Маркс, вспомним, по меньшей мере дважды писал о «бесчисленных революциях французской буржуазии, начиная с 1789 г.» (курсив наш. — А. Ш.).<sup>31</sup>

Современники бурно реагировали на частые вести о революциях — барселонской и мадридской, греческой, июльской 1830 г. в Париже, краковской, неаполитанской, сицилийской и т. д.<sup>32</sup>

Однако какие события имели в виду Маркс и Энгельс, говоря о «крупных революциях» первой половины XIX столетия? Ответ тут, по нашему разумению, следует искать не только в размахе событий и не в их яркости, но, так сказать, в подспудности явлений, в длительности процесса, связанного с обострением

<sup>29</sup> См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 425, 426: «крупная промышленность», «крупные монархии» — «*große Industrie*», «*große Monarchien*» (Manifest. S. 676).

<sup>30</sup> В 1885 г. Энгельс отмечал: «Германская империя создана революцией, конечно революцией особого рода, но, тем не менее, все же революцией» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 210).

<sup>31</sup> Там же. Т. 7. С. 30.

<sup>32</sup> См.: Там же. Т. 21. С. 210; Т. 1. С. 529; Т. 2. С. 138, 577; Т. 4. С. 374, 487 и др.

очередного экономического кризиса. Напомним, что в этом ряду Энгельс упоминал и 1815 г.<sup>33</sup> Вот, кстати, еще одна тема, в подобном аспекте разработанная явно недостаточно.

Даже если мы станем передавать «*große Revolutionen*» просто как «крупные революции» (или «значительные»), то тут же избавимся от необходимости втискивать содержание разбираемого отрывка в хронологические пределы XVII—XVIII вв.—эпохи общепризнанных «великих революций».

Июльская революция 1830 г. в Париже, коль скоро смотреть на нее прежде всего как на этап борьбы между пролетариатом и буржуазией, как на попытку «пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы», предстанет перед нами, конечно, именно в таком ракурсе, событием не менее значительным, чем движение парижских санкюлотов в дни Великой революции<sup>34</sup>.

Передача словосочетания «*große Revolutionen*» весьма естественным и привычным выражением «великие революции» оказалась, по всей вероятности, решающее влияние на осмысление другого прилагательного—«*modern*». Это слово, заимствованное из французского, можно, как известно, переводить по-разному: «современный», «новейший», «новый», «модный», «принаследлежащий новому времени» и т. д. Поэтому с формальной стороны перевод «во всех великих революциях нового времени», разумеется, особых возражений не встречает. Однако обратимся к лексике «Коммунистического манифеста». Прилагательное «*modern*», не считая двух сделанных позже примечаний, употреблено там 32 раза: «moderne bürgerliche Gesellschaft», «moderne große Industrie», «moderne Bourgeoisie», «moderne Staatsgewalt», «moderne Produktivkräfte», «moderne Arbeiter, die Proletarier», «moderne Proletarier», «moderne Geschichte», «moderne Zivilisation», «moderne Revolutionen» и т. д.<sup>35</sup>—«современное буржуазное общество», «современная крупная промышленность», «современные буржуа», «современная государственная власть», «современные производительные силы», «современные рабочие, пролетарии», «современный пролетариат», «современная история», «современная цивилизация»<sup>36</sup> и т. д. Слово «*modern*», встречающееся в тексте «Манифеста» 32 раза, передано в изучаемом переводе 31 раз эпитетом «современный». Исключение сделано лишь однажды, когда «*moderne Revolutionen*» переведено не как

<sup>33</sup> Там же. Т. 21. С. 229.

<sup>34</sup> Характерно, что в одном из своих последних писем Энгельс отмечал: в 1789 г. революцию в парижских предместьях совершил *предпролетариат*. См.: Там же. Т. 39. С. 399.

<sup>35</sup> Manifest. S. 675, 676, 679, 680, 682, 693, 694, 699.

<sup>36</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 425, 426, 429, 430, 433, 448, 450.

«современные революции», а как «революции нового времени». Небезынтересно отметить, что даже «moderne Geschichte» осмыслено чуть выше именно как «современная история»<sup>37</sup>, а не как «история нового времени».

Мы далеки от намерения в таком тонком деле, как толкование ответственнейшего текста, придавать решающее значение «статистическому аргументу». И вопреки ему «moderne Revolutionen» вполне допустимо перевести как «революции нового времени». Отнюдь не «статистика» заставляет нас предлагать иной перевод, чем широко ныне распространенный, а взятое в целом содержание обоих анализируемых абзацев. Уточнение касается слов, выделенных нами курсивом:

«Мы не говорим здесь о той литературе, которая *во всех крупных современных революциях* выражала требования пролетариата (сочинения Бабёфа и т. д.)»<sup>38</sup>.

Ни в первом, ни во втором издании Сочинений Маркса и Энгельса занимающий нас отрывок никак не прокомментирован. И было бы бессмысленно гадать, почему «современным революциям» предпочли «революции нового времени». Определяющим, возможно, явилось привычное восприятие слов «глобе Revolutionen» как «великие революции». Не исключено, что здесь дало о себе знать влияние мысли Энгельса, высказанной им в одной из последних работ, в отрывке, где речь шла о «революциях меньшинства» и роли большинства, действовавшего лишь в его интересах. «Во всех революциях нового времени, начиная с великой английской революции XVII века,— писал Энгельс,— обнаруживались черты, казавшиеся неотделимыми от всякой революционной борьбы»<sup>39</sup>. Но заметим, что когда Энгельс действительно пишет о «революциях нового времени», а не о «современных революциях», он пишет не «moderne Revolutionen», а «Revolutionen der neueren Zeit»<sup>40</sup>.

В данной главе мы, разумеется, не ставим целью давать какую-либо «градацию» революционных выступлений первой половины XIX в. или, вернее, представлений о них Маркса и Энгельса. Предлагая иначе переводить и толковать небольшой фрагмент «Коммунистического манифеста», мы исходили прежде всего из того, что вносимое уточнение может помочь преодолеть некоторые неясности, возникшие при обдумывании его редакции в предшествующем переводе. А это важно по нескольким причинам. От правильного постижения смысла двух рассмотренных

<sup>37</sup> См.: Там же. С. 448; Manifest. S. 693.

<sup>38</sup> Ср.: Там же. С. 455; Manifest. S. 699.

<sup>39</sup> Там же. Т. 22. С. 534.

<sup>40</sup> Marx K., Engels F. Werke. Bd. 22. S. 514.

абзацев зависит не только наше понимание оценки Марксом и Энгельсом отдельных конкретных исторических явлений, но и вещи куда более значительные — понимание подхода творцов «Манифеста» к революционной литературе, сопровождавшей первые движения пролетариата.

Однако помимо такого, казалось бы, сугубо исторического аспекта, предлагаемое нами уточнение позволит, на наш взгляд, лучше разобраться и в эмоционально-политической обстановке, в которой создавался «Манифест». Перенесение в исследовании акцента с широкой исторической ретроспективы на более близкие и даже современные Марксу и Энгельсу, если не сказать злободневные, реальности идейной борьбы не умалит обобщающей силы анализируемого отрывка. Напротив, известное сужение хронологических рамок даст возможность сфокусировать внимание на главном, а это и в теоретическом плане принесет лишь пользу. Особенно при изучении того «еще совершенно грубого и неосмыслиенного коммунизма»<sup>41</sup>, который и в 40-е годы XIX столетия владел умами части французских и немецких рабочих.

Если мысли, высказанные в этих двух абзацах «Манифеста», относятся только к эпохе Великой французской революции и первой половине XIX в., то текст обретает ту ярко выраженную актуальность, которой он лишается при расширительном его толковании. Революционная литература, призывавшая ко всеобщему аскетизму и грубой уравнительности, порождала тревожную озабоченность Маркса и Энгельса не потому, что она существовала давным-давно, еще в XVII в., а потому, что она была знаменем времени, хотя и несла на себе печать анахронизма. Подобного рода литература служила пропагандистским орудием поборникам «полнейшего равенства», которые завоевали симпатии мастерового люда и ополчались против «писательских элементов».

Но, настойчиво выдвигая этот тезис, мы меньше всего хотели бы создать у читателей впечатление, будто предлагаемый нами перевод и его интерпретация никаких дальнейших вопросов за собой не влекут. Как раз наоборот. Возникает настоятельная необходимость вернуться к проблемам, которые уже долгое время считаются чуть ли не окончательно решенными. К какой эпохе, например, относятся первые движения пролетариата? Да и когда вообще, по мнению авторов «Манифеста», на арене истории появился пролетариат?

Мы так упорно твердили о Великой французской революции и последующих десятилетиях, словно нам воистину открылся сокровенный смысл выражения «современные революции». Но

<sup>41</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 114.

ведь даже если принять наш вариант перевода, то и тогда Английскую революцию XVII в. вполне резонно рассматривать в качестве первой изо «всех крупных современных революций»!

Ограничимся лишь одним примером. Летом 1860 г. Маркс делает выписки из книги «Государственная политика *современной* Европы (здесь и далее курсив наш.—A. Ш.) с начала XVI столетия до настоящего времени»—«The State Policy of Modern Europe, from the Beginning of the Sixteenth Century to the Present Time»<sup>42</sup>.

Нам уже приходилось, правда по другому поводу, применительно к понятию «современный социализм», писать именно о таком, весьма широком смысле прилагательного «modern»<sup>43</sup>. Разумеется, было бы ошибкой утверждать, будто создатели «Манифеста» относили начало «современной истории» (*«moderne Geschichte»*) лишь к эпохе Великой французской революции. Попутно отметим необходимость повышенного внимания к слово-сочетаниям и эпитетам «современный», «новый», «новейший», где нередки промахи переводчиков. Наряду с исходным содержанием того или иного понятия надо учитывать и его развитие в работах Маркса и Энгельса, написанных в разное время.

Но значит ли сделанная нами оговорка, что мы теперь пытаемся смягчить решительность основного нашего тезиса? Ни в коей мере. Однако если мы признаем Английскую революцию тоже революцией «современной», то выдвинутый нами тезис потребует дополнительных аргументов.

Мы проявили бы опрометчивую торопливость, если без каких-либо исследований отказались бы вдруг, к примеру, видеть в английской революционной литературе середины XVII столетия, проповедавшей всеобщий аскетизм и грубую уравнительность, выражение требований пролетариата, полагая, что такой появился в Англии лишь в результате промышленного переворота<sup>44</sup>.

В примечании к английскому изданию «Манифеста» Энгельс писал в 1888 г.: «Под буржуазией понимается класс *современных* капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд. Под пролетариатом понимается класс *современных* рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены, для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу»<sup>45</sup> (курсив наш.—A. Ш.). Но коль скоро пролетариат — класс *современных* наемных рабочих,

<sup>42</sup> См.: Там же. Т. 44. С. 332—356.

<sup>43</sup> См. главу «Аскетический коммунизм (Морелли и Мабли)».

<sup>44</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 243, 256; Т. 4. С. 322—324.

<sup>45</sup> Там же. Т. 4. С. 424.

то его, стало быть, в середине XVII в. еще не было? Такой вывод текстом «Манифеста» подкрепить нельзя. «На Германию,—читаем его заключительную страницу,—коммунисты обращают главное свое внимание потому, что она находится накануне буржуазной революции, потому, что она совершил этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в Англии XVII и во Франции XVIII столетия. Немецкая буржуазная революция<sup>46</sup>, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции»<sup>47</sup>.

Выходит, если во времена Английской революции, по мысли авторов «Манифеста», уже существовал, пусть и неразвитый, пролетариат, как видно из приведенной цитаты, и, несомненно, существовала революционная литература, проповедовавшая всеобщий аскетизм и грубую уравнительность (вспомним, к примеру, «истинных левеллеров»), то подобного рода произведения, хотя они и «сопровождали первые движения пролетариата», были по своему содержанию неизбежно реакционными?

Такая резко отрицательная оценка революционной литературы, возникшей в эпоху Английской революции, тем более удивительна, что Маркс и Энгельс еще за два-три года до обнародования «Манифеста» в рукописи «Немецкой идеологии» (1845—1846) причислили левеллеров к коммунистам<sup>48</sup>, а в конце октября 1847 г., т. е. месяца за полтора до начала работы над «Манифестом», Маркс в статье «Морализирующая критика и критизирующая мораль», упомянув об «уравнителях» (тех же «левеллерах»), назвал их деятельность во время буржуазной революции «первым проявлением действительно активной коммунистической партии»<sup>49</sup>. Из одного этого уже видно, что резкое осуждение революционной литературы, проповедующей всеобщий аскетизм и грубую уравнительность (повторим: «сочинения Бабёфа и т. д.»), не надо механически переносить на более ранние эпохи. Те характерные черты в мировоззрении незрелого пролетариата, скажем у единомышленников и последователей Бабёфа, которые в 40-е годы XIX столетия, будучи анахронизмом, являлись по своей сути реакционными, в XVII в., а тем более—еще раньше, таковыми, разумеется, не были. Маркс и Энгельс последовательно проводили принцип историзма. И поэтому не случайно, что вскоре после публикации «Коммунистического манифеста» и по-

<sup>46</sup> В этих словах мы видим подтверждение несомненного факта: Маркс и Энгельс и думать тогда не думали, будто такая революция уже произошла в Германии XVI в.

<sup>47</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 459.

<sup>48</sup> См.: Там же. Т. 3. С. 463.

<sup>49</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 301.

ражения революции 1848—1849 гг. Энгельс в разгар идейной борьбы в Союзе коммунистов, говоря о плебейско-пролетарском аскетизме, счел нужным подчеркнуть необходимость исторического подхода к такого рода явлениям<sup>50</sup>.

Все это так. Но где, помимо общих соображений, конкретные аргументы, доказывающие, что авторы «Манифеста», упомянув о «всех крупных современных революциях» и литературе, выражавшей требования пролетариата, не имели в виду ни Английской революции, ни памфлетов левеллеров?

Если Маркс и Энгельс, действительно, по какому-то недосмотру забыв о левеллерах, ошибочно увидели лишь в Бабёфе зачинателя революционной литературы, проповедовавшей всеобщий аскетизм и грубую уравнительность, то при переизданиях «Манифеста» или при знакомстве с его переводами, подготовленными к публикации, они должны были исправить допущенную оплошность и восстановить приоритет левеллеров.

Дальнейшие разыскания дали неожиданный результат. В первом издании «Манифеста» на английском языке левеллеры были в правах своих восстановлены! Значит, мы понапрасну громоздили различные наблюдения, тревожили память давних переводчиков, считали прилагательные и, рискуя надоесть читателю мелкой дотошностью, погрязли в ненужных подробностях и не увидели за деревьями леса? Обескураживающее прозвучал для нас авторитетный комментарий: Элен Макфарлин осуществляла свой перевод «Манифеста» при непосредственном участии Энгельса.

«Мы не говорим здесь,— гласил английский вариант,— о литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата, как, например, памфлеты левеллеров, сочинения Бабёфа и других».

<sup>50</sup> См.: Там же. Т. 7. С. 377—378.

# ЛЕВЕЛЛЕРЫ, ИСЧЕЗНУВШИЕ ИЗ ТЕКСТА

\*

Изучая судьбы прижизненных изданий «Манифеста» и его переводов, убеждаемся, с какими трудностями было связано распространение коммунистических идей и как по-разному воспринимали современники новую теорию, которой суждено было изменить мир. Когда выработанный Марксом и Энгельсом понятийный аппарат лишь осваивался их единомышленниками, всякая попытка перевести «Манифест» была пусть тяжелым, но очень существенным делом. Особый интерес представляют, конечно, авторизованные переводы. Они не только показывают, как то или иное понятие было передано на другом языке, но помогают порой лучше уловить и смысловые оттенки подлинника.

В настоящей главе мы рассмотрим вопрос об отношении Энгельса к первому увидевшему свет английскому переводу «Коммунистического манифеста». Ясность тут необходима. Обращение к этому изданию тем более оправдано, что подготовители 10-го тома «Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала» (МЭГА) включили его в раздел приложений, где публикуются «Статьи и переводы, сделанные с помощью Маркса или Энгельса»<sup>1</sup>. Таким образом, «Манифест», изданный в 1850 г. на английском языке, приобрел статус, весьма близкий к статусу авторизованного перевода. В нашей историографии есть единственная, если не ошибаемся, небольшая статья, прямо ему посвященная<sup>2</sup>.

Аппарат к публикации этого перевода в МЭГА свидетельствует о прогрессе в его изучении: сделан ряд интересных текстологических наблюдений. Но и подготовителям 10-го тома не удалось, на наш взгляд, отыскать неоспоримые аргументы в пользу гипотезы об участии Энгельса в работе над этим переводом. Необходимы дальнейшие исследования, а они ставят перед нами и более обширные проблемы. В том числе вопрос об осмыслиении дополнительных, хотя и косвенных, данных, касающихся оценки

<sup>1</sup> MEGA. I/10. S. 605—628, 1119—1121.

<sup>2</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса в подготовке первого английского перевода «Манифеста Коммунистической партии» // Научно-информационный бюллетень сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1970. № 18. С. 47—53.

Энгельсом проповеди «грубой уравнительности» как характерной черты начального этапа истории (или предыстории) утопического коммунизма.

Как известно, «Манифест Коммунистической партии», написанный Марксом и Энгельсом в декабре 1847—январе 1848 г. на немецком языке, увидел свет в Лондоне в феврале 1848 г. Он был обнародован как документ, составленный от имени коммунистов разных стран, и вышел без указания на его авторов<sup>3</sup>. Первый английский перевод «Манифеста» был помещен в чартистском еженедельнике «Red Republican»<sup>4</sup>, издаваемом одним из вождей революционного крыла чартистов — Джорджем Джулианом Гарни<sup>5</sup>. О предстоящей публикации Гарни сообщил читателям 2 ноября 1850 г.: «В № 21 «Red Republican» будет печататься перевод знаменитого «Манифеста немецких коммунистов», никогда до сих пор не издававшегося на английском языке»<sup>6</sup>. Через неделю, в номере от 9 ноября 1850 г., началась публикация перевода, продолжалась она и в трех последующих выпусках<sup>7</sup>. Перевод печатался анонимно, с измененным названием<sup>8</sup> и коротким не-подписаным введением. Оно гласило: «Нижеследующий «Манифест», принятый позднее всеми фракциями немецких коммунистов, был написан на немецком языке в январе 1848 г. гражданами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Он был сразу же напечатан в Лондоне на немецком языке и обнародован за несколько дней до того, как разразилась февральская революция. Сумятица, последовавшая за этим великим событием, сделала неосуществимым в то время намерение перевести его («Манифест»). — A. III.) на все языки цивилизованной Европы. В рукописном виде существуют два различных варианта его французского перевода; но при нынешних деспотических законах во Франции

<sup>3</sup> Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Ч. 1—2; Хундт М. Как возник «Манифест». М., 1975; Der Bund der Kommunisten. Bd. 1: 1836—1849. S. 1091—1093; Andréas B. Le Manifeste Communiste: Histoire et Bibliographie. Milano, 1963.

<sup>4</sup> Мы пользовались экземпляром, хранящимся ныне в Государственной общественно-политической библиотеке. Существует также перепечатка этого еженедельника: The Red Republican and The Friend of People. L., 1966. Vol. 1: The Red Republican / Introduction by John Saville. Для удобства читателей текст первого опубликованного перевода «Манифеста» на английский язык будет цитироватьсь по его изданию в MEGA.

<sup>5</sup> Этому еженедельнику посвящена статья: Мариничева М. П. «Red Republican» — печатный орган революционного чартизма в 1850 году: (Из истории распространения марксизма в Англии) // Из истории марксизма и международного рабочего движения: К 100-летию со дня основания I Интернационала. М., 1964. С. 504—546.

<sup>6</sup> The Red Republican. 1850. N 20.

<sup>7</sup> Ibid. N 21, 22, 23, 24.

<sup>8</sup> MEGA. I/10. S. 605: Manifesto of the German Communist Party.

публикация любого из них оказалась неисполнимой. Английский читатель благодаря нижеследующему превосходному переводу этого важного документа получит возможность судить о планах и принципах наиболее передовой партии немецких революционеров.

Не следует забывать, что весь этот «Манифест» был написан и напечатан перед февральской революцией<sup>9</sup>.

Кто автор этой вступительной заметки? Ответ мы находим в письме Маркса Вейдемайеру от 16 октября 1851 г.: «У меня есть для тебя еще одно поручение. Бывшему немецкому католическому священнику Коху, о котором ты можешь спросить в «Staatszeitung», где он время от времени пишет, я послал по его просьбе 20 экземпляров «Манифеста» (на немецком языке) и один экземпляр английского перевода, поручив ему напечатать этот перевод в виде брошюры вместе с вводным замечанием Гарни»<sup>10</sup>.

Итак, сам Гарни предварил издание «Манифеста» на английском языке своим коротким вступлением. Но кто перевел «Манифест»? В 1888 г., составляя предисловие к новому английскому переводу «Манифеста», осуществленному Самюэлем Муром, Энгельс писал: «Первый английский перевод, сделанный мисс Элен Макфарлин, появился в «Red Republican» Джорджа Джулиана Гарни в Лондоне в 1850 году»<sup>11</sup>.

Об Элен Макфарлин, упоминаемой Марксом и Энгельсом, сведения достаточно скучны<sup>12</sup>. Известно, что эта талантливая журналистка, участница чартистского движения, сторонница женской эмансипации, приветствовала революционные выступления пролетариата и старалась по мере сил пропагандировать учение Маркса и Энгельса. Несколько лет она провела на континенте, революция 1848 г. застала ее в Вене. Она вернулась в Англию, видимо, в начале 1850 г. Жила в Манчестере, но нередко наезжала в Лондон. Статьи, подписанные собственным именем Элен Макфарлин, публиковались в чартистской прессе только до июня 1850 г.<sup>13</sup>

Американский историк А. Р. Шойен высказал предположение, что статьи, печатавшиеся во второй половине 1850 г. в изданиях

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 509.

<sup>11</sup> Там же. Т. 21. С. 362. Ср. более раннее свидетельство: Там же. Т. 18. С. 89.

<sup>12</sup> Кроме уже указанной статьи, см.: Мариничева М. П. Новые данные о связях Энгельса с чартистами в Манчестере // Научно-информационный бюллетень сектора произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1962. № 8. См. также: Кунина В. Э. Джордж Джулиан Гарни // Маркс и Энгельс и первые пролетарские революционеры. М., 1961.

<sup>13</sup> См.: Мариничева М. П. «Red Republican»... С. 523—526.

Джулиана Гарни за подписью Говард Мортон, очень близкие и по стилю, и по идеиной направленности работам Макфарлин, ей и принадлежали — по каким-то не совсем ясным причинам она должна была воспользоваться псевдонимом<sup>14</sup>. Предположение Шойена разделили В. Э. Кунина<sup>15</sup> и М. П. Мариничева<sup>16</sup>. Особенno досадно, что нам почти ничего не известно об истории работы Элен Макфарлин над переводом «Манифеста». Мы не знаем, что непосредственно побудило ее взяться за перевод, не знаем, когда она начала свою работу над ним, где в ту пору находилась, прибегала ли к чьей-либо помощи. Мы можем лишь гадать, почему на сей раз она не воспользовалась своим тогдашним псевдонимом «Говард Мортон», а предпочла печатать перевод безымянно. Это вызывает тем большее недоумение, что публикация «Манифеста» была завершена в «Red Republican» 30 ноября 1850 г.<sup>17</sup>, статьи же «Говарда Мортона» в журнале Гарни «Friend of the People» продолжали появляться вплоть до самого конца декабря. Последние материалы за этой подписью находятся в номерах еженедельника от 21 и 28 декабря<sup>18</sup>. Под Новый год произошла возмутительная сцена, которая привела к разрыву между Элен Макфарлин и Гарни. Его жена оскорбила журналистку. «А Гарни,— писал Маркс Энгельсу от 23 февраля 1851 г.— оказался таким ослом и трусом, что не дал этой Макфарлин никакого удовлетворения за нанесенное ей оскорбление и самым недостойным образом порвал с тем единственным сотрудником в его напыщенном журнальчике, у которого действительно были идеи. Rara avis в его журнальчике»<sup>19</sup>.

Не станем вступать на зыбкую почву предположений, которые нельзя доказать, но все же отметим, что прекращение публикаций в чартистской печати статей, подписанных собственным именем Элен Макфарлин (а они выходили до июня 1850 г.), и появление с июля 1850 г. на ее страницах «Говарда Мортона» вызвано, похоже, личными отношениями Макфарлин и Гарни.

Итак, в четырех номерах «Red Republican», вышедших в ноябре 1850 г., был опубликован английский перевод «Манифеста Коммунистической партии». Завершая публикацию, Гарни счел нужным отметить, что «Манифест» — самый революционный документ из когда-либо обнародованных<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Schoyen A. R. The Chartist Challenge. L., 1958. P. 202—204.

<sup>15</sup> См.: Кунина В. Э. Джордж Джюлиан Гарни. С. 525.

<sup>16</sup> См.: Мариничева М. П. «Red Republican»... С. 526—535.

<sup>17</sup> The Red Republican. 1850. N 24. P. 189—190.

<sup>18</sup> The Friend of the People. 1850. N 2. P. 10; N 3. P. 18.

<sup>19</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 182—183.

<sup>20</sup> The Red Republican. 1850. N 24. P. 188.

Опубликованные материалы не позволяют судить о том, когда Макфарлин познакомилась с Марксом и Энгельсом. Пока мы даже не знаем точно времени возвращения Макфарлин в Англию. В начале 1850 г.? По крайней мере, в марте она была уже на британской земле. В феврале и начале марта в Лондоне вышли из печати «Современные памфлеты» Томаса Карлейля<sup>21</sup>. Макфарлин тут же принялась писать для журнала «Democratic Review», который издавал Гарни, серию статей, им посвященных. Первая из них появилась в апрельском номере<sup>22</sup>. Как известно, эти памфлеты Карлейля привлекли к себе внимание Маркса и Энгельса. Они откликнулись на них весьма критической рецензией<sup>23</sup>.

Работа, проделанная М. П. Мариничевой по изучению литературного наследия Элен Макфарлин, в ряде случаев нуждается в уточнениях и дополнениях. Подлинно марксистские положения не всегда с достаточной четкостью отделены от идей «континентальных социалистов» в общем и целом. Защита Макфарлин социалистических принципов еще не означает, что ее выступления в чартистской печати были с самого начала выступлениями убежденной сторонницы «Манифеста Коммунистической партии». Надо помнить мысль, высказанную Энгельсом относительно того, почему «Манифест» при его создании нельзя было назвать социалистическим: «В 1847 г. социализм был буржуазным движением, коммунизм — движением рабочего класса»<sup>24</sup>.

Анализ, именно под таким углом зрения, статей Макфарлин, опубликованных в чартистской печати в 1850 г., позволит, возможно, более четко представить эволюцию взглядов первой английской переводчицы «Манифеста Коммунистической партии».

Знание «Манифеста», стремление усвоить изложенные там идеи, даже попытки посильно их пропагандировать еще ничего не говорят о намерении его перевести и, тем более, о реальном начале работы над переводом. Мы вынуждены обратить на это внимание, дабы не расценивать знакомство с «Манифестом» как свидетельство начатой работы по подготовке его английского перевода. Ясно, что пропаганда идей «Коммунистического манифеста» революционизировала чартистское движение. Однако вопрос о том, под влиянием каких событий Макфарлин непосредственно взялась за перевод, мы оставим пока открытым.

Субъективные ее побуждения В. Э. Кунина склонна как-то сразу отодвинуть на второй план<sup>25</sup>. Макфарлин призывала к со-

<sup>21</sup> MEGA. I/10. S. 876.

<sup>22</sup> The Democratic Review. 1850. N IV.

<sup>23</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 268—279.

<sup>24</sup> Там же. Т. 21. С. 366—367.

<sup>25</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 47.

зданию чартистской печати. «Поэтому,— пишет В. Э. Кунина,— выбор Макфарлин в качестве переводчика был в то время наиболее целесообразным. Единственный из известных нам чартистов, кто мог это сделать, пожалуй, лучше Макфарлин, был Эрнест Джонс. Но он только летом 1850 г. вышел из тюрьмы, где отбывал двухлетнее заключение за подготовку восстания в 1848 г.»<sup>26</sup>.

Довод В. Э. Куниной становится более понятным в сопоставлении с ее предположением о том, что Макфарлин начала работу над переводом еще в 1849 г. Т. е. на континенте? Но это плохо согласуется с мыслью, будто кто-то неназванный остановил свой выбор на Макфарлин. Во всяком случае, если Макфарлин взялась за перевод «Манифеста» еще в 1849 г., ее личная инициатива оказалась бы куда более вероятной, чем при отнесении начала работы над переводом к осени 1850 г.

Подкрепить предположение о том, что Макфарлин принялась переводить «Манифест» еще в 1849 г., нельзя лишь общей ссылкой: дескать, в 1850 г. в статьях, публиковавшихся в чартистских журналах, она излагала и отстаивала некоторые положения «Манифеста Коммунистической партии». Как воспринимала их Макфарлин и как эволюционировали ее взгляды, по нашему мнению, еще не полностью ясно.

Макфарлин оказалась перед сложной задачей. «Гарни помочь ей не мог,— пишет В. Э. Кунина,— он не знал немецкого языка. Марксу трудно было оказать ей помощь, он еще в это время не владел в должной степени английским языком. Помочь в полной мере мог ей только Энгельс»<sup>27</sup>. Тезис о «неспособности» Элен Макфарлин без посторонней помощи справиться с переводом, высказанный в начале статьи, кажется нам преждевременным.

Новых сведений относительно знакомства Маркса и Энгельса с Макфарлин В. Э. Кунина не сообщает, однако делает весьма ответственный вывод: «Элен Макфарлин входила в число тех англичан (очень небольшой группы), которые получали непосредственно от Маркса все документы, издававшиеся ЦК Союза коммунистов в Лондоне на немецком языке»<sup>28</sup>. Это важное положение подкреплено ссылкой на известное письмо Женни Маркс от 19 декабря 1850 г., направленное Энгельсу в Манчестер. Стоит процитировать относящиеся к Макфарлин строки: «По поручению Карла посылаю Вам сегодня 6 экземляров «*Neue Rheinische Zeitung*». Гарни, которому не-

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> Там же. С. 49.

<sup>28</sup> Там же.

много лучше, просит Вас послать один экземпляр Элен Макфарлин»<sup>29</sup>. Таким образом, это Гарни просит Энгельса послать Макфарлин один экземпляр только что появившегося в Лондоне журнала (сдвоенный № 5—6). Поэтому трудно согласиться с выводом, будто Макфарлин получала «непосредственно от Маркса все документы, издававшиеся ЦК Союза коммунистов в Лондоне на немецком языке». В письме Женни Маркс об этом нет ни слова<sup>30</sup>. Характерно, что Гарни сам посыпал журнал Макфарлин не стал.

В. Э. Кунина отмечает далее, что у Макфарлин была полная возможность для непосредственного контакта и с Марксом, и с Энгельсом. Это не вызывает возражений. Однако нелегко согласиться с дальнейшей аргументацией. Упомянув, что еще в апреле 1848 г., находясь в Бармене, Энгельс занимался переводом «Манифеста» на английский язык<sup>31</sup>, переводом, который, скорее всего, был утрачен в бурные годы революции, В. Э. Кунина пишет: «Но блестящая память Энгельса не могла не сохранить в 1850 г. решение наиболее сложных вопросов, связанных с переводом, и он не мог не предложить хорошо знакомой ему переводчице свою помощь»<sup>32</sup>. Доказательством такой помощи служат, как считает В. Э. Кунина, два пояснительных «примечания переводчика». К названию той части III раздела «Манифеста», где речь идет о немецком, или «истинном», социализме, сделано следующее примечание: «Это охарактеризованное в нижеследующей главе направление писателей, которые сами называли свою теорию «истинным социализмом»; если же после внимательного прочтения этой главы читатель не согласится с ними или с их наименованием, то сие произойдет не по вине авторов «Манифеста». Примечание переводчика»<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 534. В том же письме Женни Маркс сообщает Энгельсу о документах Союза коммунистов, присланных накануне из Кёльна: «Кёльнская булла против Виллиха и К° прибыла вчера вместе с новым Уставом, циркулярами и т. д. Кёльнцы действовали на сей раз исключительно энергично и активно и очень решительно выступили против этой подлой шайки» (Там же).

<sup>30</sup> См. также: Там же. Т. 7. С. 564—568; Т. 8. С. 581—585. Соответствующие документы опубликованы и в сборнике «Союз коммунистов — предшественник I Интернационала». Более полная публикация осуществлена в ГДР. См.: Der Bund der Kommunisten. Bd. 1—3. О событиях, приведших Союз коммунистов к расколу, см.: Михайлов М. И. История Союза коммунистов. М., 1968. С. 406—446.

<sup>31</sup> Энгельс писал Марксу: «Я сижу над английским переводом, который оказывается труднее, чем я предполагал. Однако больше половины уже готово, и скоро будет готово все» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 120). Был ли этот перевод завершен — неизвестно.

<sup>32</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 50.

<sup>33</sup> MEGA. I/10. S. 623.

Свои впечатления В. Э. Кунина резюмирует так: «Очень любопытная интонация этой фразы; она вполне могла принадлежать Энгельсу»<sup>34</sup>. Но, по мнению В. Э. Куниной, «более значительно другое примечание»<sup>35</sup>.

Заключительная фраза III раздела («Оуэнисты в Англии и фурьеисты во Франции выступают — первые против чартистов, вторые против реформистов»<sup>36</sup>) была снабжена таким «примечанием переводчика»: «Нельзя забывать, что эти строки были написаны перед февральской революцией и что примеры относятся соответственно к положению партий того времени»<sup>37</sup>.

В ходе революции и после нее, как известно, выявилось глубокое различие между мелкобуржуазными и пролетарскими революционерами. Отношение Маркса и Энгельса к Ледрю-Роллену и Луи Блану, естественно, изменилось.

«С уверенностью можно сказать,—считает В. Э. Кунина,— что Макфарлин только из уст Маркса или Энгельса могла слышать об изменившейся расстановке сил и не могла сама прийти к выводу о необходимости оговорить это в специальном примечании»<sup>38</sup>. Но ведь Макфарлин, опытная и наблюдательная журналистка, пылко интересовавшаяся революционными событиями, сама находилась на континенте во время революции. В. Э. Кунина полагает, что примечания, помещенные Энгельсом «в авторизованных переводах «Манифеста Коммунистической партии» много лет спустя», подтверждают ее точку зрения<sup>39</sup>.

К тому месту IV раздела, где говорится об отношении коммунистов к социалистико-демократической партии во Франции, Энгельс в новом английском переводе «Манифеста» (1888) сделал следующее примечание: «Эта партия была тогда представлена в парламенте Ледрю-Ролленом, в литературе — Луи Бланом, в еженедельной печати — газетой «Réforme». Придуманным ими названием — социалистико-демократическая — они обозначали ту часть демократической или республиканской партии, которая была более или менее окрашена в социалистический цвет»<sup>40</sup>.

Когда Энгельс готовил *немецкое переиздание* «Манифеста» (1890), он дал это примечание в иной редакции: «Называвшая себя социалистико-демократической партия во Франции была представлена в политической жизни Ледрю-Ролленом,

<sup>34</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 50.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 457.

<sup>37</sup> MEGA. I/10. S. 627.

<sup>38</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 51.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 458.

в литературе Луи Бланом; таким образом, она, как небо от земли, отличалась от современной немецкой социал-демократии»<sup>41</sup>.

Имея в виду эти два издания «Манифеста» (1888 и 1890), В. Э. Кунина почему-то называет их «авторизованными переводами», говорит о «немецком переводе 1892 г.» (!)<sup>42</sup>. Здесь опечатка: вместо «1892 г.» надо «1890 г.»<sup>43</sup>. Но «немецкий перевод»?

«Таким образом,— продолжает В. Э. Кунина,— все три примечания написаны «в одном ключе». Везде поясняется, что союз немецких коммунистов с мелкобуржуазными французскими революционерами мог существовать только временно, до 1848 года. Это придает уверенность убеждению, что примечание Макфарлин было подсказано ей Энгельсом»<sup>44</sup>.

Мы не разделяем такой уверенности В. Э. Куниной. Трудно согласиться, что все три примечания написаны «в одном ключе». Наоборот, оба примечания Энгельса 1888 и 1890 гг. содержат реальные сведения о Ледрю-Роллене, Луи Блане и т. д. В «примечании переводчика» ничего подобного нет. Здесь (в третий раз!) повторено то, о чем уже дважды, если не считать упоминания в подзаголовке о публикации «Манифеста» в феврале 1848 г., говорилось во вступительной заметке Гарни: «Манифест» был написан и напечатан перед февральской революцией. У Гарни: «It must not be forgotten, that the whole of this Manifesto was written and printed before the Revolution of February»<sup>45</sup>; в «примечании переводчика»: «It is not to be forgotten, that...»<sup>46</sup>.

Более того, «примечание переводчика» относится как бы к заключительной фразе III раздела, а примечания Энгельса — ко второму абзацу IV раздела — раздела, который, за исключением десятка строк, т. е. почти целиком, опущен<sup>47</sup>. Это никак не оговорено ни переводчицей, ни автором вступления, ни исследовательницей, сосредоточившей внимание на двух «примечаниях переводчика». Не оговорено и другое значительное сокращение<sup>48</sup>.

Работая над переводом «Манифеста», Макфарлин снабдила его тремя «примечаниями переводчика». В. Э. Кунина разбирает

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 51.

<sup>43</sup> Предисловие к этому изданию см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 56—63.

<sup>44</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 52.

<sup>45</sup> MEGA. I/10. S. 605.

<sup>46</sup> Ibid. S. 627.

<sup>47</sup> Ibid. S. 627—628, 1120.

<sup>48</sup> Ibid. S. 605, 1120.

второе и третье, о существовании первого даже и не упоминает. А оно заслуживает, чтобы привести его полностью. Параграф «б» первой части III раздела назван в «Манифесте» «Мелкобуржуазный социализм». Но это название не удовлетворяет Макфарлин. Она придумывает параграфу собственный заголовок — «Shopocrat Socialism». К слову «Shopocrat» дает примечание: «Термин, употребленный в оригинале — Kleinbürger — означает «мелкие бюргеры» или «горожане». Это класс, включающий в себя мелких капиталистов вообще, как мелких фермеров, так и мелких промышленников и розничных торговцев. Именно сия последняя разновидность является доминирующим элементом этого класса в Англии. Я выбрал слово Shopocrat, чтобы точно выразить немецкий термин. Примечание переводчика»<sup>49</sup>.

В. Э. Кунина подчеркивает, что, работая над переводом, Макфарлин должна была хорошо понимать терминологию «Манифеста», дело это было для нее трудное, но ей помогал Энгельс, «постоянный и внимательный консультант»<sup>50</sup>. Уже первое «примечание переводчика» ставит под сомнение этот вывод. Не внушающее доверия изобретательство Макфарлин было, как и следовало ждать, отвергнуто в авторизованном Энгельсом и снабженном им примечаниями английском переводе «Манифеста» 1888 г.<sup>51</sup> «Отсебятина» Макфарлин здесь столь очевидна, что В. Э. Кунина предпочла вообще не упоминать о существовании этого первого «примечания переводчика».

Подтверждение своей точки зрения об участии Энгельса в подготовке английского перевода В. Э. Кунина находит и в строках, которыми Гарни предварил перевод. «Но опять-таки содержание этой заметки,— пишет исследовательница,— показывает, что свои сведения Гарни мог почерпнуть только от Энгельса. (Напомним снова, что в 1850 г. Маркс еще не говорил свободно и не писал по-английски.)»<sup>52</sup> Даже если бы это было так<sup>53</sup>, то подобный тезис перечеркнул бы всю к тому времени уже достаточно долгую историю взаимоотношений Маркса и Гарни. Разумеется, Маркс не в меньшей степени, чем Энгельс,

<sup>49</sup> Ibid. S. 622.

<sup>50</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 48, 53.

<sup>51</sup> Титульный лист этой книги воспроизведен: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 363.

<sup>52</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 52.

<sup>53</sup> На наш взгляд, необходимость публикации «Манифеста» в английском переводе стала особенно настоятельной к осени 1850 г. А в ту пору Маркс уже настолько владел английским, что, несомненно, без большого труда обнаружил бы промахи переводчицы, если бы она к нему обратилась. Характерно, что комментаторы нового переиздания перевода Макфарлин ни слова не говорят о тогдашних, будто бы недостаточных, познаниях Маркса в английском. См.: MEGA. I/10. S. 1119—1120.

был в состоянии обратиться к Гарни с просьбой о необходимой публикации в «*Red Republicar*».

Вернемся, однако, к заметке Гарни (перевод мы дали в начале статьи). Судя по ее содержанию, вряд ли Энгельс или Маркс были единственными людьми, от кого Гарни мог почерпнуть свои сведения. Стоит только сопоставить слова Гарни со словами самого Энгельса. В предисловии к английскому изданию «Манифеста» 1888 г. Энгельс писал: «На конгрессе Союза, состоявшемся в ноябре 1847 г. в Лондоне, Марксу и Энгельсу было поручено подготовить предназначенную для опубликования развернутую теоретическую и практическую программу партии. Эта работа была завершена в январе 1848 г., и рукопись на немецком языке была отослана для издания в Лондон за несколько недель до французской революции, начавшейся 24 февраля. Французский перевод вышел в Париже незадолго до июньского восстания 1848 года»<sup>54</sup>.

Энгельс говорит, что работа над «Манифестом» была завершена в январе 1848 г. (известно, что начата она была еще в первой половине декабря<sup>55</sup>), Гарни уверяет, что «Манифест» был написан в январе. Энгельс говорит, что французский перевод был опубликован в Париже в середине 1848 г., Гарни же ничего не знает об этом издании, но упоминает о существовании двух рукописных, неизданных вариантов французского перевода. Интересно, что в документах Союза коммунистов сохранились отголоски подобных же вестей<sup>56</sup>. Поэтому нельзя согласиться с категорическим утверждением В. Э. Куниной, что «свои сведения Гарни мог почерпнуть только от Энгельса». Источники осведомленности Гарни в делах Союза коммунистов, помимо собственного опыта, были достаточно разнообразны.

Рассмотрев два коротких «примечания переводчика» и маленькую вступительную заметку Гарни, В. Э. Кунина приходит к выводу: «Все выше сказанное позволяет автору данной статьи полагать, что и в подготовке текста перевода, и в подготовке его публикации Энгельс являлся, по крайней мере, постоянным и внимательным консультантом»<sup>57</sup>.

Читатель вправе ожидать, что после разбора вступительных строк Гарни и двух примечаний исследовательница обратится к анализу самого перевода, изучит его текст, сравнит с подлинником, сопоставит с авторизованным английским переводом 1888 г. Но ничего подобного не предпринято, не отмечено даже, что

<sup>54</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 362.

<sup>55</sup> Там же. Т. 4. С. 419; Хунот М. Указ. соч. С. 153—154.

<sup>56</sup> Der Bund der Kommunisten. Bd. 1. S. 915—916, 1101; Bd. 2. S. 158—159.

<sup>57</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 53.

в переводе Макфарлин допущено два значительных, но неоговоренных сокращения. Ответственнейший вывод об участии Энгельса в подготовке английского перевода «Манифеста Коммунистической партии» сделан, по существу, без анализа его текста, без оценки качества проделанной Макфарлин работы.

Здесь мы не ставим перед собой цель дать обстоятельное текстологическое исследование осуществленного Элен Макфарлин английского перевода. Тема заслуживает специальной статьи. Поэтому ниже мы разбираем лишь некоторые из ее существенных промахов. Энгельс, судя по всему, ознакомился с переводом Макфарлин лишь после его опубликования в *«Red Republican»*. В противном случае он помог бы убрать из текста явную «от себятину» Макфарлин, что и было сделано в ходе работы над переводом 1888 г. Неудовлетворенность тем, как Макфарлин перевела «Манифест», и побудила Энгельса не переиздавать прежний перевод, а содействовать созданию нового, авторизованного перевода и его выпуску в свет.

Даже предварительное сопоставление английских изданий «Манифеста» 1850 и 1888 гг. обнаруживает, что отдельные выражения и словосочетания, характерные для Макфарлин, появились позже и в авторизованном Энгельсом переводе. Исследователи, готовившие публикацию перевода Макфарлин в 10-м томе МЕГА, видят в этом особо важное свидетельство участия Энгельса в подготовке первого издания «Манифеста» на английском языке. Если встать на эту точку зрения, то придется предположить, что Самюэл Мур, занимаясь переводом, имел перед глазами или немецкий подлинник «Манифеста» с соответствующими вставками Энгельса, или перевод Макфарлин с внесенными туда Энгельсом дополнениями (даже при исключительной памяти Энгельса, он вряд ли почти сорок лет держал в голове и малозначительные детали). Первое предположение надо сразу же отклонить, ибо, если бы существовал немецкий текст с подобными вставками, они были бы сохранены и в немецком издании «Манифеста» 1890 г. Второе предположение вполне реально. Если Энгельс сознавал нужность нового перевода «Манифеста» на английский язык и не довольствовался существующим, то свидетельствовало это прежде всего об его отношении к качеству проделанной Макфарлин работы.

Когда в *«Red Republican»* был напечатан перевод Макфарлин, Энгельс, возможно, и прочел его с карандашом в руках. Но сохранился ли этот экземпляр (если таковой вообще существовал) к началу работы Мура над его переводом — неизвестно. Прочесть, делая пометы, первое издание «Манифеста» на английском языке Энгельс мог и непосредственно перед решением о необходимости нового перевода. Но оба эти предположения

никак не свидетельствуют в пользу того, что отдельные выражения из перевода Макфарлин, сохраненные в авторизованном переводе 1888 г., доказывают участие Энгельса в работе над текстом первого издания «Манифеста» на английском языке.

Авторизованный перевод, т. е. сделанный с разрешения или под наблюдением автора (в данном случае — одного из авторов), допускает, разумеется, совершенно разные степени помощи автора переводчику. Состояние источников, к сожалению, не позволяет пока выяснить, в чем конкретно она выразилась, когда готовился новый английский перевод «Манифеста». Но для нас сейчас важно другое: «реликты» из текста Макфарлин, сохраненные в переводе Мура, могут быть объяснены иначе, чем предлагаю подготовители 10-го тома МЭГА.

Редкий литератор, берущийся за перевод вещи, прежде переведенной, избежит соблазна ознакомиться с достижениями и промахами предшественника. И не столь уж существенно, произойдет это в самом начале работы или при ее завершении — главное, чтобы выиграло качество перевода.

Задача, стоявшая перед Муром,—превзойти сделанное Макфарлин — с самого начала требовала критического отношения к тексту ее перевода. Мур работал, постоянно имея перед глазами старый перевод. Доказывать это специально сейчас нет необходимости: достаточно читать параллельно оба перевода.

Поэтому все четыре примера, которые, по мнению подготовителей 10-го тома МЭГА, являются «уточнениями содержания» и свидетельствуют будто бы об участии Энгельса в работе над переводом Макфарлин, на самом деле говорят только об одном: о том, что Мур, желая сделать текст более понятным *английскому* читателю, сохранил отдельные выражения, предложенные Макфарлин. Однако он знал меру и в тех случаях, когда переводчика слишком «англизировала» отдельные места «Манифеста», что могло нанести ущерб их «общеевропейскому смыслу», отказывался от терминов и понятий, имевших чересчур «английский колорит». Самьюэлу Муру,циальному переводчику, вдумчивому и точному, прекрасно зарекомендовавшему себя при работе над «Капиталом», Энгельс доверял полностью и не видел ничего плохого в том, что Мур сохранял иногда отдельные выражения или обороты, найденные Макфарлин.

В силу всего изложенного выше мы, естественно, также совершенно не склонны видеть в некоторых оборотах и добавлениях, рассчитанных на английского читателя, типичную для Энгельса манеру перевода. Предложенные подготовителями 10-го тома МЭГА примеры ничем, на наш взгляд, не отличаются от «манеры» Макфарлин. Такой критерий сам весьма неопределен и зыбок. Короче говоря, и они не служат доказательством участия

Энгельса в работе над первым увидевшим свет английским переводом «Манифеста». Даже если бы мы согласились, что рассмотренные в МЭГА примеры могут быть поняты как свидетельство сотрудничества Энгельса с Макфарлин, сопоставление ее перевода с подлинником и с авторизованным переводом тут же вскрыло бы неосновательность подобной гипотезы.

Многочисленные промахи, неточности и примеры «отсебятины» Макфарлин требуют иного, чем прежде, подхода к проблеме: участвовать в создании *такого* перевода Энгельс попросту не мог. Он по крайней мере исправил бы самые грубые ошибки, если бы видел его в рукописи или в гранках.

Но ведь такая суровая оценка работы Макфарлин совсем не согласуется со вступительной заметкой к публикации «Манифеста» в «Red Republican». Там говорилось о «превосходном переводе». Да, но кем говорилось? Гарни. Только гипотетическая предпосылка о прямом участии Энгельса в создании этого перевода и косвенном — в составлении предисловия могла породить мысль о том, что такой лестный отзыв отражает мнение Маркса и Энгельса. Однако Энгельс, скорее всего, увидел это предисловие Гарни, как и текст перевода, лишь когда оно было уже напечатано. В противном случае он исправил бы находящиеся там неточности. Поэтому слова о «превосходном переводе» — субъективное мнение Гарни. Судить о качестве перевода Гарни не мог, немецкого языка он не знал и, чтобы понять собеседника-немца, вынужден был прибегать к посредничеству жены.

Когда мы настойчиво оспариваем тезис о «превосходном переводе» Макфарлин, полагая, что Маркс и Энгельс вряд ли разделяли это мнение Гарни, нам не избежать возражений. Раз перевод недостаточно совершенен, да и предисловие оставляет желать лучшего, то почему же тогда Маркс просил Вейдемайера переиздать этот перевод вместе со вступительной заметкой Гарни? Здесь мы опять возвращаемся к вопросу, почему как раз в тот момент было столь необходимо пропагандировать идеи «Манифеста Коммунистической партии».

Ответ на этот вопрос широко известен. Наши историки давно показали, сколь важным было издание английского перевода «Манифеста» для радикализации рабочего движения, для выработки новой программы чартистов и сплочения ее революционного крыла.

Но почему именно тогда надо было содействовать распространению недостаточно совершенного перевода и тем более с таким далеко не безупречным предисловием?

Мы уже говорили о том, что во вступительной заметке Гарни было неточным. И тем не менее Маркс считал полезным ее переиздать. Значит, там содержались какие-то сведения,

распространение которых в сложившейся ситуации соответствовало интересам борьбы пролетариата за свое освобождение. Среди них очень важное место занимало провозглашение Маркса и Энгельса создателями «Манифеста Коммунистической партии». Конечно, «Манифест», изданный анонимно и без указания на его авторов, выполнял свою великую революционизирующую роль. Почему же именно теперь, осенью 1850 г., возникла необходимость публично объявить о том, кем был написан «Манифест»? Раскрытие авторства не было, на наш взгляд, непосредственно связано с насущными нуждами чартистского движения: идеи «Манифеста», доступные отныне английскому читателю, и без этого помогли бы левому крылу чартистов четко сформулировать свою политическую программу.

Главная причина, почему Маркс и Энгельс решили открыто заявить о том, что они авторы «Манифеста», была обусловлена борьбой в Союзе коммунистов, приведшей к его расколу. Расколом в Союзе коммунистов объясняется и публикация III раздела «Манифеста» в последнем, сдвоенном номере *«Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue»*. Примечание к этой перепечатке гласило: «Мы даем здесь отрывок написанного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом «Манифеста Коммунистической партии», опубликованного перед февральской революцией. Примечание редакции»<sup>58</sup>. Отсылка материалов этого номера для печатания в Гамбурге произошла почти одновременно с уведомлением, сделанным Гарни, о предстоящей, начиная со следующей недели, публикации в *«Red Republican»* «Манифеста» на английском языке.

Важно обратить внимание на подчеркнутую Марксом и Энгельсом подробность: «Манифест» был обнародован перед февральской революцией. Отметим, что такое уточнение впервые было сделано в примечании, составленном для *«Neue Rheinische Zeitung»* (хотя читателям оно впервые стало известно из предисловия Гарни, поскольку его еженедельник вышел в свет намного раньше, чем соответствующий выпуск *«Neue Rheinische Zeitung»*). Не исключено, что первоначально оно было связано с заключительной фразой перепечатываемого отрывка из «Манифеста». Читателя надо было предупредить: «Манифест» был опубликован перед февральской революцией.

Но заявление в печати о том, кем и когда был создан «Манифест», приобрело особую значимость в связи с публикацией его почти целиком на английском языке. И главное — в таком контексте, как это было сделано в предисловии Гарни, где говорилось: «Нижеследующий «Манифест», принятый позднее всеми

<sup>58</sup> MEGA. I/10. S. 445, 986.

фракциями немецких коммунистов, был написан на немецком языке в январе 1848 г. гражданами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом». Здесь подчеркнуто не только авторство Маркса и Энгельса, но и то, что «Манифест», созданный до революции 1848 г., был тогда «принят всеми фракциями немецких коммунистов». В этой фразе — ключ к постижению подлинной значимости заметки Гарни, предпосланной английскому переводу. И понять ее можно лишь в том случае, если не упустить из виду главного, что диктовало необходимость такого заявления: произшедшего в Союзе коммунистов раскола. В связи с этими драматическими событиями надо было открыто провозгласить, что написанный Марксом и Энгельсом «Манифест», ставший теперь предметом нападок сектантов, прежде был «принят всеми фракциями немецких коммунистов». Поэтому нельзя согласиться с предложенным В. Э. Куниной переводом столь важного отрывка: «Нижеследующий «Манифест», который уже одобрен всеми организациями немецких коммунистов»<sup>59</sup> (курсив наш.— А. Ш.). Такой перевод не только не позволяет понять реальную подоплеку происходившего (В. Э. Кунина в своей статье ничего не говорит о расколе), но и обходит действительное положение вещей. Смысл фразы затушевывается: слова, где речь идет о прошлом (««Манифест»... принятый позднее всеми фракциями немецких коммунистов...»), переводятся так, будто речь идет о настоящем, да и окрашенном к тому же в мажорный тон: ««Манифест», который уже одобрен всеми организациями немецких коммунистов». Вместо раскола — единодущие, вместо фракций — «все организации», которыми «уже одобрен» «Манифест».

Лиши вернувшись на почву подлинных исторических событий, происходивших осенью 1850 г., какими бы суровыми они ни были, мы правильно оценим, сколь значительным в тех условиях было для Маркса и Энгельса главное, что содержалось в предисловии Гарни: «Манифест», написанный Марксом и Энгельсом перед революцией 1848 г., был принят всеми фракциями немецких коммунистов; этот важный документ позволяет судить о «планах и принципах наиболее передовой партии немецких революционеров».

В условиях раскола, когда сектанты типа Виллиха и Шаппера, прикрываясь революционными фразами, вели прямую атаку на «Манифест», такое заявление из уст Джулиана Гарни было очень своевременным и весомым. Раскол Союза коммунистов

<sup>59</sup> Кунина В. Э. Об участии Энгельса... С. 52. Здесь ошибочно указано (с. 53), будто заметка Гарни была помещена в последнем из номеров «Red Republican», в которых печатался «Манифест» (от 30 ноября), тогда как на самом деле Гарни предварил ею начало публикации перевода (№ 21 от 9 ноября 1850 г.).

произошел в Лондоне, и немецкие рабочие, жившие там, хорошо это знали (особенно после бурного заседания в Лондонском просветительском обществе). Многие из них были связаны с чартистами. А Гарни был в ту пору не просто человеком, симпатизирующим Марксу и Энгельсу, хотя и недостаточно стойким в идейном отношении. Он был одним из признанных вождей чартистов, который пользовался большим авторитетом, и не только у себя в стране. Поэтому Маркс и просил переиздать в Америке перевод «Манифеста» *вместе* с предисловием Гарни.

Из него косвенно следовало, что вовсе не Виллих и компания, несмотря на их «архиреволюционные» речи, были в его глазах наиболее передовой частью немецких революционеров, а сторонники Маркса и Энгельса — создателей «Манифеста». Гарни тогда разделял, как видно, позицию, занятую Марксом и Энгельсом: раскольники, выступающие против «Манифеста», выступают против общей программы коммунистов и, следовательно, против партии.

Приняв все это во внимание, нетрудно понять, почему в тогдашней сложнейшей обстановке, Маркс содействовал распространению английского перевода «Манифеста», далекого от совершенства, вместе с предисловием Гарни, несмотря на содержащиеся там неточности.

Мы пока не располагаем данными, чтобы с уверенностью говорить о том, как шла работа Макфарлин над переводом «Манифеста», что непосредственно послужило для нее толчком. Но качество перевода с явно различимой печатью торопливости заставляет нас не только отрицать предположение об Энгельсе как «постоянном и внимательном консультанте» Макфарлин, но и прийти к мысли о недолгом времени, отданном переводчицей этой работе.

Не исключено, что, хотя Макфарлин давно была знакома с «Манифестом» и в меру сил пропагандировала некоторые его идеи в своих статьях, опубликованных летом 1850 г., непосредственным побуждением перевести «Манифест» была просьба Энгельса. Скорее всего, Энгельс (это лишь наша рабочая гипотеза) обратился с ней к Макфарлин в середине сентября, сразу же после полного раскола в Союзе коммунистов, когда вопрос о «Манифесте» приобрел особую остроту, — одновременно или почти одновременно с решением перепечатать в «Neue Rheinische Zeitung» его III раздел. Полтора месяца (а может быть, и больше, ибо перевод публиковался в «Red Republican» по частям, и у нас нет никакой уверенности, что рукопись была полностью закончена, когда ее начали набирать и печатать) — срок вполне достаточный для такой работы, как работа Макфарлин. Напомним, что первое издание «Манифеста», которое находилось в ее распоряжении, насчитывало 23 страницы.

Есть все основания полагать, что самое существенное в предисловии Гарни было сообщено ему Марксом или Энгельсом, хотя, конечно, Гарни давно знал, и как возник «Манифест», и кто его авторы. По их, вероятно, просьбе он согласился предпослать перевод небольшую вступительную заметку.

Однако вопрос о том, в какой степени ее содержание соответствовало пожеланиям Маркса и Энгельса, а в какой — отражало собственные взгляды и цели Гарни, остается открытым. Предположение подготовителей 10-го тома МЕГА, будто допущенные при издании перевода (и неоговоренные!) сокращения были сделаны с согласия Маркса и Энгельса, нуждается в доказательстве. Еще в большей мере нуждается в доказательстве мысль о согласии Маркса и Энгельса с тем, под каким заголовком был на английском языке опубликован «Манифест». Подготовители 10-го тома МЕГА пишут: «Перевод верен оригиналу, но отличается в нижеследующих деталях: заглавие „Манифест Коммунистической партии“ было передано как „Манифест Немецкой коммунистической партии“»<sup>60</sup>. Хороша деталь! «Манифест» был создан как теоретическая и практическая программа коммунистов «самых различных национальностей»<sup>61</sup>. Прежде чем Маркс и Энгельс объявили в печати о своем авторстве, «Манифест» издавался как составленный именно «коммунистами самых различных национальностей», как программа международного коммунистического движения. Именно эти слова и были опущены при публикации английского перевода: первую страницу «Манифеста» заменили написанным Гарни коротким введением. Интернациональное значение «Манифеста» было затушевано, документ подавался как программа одних лишь немецких коммунистов.

Предполагаемое согласие Маркса и Энгельса на такую интерпретацию «Манифеста» требует доказательств и пояснений. Если они согласились с таким толкованием, то сделали это из тактических соображений, вызванных прежде всего расколом в Союзе коммунистов, а также стремлением широко ознакомить английских рабочих с идеями «Манифеста» именно в ту пору, когда развернулась борьба за новую программу чартистов.

Во всяком случае, роль Гарни в этой истории не следует особенно идеализировать. Осенью 1850 г., в очень тяжелое для Маркса и Энгельса время, позицию его нельзя назвать бескомпромиссной. 15 сентября в Союзе коммунистов произошел окончательный раскол. 17-го Маркс, Энгельс и их ближайшие сподвижники вышли из Просветительского общества немецких

<sup>60</sup> MEGA. I/10. S. 1120.

<sup>61</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 423.

рабочих<sup>62</sup>. Виллих, Шаппер и иже с ними потребовали исключения Маркса и Энгельса из Союза коммунистов<sup>63</sup>. 9 октября Маркс, Энгельс и Гарни объявили о роспуске «Всемирного общества коммунистов-революционеров», поскольку французские эмигранты-бланкисты встали на сторону раскольников.

11 ноября 1850 г., на второй день после начала публикации в «Red Republican» английского перевода «Манифеста», лондонский округ Союза коммунистов, возглавляемый Марксом и Энгельсом, предложил находившемуся в Кёльне Центральному комитету исключить из Союза Виллиха, Шаппера и их приспешников<sup>64</sup>. В своем обращении от 1 декабря 1850 г. Центральный комитет утвердил их исключение<sup>65</sup>. Но Гарни, сам бывший, как известно, членом Союза коммунистов, продолжал общаться с ними и даже участвовал в совместных публичных выступлениях. Это повело за собой ухудшение его отношений с Марксом и Энгельсом.

Вероятно, охлаждение произошло не в начале 1851 г., а несколько раньше. Не исключено, что в изменении названия «Манифеста», быть может и оправданном с тактической точки зрения, проявилась уже та идеяная тенденция, которая позже столь четко дала о себе знать в поступках Гарни. Короче говоря, вопрос о том, какова была подлинная его роль<sup>66</sup> в публикации «Манифеста» с измененным названием, нуждается в специальном рассмотрении.

Говоря о прошлом и выражая недовольство позицией Гарни, Маркс писал 11 февраля 1851 г. Энгельсу: «Система взаимных уступок и половинчатости, которую приходится терпеть из приличия, а также необходимость брать на себя перед публикой

<sup>62</sup> См.: Там же. Т. 7. С. 627—628; Т. 8. С. 581—585.

<sup>63</sup> Михайлов М. И. Указ. соч. С. 425; *Der Bund der Kommunisten*. Bd. 2. S. 290, 324, 722.

<sup>64</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 564; *Der Bund der Kommunisten*. Bd. 2. S. 310.

<sup>65</sup> *Der Bund der Kommunisten*. Bd. 2. S. 327.

<sup>66</sup> Вскоре после того, как первые экземпляры № 5—6 «Neue Rheinische Zeitung», где была опубликована «Крестьянская война в Германии» и перепечатан III раздел «Манифеста Коммунистической партии», появились в Лондоне, Гарни предложил Энгельсу сделать перевод «Крестьянской войны» на английский язык. Энгельс ответил, что не располагает для этого временем. См.: MEGA. I/10. S. 702.

Позже Энгельс задумал опубликовать в «Friend of the People», редактируемом Гарни, серию из девяти статей, разоблачающих буржуазных и мелкобуржуазных демократов, а также Центральный комитет европейской демократии. Однако становившееся все более очевидным сближение Гарни с ее лидерами и с Зондербундом Виллиха — Шаппера заставило Энгельса отказаться от этого замысла и востребовать обратно три написанные уже статьи. См.: MEGA. I/10. S. 702; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 630—631; Т. 27. С. 157, 167—168, 173, 174—175.

долю ответственности за смехотворные вещи в компании со всеми этими ослами—с этим теперь покончено»<sup>67</sup>.

Мы ограничимся этими предварительными соображениями. Хотя вопрос о том, как складывались осенью 1850 г. отношения творцов «Манифеста» с Гарни, и очень важен, он все-таки не может считаться первостепенным для основной темы настоящей главы: предполагаемого участия Энгельса в переводческой работе Макфарлин. А здесь единственно надежный путь — сопоставительный анализ ее перевода с авторизованным переводом 1888 г.

И внесенные поправки, и «поясняющие дополнения», будто бы свидетельствующие о помощи Энгельса переводчице, принадлежат, на наш взгляд, к числу ее самовольных добавлений: как таковые они и были опущены в издании 1888 г.

Доводы подготовителей 10-го тома МЭГА, являющиеся по большей части предположениями, не идут ни в какое сравнение с неточностями, промахами и произвольными отступлениями от оригинала, коими изобилует перевод Макфарлин. Она так иногда «приспособливала» текст «Манифеста» к «пониманию английского читателя», что от подлинника мало что оставалось. Причем происходило это не только от небрежения или торопливости, но и от намеренного стремления «англизировать» содержание переводимого документа. Ограничимся несколькими примерами. Трудно предположить, чтобы человек, хорошо владевший немецким языком, живший в Германии и Австрии, не понимал слова «Runkelrübe» или тем паче слова «Schnaps». В «Манифесте» о представителях феодального социализма сказано, что в обыденной жизни они не упускают случая «применять верность, любовь, честь на барыш от торговли овечьей шерстью, свекловицей и водкой»<sup>68</sup> (...und Treue, Liebe, Ehre mit dem Schacher in Schafswolle, Runkelrüben und Schnaps zu vertauschen)<sup>69</sup>.

Но такого рода занятия не были характерны для земельной аристократии Англии, и Макфарлин, ничтоже сумняшися, по собственному разумению «улучшает» текст: «...and to give up chivalry, true love<sup>70</sup>, and honour for the traffic in wool, butcher's meat, and corn»<sup>71</sup>. Естественно, что в авторизованном переводе<sup>72</sup>

<sup>67</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 173.

<sup>68</sup> Там же. Т. 4. С. 449.

<sup>69</sup> Manifest. S. 694.

<sup>70</sup> Один из многих примеров небрежности Макфарлин: вместо «верность, любовь» она дает «верная любовь».

<sup>71</sup> MEGA. I/10. S. 622.

<sup>72</sup> Английский текст цитируется по последнему переизданию: Marx K., Engels F. Collected Works. Moscow, 1976. Vol. 6. P. 508 (далее: Manifesto (1888)).

восстанавливается подлинный смысл фразы, слишком вольно перекроенной Макфарлин: «...and to barter truth, love, and honour for traffic in wool, beetroot-sugar, and potato spirits»<sup>73</sup>.

Еще более показательна другая попытка Макфарлин «улучшить» текст «Манифеста» и приблизить его к английскому читателю. Анализ этого добавления переводчицы выходит далеко за рамки оценок качества ее работы, приобретая в силу специфических обстоятельств особую значимость.

Третья глава III раздела «Манифеста» озаглавлена «Критически-утопический социализм и коммунизм». Начальные два абзаца посвящены оценке революционной литературы, проповедующей всеобщий аскетизм и грубую уравнительность. Прочитируем первый из них в подлиннике: «Wir reden hier nicht von der Literatur, die in allen großen modernen Revolutionen die Forderungen des Proletariats aussprach. (Schriften Babeufs usw.)»<sup>74</sup>

Этот абзац принадлежит к наиболее трудным для перевода и комментирования местам «Манифеста». У слова «modern», как уже говорилось, много значений, но в данном случае надо выбирать между «современный» и «относящийся к новому времени», «принадлежащий новому времени». Поскольку в тексте сказано «in allen großen modernen Revolutionen», а «великих революций», как похоже, рассуждала Макфарлин, было только две — Английская 1648 г. и Французская 1789 г., то она упростила себе задачу и, отбросив прилагательное в словах «современные революции», предпочла оборот с дополнением — «революции нового времени». В ее переводе первый абзац начинается так: «We do not speak here of the literature, which, in all the great revolutions of modern times, has expressed the demands of the proletariat...»<sup>75</sup>

Далее в подлиннике авторы «Манифеста» пояснили, чьи произведения они относили к такого рода литературе — в скобках стояло: «сочинения Бабёфа и т. д.». Но если первые два абзаца охватывали время с Английской революции до эпохи Сен-Симона

<sup>73</sup> По всей вероятности, как раз данный пример «отсебятины» Макфарлин и побудил Энгельса не ограничиться восстановлением смысла оригинала, а снабдить английский перевод 1888 г. следующим примечанием: «Это относится главным образом к Германии, где земельная аристократия и юнкерство ведут хозяйство на большей части своих земель за собственный счет через управляющих и вдобавок являются крупными владельцами свеклосахарных и винокуренных заводов. Более богатые английские аристократы до этого не доплыли; но они тоже знают, как можно возмещать падение ренты, предоставляя свое имя учредителям более или менее сомнительных акционерных компаний» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 449).

<sup>74</sup> Manifest. S. 699.

<sup>75</sup> MEGA. I/10. S. 626.

на, Фурье и Оуэна, если «великих революций» было, по тогдашним представлениям, всего две, то почему на первом месте упомянуты сочинения Бабёфа? Почему он открывает ряд подобных произведений революционной литературы, тогда как ему с последователями надлежало бы его завершить? Переводчица обнаруживает, как ей кажется, явную несообразность, допущенную авторами «Манифеста». Ей известно, что и в эпоху Английской революции существовала литература, проповедовавшая всеобщий аскетизм и грубую уравнительность,— прежде всего памфлеты левеллеров. Поэтому она считает возможным исправить то, что воспринимает как промах, и восполнить текст. Вместо «сочинения Бабёфа и т. д.» Макфарлин, никак не оговаривая, что это ее собственное пояснение, дает свой вариант: «Мы не говорим здесь о литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата, как, например, памфлеты левеллеров, сочинения Бабёфа и других»<sup>76</sup>.

Читатель, никак не предупрежденный о самовольной вставке переводчицы<sup>77</sup>, воспринимая весь этот отрывок целиком, приходил к выводу, будто авторы «Манифеста» причисляли и революционные памфлеты левеллеров к литературе, которая по своему содержанию неизбежно является реакционной.

Поторопившись со своей «вставкой о левеллерах», Макфарлин допустила явную оплошность. Причиной тому было ее незнание высокой оценки, даваемой Марксом и Энгельсом левеллеровскому движению. Еще совсем недавно, 5 апреля 1850 г., на празднестве, посвященном памяти Робеспьера, Энгельс, говоря о славных революционных традициях английского народа, воздал должное левеллерам<sup>78</sup>. Однако главная причина допущенного Макфарлин промаха заключалась в другом: она не знала, что далеко не всякую проповедь аскетизма и грубой уравнительности Энгельс считал реакционной. Здесь он тоже отстаивал принцип историзма. В средние века и в начале нового времени такая проповедь пробуждала революционную активность масс. И только с развитием производительных сил утратила она свою стимулирующую роль, превратилась в анахронизм и стала тормозом общественного прогресса.

Примерно в то же самое время, когда Макфарлин сделала в английском переводе «Манифеста» свою «вставку о левеллерах», Энгельс, завершая работу над «Крестьянской войной

<sup>76</sup> Ibid.: «...as leveller pamphleteers, the writings of Babeuf and others».

<sup>77</sup> Добавление о памфлетистах-левеллерах условно назовем «вставкой о левеллерах».

<sup>78</sup> MEGA. I/10. S. 566, 1076.

в Германии», пополнил рассказ о движении Ганса Бёхайма, как нам уже известно, важным теоретическим обобщением, касающимся «плебейско-пролетарского аскетизма»<sup>79</sup>. Необходимость такого обобщающего отступления диктовалась идейной борьбой в Союзе коммунистов и нападками сектантов на создателей «Манифеста» за их осуждение проповеди «всесобщего аскетизма» и «грубой уравнительности» — проповеди, которая занимала важное место в идейной платформе раскольников. Эти строки «Манифеста», суровые, гневные, не утратившие своей политической злободневности, воспринимались противниками Маркса и Энгельса совсем не как исторический экскурс, а как часть актуальнейшей программной декларации.

Элен Макфарлин думала «подправить» текст «Манифеста». Расширив хронологические рамки «исторического экскурса» (от заговора Бабёфа до 1848 г. прошло лишь полстолетия, а от памфлетов левеллеров — целых два века), она невольно выступила против того принципа историзма в оценке «плебейско-пролетарского аскетизма», на необходимости которого настаивал Энгельс.

Поэтому естественно, что при подготовке к печати нового, авторизованного перевода Энгельс (если этого не сделал раньше сам Мур) выбросил столь неуместную «отсебятину» Макфарлин («вставку о левеллерах») и «революции нового времени» изменил в соответствии с подлинником на «современные революции». Или, точнее, написал: «...в каждой современной великой (или «крупной»). — А. Ш.) революции...»<sup>80</sup>.

Исключение «поясняющей вставки» переводчицы восстановило Бабёфа в качестве зачинателя такого рода литературы. Тем самым были отвергнуты и возможные ассоциации с эпохой Английской революции. А это, в свою очередь, показывало, что при всем богатстве значений прилагательного «гrob» слова *in allen großen modernen Revolutionen* следует понимать не как «во всех великих революциях нового времени», а как «во всех крупных современных революциях».

Излишне подчеркивать, сколь важно это уточнение и для характеристики обстановки, в которой писался «Манифест», когда Марксу и Энгельсу приходилось бороться с очень живучими идеями грубого уравнительства, восходящего к Бабёfu, «казарменного коммунизма», вейтлингианства. Разумеется, правильное понимание этого отрывка весьма существенно и для выяснения взглядов создателей «Манифеста» на

<sup>79</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 377—378.

<sup>80</sup> Manifesto (1888). P. 514.

историю и предысторию всякого рода коммунистических представлений.

Однако отторжение неоправданной вставки, сделанной Элен Макфарлин было, пусть косвенно, совершено вторично и опять в авторизованном Энгельсом переводе, на этот раз — французском. Им при содействии Энгельса (он дважды просмотрел перевод) занималась Лаура Лафарг<sup>81</sup>, вторая дочь Маркса. Здесь тоже нет, как нетрудно догадаться, слов о памфлетах левеллеров, а упомянутые революции названы «современными»<sup>82</sup>.

Левеллеры-памфлетисты, появившиеся было в «Манифесте» по воле торопливой переводчицы, из текста исчезли. И вполне справедливо, что теперь нелегко навязать им роль предтеч Бабёфа, оспаривающих у него первородство.

Сохраним же за Гракхом Бабёфом его непреложное право на веки вечные оставаться родоначальником той революционной литературы, которая сопровождала первые движения еще не зрелого пролетариата и была по своему содержанию неизбежно реакционной.

Не боясь повториться, подчеркнем: два начальных абзаца третьей главы раздела III — это исторический экскурс, а прежде всего чрезвычайно актуальная, даже злободневная политическая декларация, направленная против идейных противников Маркса и Энгельса в рядах самого коммунистического движения. Скажем больше: эти строки «Манифеста», а тем паче, упорная защита Марксом и Энгельсом принципиальной правоты высказанных положений, приходились очень не по вкусу многим «стихийным коммунистам». Гневное осуждение поборников всеобщего аскетизма и грубой уравнительности попало не в бровь, а в глаз именно тем, кто в силу своей окостенелой ограниченности выступал с архиреволюционных позиций против «писательских элементов», толкая Союз коммунистов к расколу. Их яростные нападки на авторов «Манифеста» нагляднейшим образом показывают, в носителей каких настроений метил разобранный нами отрывок, которому подчас придают излишне ретроспективный характер в ущерб его острому политическому звучанию.

При новой публикации «Манифеста», переводя слова «in allen großen modernen Revolutionen», следует отказаться от варианта, которому отдал предпочтение Рязанов, и писать: «во всех крупных современных революциях», имея в виду, помимо Великой

<sup>81</sup> См.: Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Ч. I. С. 79, 82—83, 93.

<sup>82</sup> Текст ниже даем по воспроизведению в «L'Ère Nouvelle» (1884. N 9—11). N 10. P. 307: «Il ne s'agit pas ici de la littérature qui, dans toutes les grandes révolutions modernes, a formulé les revendications du prolétariat (les écrits de Babœuf, etc.).»

французской революции, крупные революционные выступления первой половины XIX столетия.

Для полноты аргументов, как мы прекрасно сознаем, недостает существенного довода: необходимо доказать, что в эпоху, когда создавался «Манифест», немцы действительно употребляли слова «гро́зе Revolutionen» и в предложенном нами смысле. Надо найти пример, прямо свидетельствующий, что так говорили и о «крупных современных революциях», а не только о двух «великих революциях нового времени». Ищите и обрящете! Лоренц Штейн в своей знаменитой книге отзывался о Июльской революции 1830 г. как о «последней крупной революции»<sup>83</sup>.

Предлагаемое уточнение относительно проповеди аскетизма и грубой уравнительности, сопровождавшей крупные революционные выступления пролетариата первой половины XIX в., существенно не только для истории утопического коммунизма. Оно лишает оснований любые попытки утверждать, будто в 1848 г. творцы «Манифеста» причисляли к великим революциям, помимо английской и французской, еще какие-то «революции нового времени». Однако главное в этом уточнении, на наш взгляд, в другом — в открывающихся возможностях иного осмыслиения двух разобранных абзацев — как свидетельства напряженной идейной борьбы среди коммунистов непосредственно перед изданием «Манифеста» и страстной, бескомпромиссной неприязни его авторов к любым проявлениям грубоуравнительных тенденций, какими революционными лозунгами их бы ни прикрывали.

В эпоху, когда крупное машинное производство и успехи науки создали предпосылки для невиданного расцвета европейской цивилизации, всякие призывы к аскетизму и поголовному нивелированию неизбежно являются, в представлении создателей «Манифеста», *реакционными по своему содержанию*.

Глубину этой оценки подтвердил весь ход дальнейшей истории. Рецидивы примитивного, еще совершенно грубого и неосмысленного коммунизма, уходящего корнями в бабувистские учения<sup>84</sup>, отрицающего повсюду личность человека и весь мир

<sup>83</sup> Stein L. Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs: Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Leipzig, 1842. S. 397: «...gleich nach der letzten großen Revolution...»

<sup>84</sup> В качестве грустного курьеза нашей науки приведем пример того, как подчас обращались с «Манифестом»: «Маркс и Энгельс высоко ценили деятельность Бабёфа; в „Манифесте Коммунистической партии“ сочинения Бабёфа характеризуются как литература, которая „...выражала требования пролетариата...“» О том, что Бабёф — единственный названный по имени «зачинатель» литературы, реакционной по своему содержанию, разумеется, ни слова. См.: Советская историческая энциклопедия. М., 1962. Т. 2. Стлб. 16.

культуры и цивилизации, стремившегося немедленно, вопреки историческим условиям<sup>85</sup>, насилиственно «ввести коммунизм» в его «казарменной» форме, сперва раскололи и погубили Союз коммунистов, а потом принесли неисчислимые беды всему коммунистическому движению.

Не забудем, что именно творцы «Манифеста», имея в виду не весьма далекое прошлое, а прежде всего собственных современников, в том числе и коммунистов, во всеуслышание объявили: революционные призывы к грубой уравнительности по своему содержанию реакционны.

<sup>85</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 114—115; Т. 8. С. 582.

## НЕПОНЯТАЯ «ПРЕДЫСТОРИЯ»

\*

Два слова, вырванные из контекста, чуть было не превратились если и не в понятие, то по крайней мере в некий знак предостережения, который мог хотя бы частично охладить споры, касающиеся периодизации развития социалистической мысли. В полемике о предмете и методе этой отрасли обществоведения пошло в ход выражение Энгельса «предыстория социализма». Но толковать его принялись весьма своеобразно, в зависимости от взглядов, коим искали подкрепление, не считая нужным выяснить<sup>1</sup>, какой смысл вкладывал Энгельс в выражение «предыстория социализма» и почему оно появилось. В лучшем случае находили опору в кратком примечании к письму Энгельса и попадали впросак<sup>2</sup>, поскольку комментатор допустил досадную неточность относительно упомянутой там книги. Мы не говорим уже о том, что история самого издания, оказавшего столь значительное влияние на многих наших авторов, оставалась неисследованной. Они искренне верили, что молодые сотрудники Энгельса разделяли его представления о развитии социалистической мысли.

25 марта 1895 г., отвечая на письмо Каутского с вестью о посылке в ближайшие дни только что вышедшей книги, Энгельс писал: «Твою „Предысторию социализма“ я, к сожалению, до сих пор еще не получил; жду эту работу с нетерпением не только из-за анабаптистов — хотя из-за этого особенно; в предшествующих движениях еще очень многое также нуждается в объяснении. Весьма жаль, что, работая над таборитами, ты не мог обратиться к чешским источникам, но это совершенно нельзя было сделать без длительного пребывания в Богемии и без особого доступа к рукописным материалам»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См., например: Володин А. И. О понятии «утопический социализм» // История общественной мысли: Современные проблемы. М., 1972. С. 453, 457, 467. См. также: Методологические проблемы истории философии и общественной мысли. М., 1977. С. 114.

<sup>2</sup> См.: Кучеренко Г. С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии, XVI—первая половина XIX в. М., 1981. С. 23—24.

<sup>3</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 369.

В комментарии к письму говорится, что речь идет о книге «Предшественники новейшего социализма» (Штутгарт, 1895). Это был I том в двух частях, предназначенный для коллективного издания «История социализма в отдельных очерках»; первая часть «От Платона до анабаптистов» написана Каутским, во вторую часть наряду с работами Каутского, Лафарга и Гуго вошла также работа Бернштейна<sup>4</sup>. Приведенная в комментарии ссылка на еще одно упоминание названной книги в письме Энгельса не оставляет никаких сомнений: речь идет о I томе этого издания. 3 апреля Энгельс сообщал Лафаргу, что работу его «Происхождение и развитие собственности» читать еще не кончил, так как получил много разных посылок, в том числе и «I том „Истории социализма“ Каутского»<sup>5</sup>. Казалось бы, все ясно. Однако некоторые обстоятельства, связанные с выходом этой книги, требуют специального изучения.

Итак труд, который участники издания рассматривали как начало и неотъемлемый компонент многотомной «Истории социализма», Энгельс назвал «Предысторией социализма». Но что он имел в виду? Только ли первую часть I тома, носявшую подзаголовок «От Платона до анабаптистов», или вторую тоже — «От Томаса Мора до кануна Французской революции»? Действительно, что же Энгельс называл «предысторией социализма»? Лишь время, предшествующее появлению «Утопии»? Тогда, вероятно, он не имел ничего против, чтобы считать Томаса Мора родоначальником утопического социализма. Или же к «предыстории социализма» он относил и древность, и средневековье, и XVI—XVII вв., и почти все XVIII столетие?

Первая и вторая части I тома имеют одно и то же заглавие — «Предшественники новейшего социализма»<sup>6</sup>. Каждая из частей, иногда их называли полутомами, снабжена собственным титульным листом. Как год издания, так и контритул с общим названием всего труда «История социализма в отдельных очерках» были одинаковы (за исключением, конечно, указания «часть первая», «часть вторая»)<sup>7</sup>. Но чтобы усмотреть это, надо подержать том в руках. Однако когда Энгельс упомянул о «предыстории социализма», книги он еще не видел. Он ее только ждал.

<sup>4</sup> См.: Там же. С. 500.

<sup>5</sup> Там же. С. 374, 502.

<sup>6</sup> Die Vorläufer des Neueren Sozialismus. Название I тома обычно переводят «Предшественники новейшего социализма», хотя II том должен был быть посвящен социализму конца XVIII — первой половины XIX в., а «новейший социализм» (der neueste Sozialismus), согласно словоупотреблению авторов разбираемого труда, — социализм второй половины XIX столетия. См. проспект издания: Der Sozialdemokrat. 1894. N 31. 30 Aug.

<sup>7</sup> Die Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen. Erster Band. Книга неоднократно выходила и в русском переводе.

Обратимся к письму, на которое отвечал Энгельс. «Моя доля в „Истории социализма“ — „От Платона до анабаптистов“, — писал Каутский 5 марта 1895 г., — ныне полностью имеется налицо и, вероятно, на этих днях прибудет к тебе»<sup>8</sup>. Если нет времени или охоты читать все целиком, то пусть Энгельс, по крайней мере, прочтет главу об анабаптистах, просил Каутский. Далее он рассказывал, как шла его работа, хвалил части, написанные другими авторами: Бернштейном — об Английской революции и Лафаргом — о Кампанелле. «Надеюсь, — резюмировал Каутский, — что целое станет хорошей книгой»<sup>9</sup>.

Как понимать эти слова? Каутский доволен, что получилась хорошая книга? Или только выражает надежду, что выйдет хорошая книга? Да и почему он упомянул, что Энгельс получит на днях его, Каутского, долю участия в «Истории социализма»? Иначе говоря, о чем уведомляет Каутский Энгельса — о предстоящем вручении ему I тома целиком или лишь его первой части?

Но что тут гадать? Ведь Лафаргу Энгельс прямо написал, что получил I том «Истории социализма». Да и Каутский, объясняя задержку бандероли, тоже говорил о I томе<sup>10</sup>. Ведь не рискнем же мы утверждать, будто и получатель бандероли, и отправитель одинаково неточно высказались о ее содержимом?

Однако это было именно так. «Историю социализма» Диц издавал отдельными выпусками, по два печатных листа в каждом, т. е. по 32 страницы. Каждый выпуск имел собственную обложку, выходил в свет с гарантированной пунктуальностью — раз в две недели. В начале марта 1895 г. все выпуски, составлявшие первую часть, уже вышли<sup>11</sup>.

Даже если бы мы настаивали, что Каутский намеревался послать Энгельсу лишь первую часть — «От Платона до анабаптистов»<sup>12</sup>, то и тогда рискованно делать вывод, будто под «предысторией социализма» Энгельс имел в виду только период, завершающийся анабаптистами. И вот почему. Энгельс и до

<sup>8</sup> Briefwechsel. S. 422—423.

<sup>9</sup> Ibid. S. 423.

<sup>10</sup> Ibid. S. 428.

<sup>11</sup> Ibid. S. 422—423. В еженедельной газете «Der Sozialdemokrat» сообщение об этом было опубликовано в номере от 14 марта.

<sup>12</sup> Вынужденную задержку с отсылкой, о которой говорится достаточно глухо, объяснить можно было бы тем, что Каутский решил подождать, пока появится следующий выпуск. Для этого были бы определенные резоны. Каутский писал Энгельсу о «своей доле» в «Истории социализма», однако его «доля» не ограничивалась первой частью: глава, посвященная Мору (С. 437—468 немецкого текста), вообще находилась во второй части (С. 28—30). Иными словами, начало главы о Море было еще в 14-м, «анабаптистском» выпуске, а окончание в 15-м, три четверти которого были уже посвящены Кампанелле (С. 469—480).

письма Каутского прекрасно знал, что I том вовсе не заканчивается рассказом об анабаптистах. Он читал корректурные листы этого же тома, листы написанного Бернштейном пятого раздела, который назывался «Коммунистические и демократически-социалистические течения в английской революции XVII в.»<sup>13</sup>.

Неизвестно, какую часть работы Энгельс прочел, а прочел он ее не всю<sup>14</sup>, но он не мог не заметить, хотя бы по нумерации страниц (написанный Бернштейном раздел достаточно велик, он занял с. 507—718), что это часть единого целого. Тем более что первая и вторая части I тома имеют сплошную пагинацию. Мы уже не говорим о том, что, возвращая Бернштейну корректурные листы и обсуждая с ним прочтенное, Энгельс, разумеется, знал, что читал он корректуру I тома «Истории социализма в отдельных очерках», тома, который назывался «Предшественники нового социализма», а его изложение завершалось кануном Французской революции.

Но даже без знакомства с доставленной Бернштейном корректурой и без предшествующих этому объяснений с автором Энгельс был уже хорошо осведомлен о составе затеянного издания. И первое уведомление в «*Neue Zeit*»<sup>15</sup>, и беседа с Каутским, ненадолго приезжавшим в Лондон<sup>16</sup>, и проспект, опубликованный Дицем в августе 1894 г.,—все наводило на мысль, что предстоял выход I тома «Истории социализма», который начинался с Платона и должен был довести изложение до Французской революции. Энгельс, насколько можно судить по переписке, не получал никаких сообщений об изменении плана издания, разделении I тома на две отдельно выпускаемые части.

Короче, как бы Энгельс ни понял извещения о присылке книги, тома ли целиком, первой ли его части (когда и какие выпуски выходили в свет, он ведь мог и не знать точно), тем не менее он давным-давно был осведомлен, что Диц и его авторы сочли возможным представить рассказ о многообразных и по сути своей различных социальных движениях и различных течениях общественной мысли—от седой древности до Французской революции—как I том «Истории социализма».

Поэтому совершенно закономерна и оправдана реакция Энгельса на весть, полученную от Каутского. То, что ему пришлют (он был уверен),—совсем еще не история социализма, а лишь его предыстория. Об этом и говорит переиначенное им название книги.

<sup>13</sup> Briefwechsel. S. 423, 426, 235; см. также: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 368, 400, 500.

<sup>14</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 368.

<sup>15</sup> Die Neue Zeit. 1894. N 18. S. 579.

<sup>16</sup> Briefwechsel. S. 402.

Случайность? Нет. Корректное, но твердое напоминание, что он, Энгельс, держится иной точки зрения и что ни проспект издания, ни знакомство с отдельными листами корректуры его позиции ни в коей мере не поколебали. Для Каутского рассуждения Платона об общности имуществ у «стражей» идеального государства и «древнехристианский коммунизм» — это не просто начальные главы истории «предшественников социализма». В Платоне и древних христианах, живших общиной, он видит «предшественников *нового* (или «новейшего», как значится в прежних переводах) социализма». Иными словами, Платон и древние христиане — неотъемлемая часть общей истории социализма и по праву занимают в ней достойное место (вспомним название всего труда — «История социализма в отдельных очерках»), предшественниками они выступают не по отношению к социализму вообще, а лишь по отношению к социализму *новому* (или — «новейшему»).

Энгельс подобной точки зрения не разделял и не преминул это еще раз подчеркнуть: многовековое развитие различных учений и движений, провозглашавших и отстаивавших общность имуществ, которое Каутский и его единомышленники выдавали за начальный период истории социализма, он кратко и недвусмысленно охарактеризовал как «предысторию социализма».

Вернемся, однако, к занимающей нас книге. Именно первая часть I тома, а не обе части сразу, была послана Энгельсу в марте 1895 г. И нас не должны смущать, казалось бы, точные слова Каутского. «I том „Истории социализма“, — писал он 25 марта, — отправлен тебе позже, чем я ожидал. Теперь он, вероятно, у тебя в руках»<sup>17</sup>. Речь в действительности идет лишь о первой части. Каутский должен был бы, конечно, указать, что имеет в виду первый полутом. Но ведь он не библиографическую составлял справку — говорил о посланной книге, говорил тому, кто эту книгу уже получил или получит со дня на день. Здесь именно неточность, об этом свидетельствует непреложный факт: целиком I том в руках Энгельса не был и быть не мог. Вторая его половина увидела свет месяца полтора спустя после смерти Энгельса<sup>18</sup>.

Издание, начавшее выходить в сентябре 1894 г., осуществлялось так регулярно, что в начале марта следующего года типографию покинули 13-й и 14-й выпуски. Уже 5 марта Каутский писал о намерении выслать Энгельсу «свою долю» этого труда. Кстати, и не очень-то ясные прежде слова: «Надеюсь, что целое станет хорошей книгой», звучат понятней, если учесть, что, от-

<sup>17</sup> Ibid. S. 428.

<sup>18</sup> Der Sozialdemokrat. 1895. N 39. 26 Sept.

зыаясь с похвалой о главах, написанных Бернштейном и Лафаргом для второй части, Каутский основывался на своем знакомстве с ними в рукописи или корректуре<sup>19</sup>. Полностью том из печати еще не вышел. Это и заставляло говорить о целом в будущем времени.

Установление этих фактов позволяет уточнить одну из подробностей в летописи жизни Энгельса и соответственно уточнить комментарий к упомянутому письму. Более того, новые данные помогут лучше понять и письмо Энгельса от 21 мая 1895 г.<sup>20</sup>, где речь идет о доставленной ему ранее книге и всей возмутительной истории, связанной с ее изданием. Замечания о работе Бернштейна, опубликованной позднее во второй части,— результат предварительного знакомства с ней в корректуре. Тома целиком Энгельс так и не увидел. Если в письме от 21 мая 1895 г. Энгельс не упоминает о Томасе Море и «Утопии», то отнюдь не потому, что свое мнение о книжке, посвященной Мору<sup>21</sup>, он давно уже высказал автору, и тем более не потому, что-де считал его воззрения относительно места Мора в истории социализма верными. Энгельс не упоминает Мора по иной и вполне понятной причине: глава, в которой о нем говорится, не входит в состав полученной им первой части, ею открывается вторая часть, а гранки этой главы ему не присыпались<sup>22</sup>.

Итак, вопреки распространенному мнению, в последних числах марта 1895 г. или первых числах апреля Энгельс получил не весь I том «Истории социализма», а лишь первую его часть.

Однако так ли уж существенно, что находилось в бандероли, если, говоря об «Истории социализма», Энгельс имел в виду не только часть Каутского, вышедшую из печати, но и часть Бернштейна, с которой знакомился в корректуре? Для нас ведь сейчас не так важно то, что Энгельс действительно получил в бандероли, как то, что он *ожидал получить*.

Мы вправе были бы настаивать, что, говоря о «Предыстории социализма», Энгельс разумел весь I том целиком—вплоть до Французской революции, если бы точно представляли себе источники его осведомленности. Ведь и независимо от письма Каутского, где речь шла о материалах всего тома, Энгельс мог уже знать о выходе в свет первого полутома и, следовательно, об издательском новшестве, выразившемся в разделении, вопреки первоначальному замыслу, I тома на две отдельные части.

<sup>19</sup> Briefwechsel. S. 423.

<sup>20</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 397—400.

<sup>21</sup> Kautsky K. Thomas More und seine Utopie.

<sup>22</sup> Briefwechsel. S. 423.

Посему нельзя быть уверенным, что, упомянув о «Предыстории социализма», Энгельс не мог подразумевать здесь первый полуотом, о выходе которого было объявлено в печати. А раз так, и мы не знаем степени осведомленности Энгельса в издательско-торговых перипетиях этого труда, то нельзя делать далеко идущие выводы из упоминания о «Предыстории социализма». Совершенно бесспорно, что различные учения «От Платона до ана뱁тистов», которые подчас выдавали за социалистические,— во всех случаях, по Энгельсу, лишь «предыстория социализма». Это, однако, не значит, что Энгельс не относил к этой же «предыстории» и следующий период — «От Томаса Мора до Французской революции».

Было бы поэтому весьма неосторожно видеть в самом упоминании о «Предыстории социализма» аргумент в обоснование мысли, будто историю социализма надо начинать, если и не с Платона, то, конечно же, с Томаса Мора<sup>23</sup>. Это было бы тем более странно, что Маркс и Энгельс связывали возникновение социализма не с эпохой так называемого первоначального накопления, а с совсем иным и куда более поздним периодом в развитии капиталистического способа производства, с борьбой пролетариата против господства буржуазии.

Ясно, что если социализм, по Энгельсу, появился на заре XIX в., то любые, даже самые радикальные учения минувших столетий, призывавшие к «общности», — от средневековых еретиков до Томаса Мора или Мелье.— всего лишь «предыстория социализма». Предыстория социализма — это вовсе не ранняя его история, а история движений и идей, пусть в чем-то и родственных социализму, но *предшествовавших его возникновению*.

Отнесение тех или иных явлений к предыстории социализма совершенно не умаляет ни их исторической роли, ни необходимости их тщательного изучения. Просто речь идет о временах, когда еще не существовало реальных исторических предпосылок для появления социализма<sup>24</sup>. Критикуя работы Каутского и Бернштейна, вошедшие в I том «Истории социализма», Энгельс — обратим на это особенное внимание — вовсе не при-

<sup>23</sup> Ана뱁тисты, связанные с Мюнцером, не говоря уже об Иоанне Лейденском и Мюнстерской коммуне, хронологически должны были бы следовать за «Утопией», а не предшествовать ей. Однако дабы убедиться, что в посланной Каутским книге нет речи о Море, надо было ее увидеть. Энгельс же упомянул о «Предыстории социализма» еще до получения бандероли. Поэтому было бы рискованно утверждать, что, причисляя Мюнцера и ана뱁тистов к «предыстории социализма», Энгельс делал для Мора исключение и с него начинал собственно историю социализма.

<sup>24</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 225—227.

зывал отказаться от занятий такой «предысторией». Напротив, он призывал настойчиво продолжать исследование, дабы будущая книга была более совершенной, чем ее первоначальный набросок<sup>25</sup>. Смысль же его упоминания о «предыстории социализма» как раз и заключался в призывае соблюдать большую теоретическую четкость в исторических трудах и не относить к истории социализма то, что социализмом еще не было.

Сделанное Энгельсом замечание относительно «предыстории социализма» должно еще раз напомнить, что возникновение утопического коммунизма и социализма отделено тяжкой дистанцией от всякого рода туманных проповедей общности имуществ и утопических изображений идеального общественного строя, созданных в предшествующую эпоху.

Позже, публикуя письмо Энгельса, где говорилось об его отношении к изданию «Истории социализма в отдельных очерках», Каутский старался создать у читателей, прежде всего, конечно, у социал-демократов и людей, им сочувствующих, впечатление, будто эта книга писалась при полном одобрении Энгельса.

Однако такая посылка начинает вызывать тем большую настороженность, чем внимательней вчитываешься в текст книги. Первое, что удивляет,—странная расплывчатость понятий: речь идет о «платоновском коммунизме», о «коммунизме древних христиан», о «монастырском коммунизме» и средневековом «коммунизме еретиков». Разве всякое рассуждение об общности имуществ, независимо от его реального содержания, следует относить к коммунистическим учениям? Ведь Маркс и Энгельс никогда не причисляли Платона к «поборникам коммунизма», а о «социализме» ранних христиан высказывались весьма критически, как и вообще о социальных принципах христианства.

Маркс высоко ценил работу Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» и называл ее *«введением в научный социализм»*<sup>26</sup>. Однако развернутую там концепцию истории социализма Каутский и Бернштейн сочли возможным в своем труде «пополнить» такими добавлениями, которые не могли не вызвать возражений Энгельса.

Знаменательно, как он переиначил название посланной ему книги. Многовековую историю различных учений и движений, провозглашавших и отстаивавших общность имуществ, которую Каутский и его соавторы считали начальным периодом истории

<sup>25</sup> См.: Там же. Т. 39. С. 400.

<sup>26</sup> См.: Там же. Т. 19. С. 245.

социализма, Энгельс кратко и недвусмысленно охарактеризовал как «предысторию социализма».

Поскольку концепция истории социализма, изложенная в этом сочинении, нередко воспринималась именно как концепция, одобренная Энгельсом, истинные обстоятельства ее создания заслуживают специального разбора.

\* \* \*

Три дня спустя после смерти Энгельса очередной номер «*Neue Zeit*», еженедельника Социал-демократической партии Германии, вышел в траурном обрамлении. Немецкие рабочие, как и пролетарии других стран, скорбили о кончине одного из великих своих духовных вождей.

В следующем номере «*Neue Zeit*», появившемся в середине августа 1895 г., Карл Каутский, редактор еженедельника, поместил небольшую публикацию «Из последних писем Фридриха Энгельса».

«Мы задали Энгельсу, отличавшемуся неизменной готовностью помочь советом,— вспоминает Каутский,— ряд вопросов, в том числе и о милиции, и об истории Интернационала, которую предстояло писать для IV тома „Истории социализма“. Он ответил в своем письме от 25 марта сего года..»<sup>27</sup>. И Каутский приводит почти полностью абзац письма, где говорилось: Франция и Германия в настоящий момент не могут прийти к соглашению о превращении своих армий в милиционную армию<sup>28</sup>.

Затем Каутский процитировал часть письма, где Энгельс предупреждал, что у того, кто будет заниматься историей Интернационала, возникнут большие затруднения из-за сложности собирания документов. Тут же Энгельс сообщал, что материал, находящийся у него, он намерен использовать для биографии Маркса, которую начнет с наиболее важной части: Маркс и Интернационал<sup>29</sup>.

«Последнее письмо Энгельса к нам,— продолжал Каутский,— датировано 21 мая. Оно содержит в основном критику первого полутома „Истории социализма“, но в нем говорится также и о работах, которые нам предстоит сделать»<sup>30</sup>.

И Каутский воспроизвел большой отрывок из письма Энгельса:

«О твоей книге могу сказать, что чем дальше, тем она лучше. Платон и первоначальное христианство согласно намеченному

<sup>27</sup> Die *Neue Zeit*. 1895. N 47. S. 645.

<sup>28</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 367—368.

<sup>29</sup> Там же. С. 368—369.

<sup>30</sup> Die *Neue Zeit*. 1895. N 47. S. 646.

плану разобраны еще слишком недостаточно<sup>31</sup>, средневековые секты — уже значительно лучше и дальше идет crescendo. Лучше всего — тaborиты, Мюнцер, ана뱁тисты. Во многих местах весьма серьезные экономические обоснования политических событий, но наряду с этим есть и общие места, где сказалась недостаточность знаний. Я из этой книги узнал очень многое; для моей переработки „Крестьянской войны“ она дает подготовительный материал. Главных ошибок, по-моему, две: 1) весьма недостаточно исследованы развитие и роль стоящих совершенно вне феодальной структуры деклассированных, поставленных в положение чуть ли не париев, элементов, появление которых было неизбежно при образовании любого города и которые составляли самый низший, бесправный слой населения любого средневекового города и находились вне общины-марки, вне феодальной зависимости и цехового союза. Такое исследование является нелегким делом, но это главная основа, потому что постепенно, с распадом феодальных связей из этих элементов образуется тот предпролетариат, который в 1789 г. совершил революцию в парижских предместьях, воврав в себя всех отверженных феодального и цехового общества. Ты говоришь о пролетариях — выражение неподходящее — и включаешь сюда ткачей, большое значение которых ты изображаешь совершенно правильно, но ты можешь причислить их к своему «пролетариату» только после того, как появились деклассированные, стоящие вне цехов ткачи-подмастерья, и лишь поскольку таковые появились. Тут еще многое придется доработать.

<sup>31</sup> См.: Marx K., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 399. Фраза «Платон и первоначальное христианство согласно намеченному плану разобраны еще слишком недостаточно...» нуждается, возможно, в комментарии или уточнении перевода. В чем Энгельс упрекает Каутского? В том, что Платон и раннее христианство разработаны еще слишком недостаточно, хотя и согласно намеченному плану? Т. е. Энгельс высказывает пожелание, чтобы в общей истории социализма этим сюжетам было удалено больше внимания? Или наоборот: первоначальный замысел — создание истории социализма и рабочего движения — требует иного отношения к Платоновой утопии и раннему христианству? Мы склоняемся именно к такому пониманию: Платон и раннее христианство трактуются, имея в виду первоначальный замысел, еще слишком неудовлетворительно. Ср.: Marx K., Engels F. Werke. Bd. 39. S. 482: «Plato und das Urchristentum sind noch zu ungenügend nach dem ursprünglichen Plan behandelt».

Иными словами, Энгельс не утверждал, что, создавая многотомную историю коммунистических и социалистических учений, вообще не стоит рассказывать ни о проекте Платона, оказавшего большое влияние на последующих утопистов, ни о социальных устремлениях раннего христианства, ни о чаяниях средневековых еретиков; он отметил только, что делать это надо иначе, чем сделал Каутский.

2) Ты не вполне учел положение на мировом рынке,— поскольку о нем может идти речь,— международное экономическое положение Германии в конце XV века...<sup>32</sup>

Однако все это между прочим. Ты и Эде<sup>33</sup>, вы оба взяли совершенно новую тему, а разработка таких тем никогда не удается полностью с первого раза. Вы можете радоваться, что написали книгу, которую не стыдно показать даже сейчас, когда имеется всего лишь, так сказать, первоначальный набросок. Но теперь вы оба обязаны не забрасывать работу в раз уже затронутой области, а продолжить исследование, чтобы через несколько лет подготовить переработанное издание, отвечающее всем требованиям»<sup>34</sup>.

Приведенные Каутским строки должны были внушить читателю мысль о том, что «История социализма» писалась с одобрения Энгельса и с учетом его советов.

\* \* \*

На закате жизни, 40 лет спустя после публикации «Из последних писем Энгельса», Каутский выпустил в свет книгу «Из ранней истории марксизма»<sup>35</sup>. «Давно уже намеревался я,— писал он во вступлении,— издать письма, которые Энгельс с 1881 г. вплоть до своей смерти посыпал мне. Но я считал важным снабдить их комментарием, который только и может сделать одно в них понятным, а иное убережет от неправильного понимания. Однако задачи настоящего постоянно так меняли владельцы, что я до сих пор не находил времени много заниматься моим прошлым. Меня часто побуждали написать воспоминания, но я так и не собрался. Ныне я хочу по крайней мере попробовать написать хотя бы тот кусок, который имеет особое значение, поскольку в центре рассказа стоит Фридрих Энгельс и поскольку он сам, главным образом, и говорит, а я лишь обеспечиваю аккомпанемент»<sup>36</sup>.

Далее Каутский уверял, что охотно бы опубликовал и все свои письма к Энгельсу, однако Бебель, распоряжавшийся литературным наследием Энгельса, вернул ему лишь немногие из них. Судьба других ему неизвестна. Те же, которыми он располагает, он издает наряду с письмами Энгельса.

Своим введениям к каждому разделу книги Каутский придавал большое значение, видя в этой публикации не просто собрание необработанных материалов, долженствующих служить ис-

<sup>32</sup> Опущенные нами здесь полтора десятка строк в публикации Каутского приведены полностью.

<sup>33</sup> Т. е. Эдуард Бернштейн.

<sup>34</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 399—400.

<sup>35</sup> Aus der Frühzeit des Marxismus.

<sup>36</sup> Ibid. S. 5.

точником для специалистов, а вклад в историю марксизма, который был бы понятен и интересен вся кому интеллигентному читателю.<sup>37</sup>

Письмо Энгельса от 21 мая 1895 г. лишь теперь — 40 лет спустя! — Каутский решился опубликовать полностью. Сличение этого текста с тем, что было напечатано в первый раз, не может не произвести впечатления. Почти половина письма, т. е. все, что показывало, как Энгельс на самом деле относился к изданию «Истории социализма в отдельных очерках», было при первой публикации опущено.

Вот часть, которая увидела свет лишь в 1935 г.:  
«Дорогой Барон!»<sup>38</sup>

На твое письмо от 6-го я ответил бы тебе тотчас же, но пренеприятная опухоль шейных желез, сопровождавшаяся сильной болью и неизбежной бессонницей, почти совершенно лишили меня трудоспособности на целых две недели. Но теперь тебе не придется дольше ждать.

Некоторое время тому назад вы предприняли издание «Истории социализма». Из всех людей на свете тогда был лишь один,— это я могу сказать наверняка,— сотрудничество которого в этом деле казалось совершенно необходимым, и это был я. Я могу даже сказать, что без моей помощи в подобной работе в настоящее время неизбежны ошибки и пробелы. И вы знали это не хуже меня. Но из всех мало-мальски пригодных для этой цели людей именно я был единственным, кого *не* пригласили сотрудничать. У вас, следовательно, должно быть, были очень веские основания для того, чтобы исключить именно меня. Я не жалуюсь на это, отнюдь нет. Вы имели полное право так поступить. Я лишь констатирую факт.

Что меня, однако, задело,—да и то на один лишь миг—это та странная таинственность, которой вы окружили все это дело по отношению ко мне, в то время как о нем говорили решительно все. Лишь через третьих лиц я узнал о вашем замысле, лишь по печатному проспекту ознакомился с планом издания. Ни от тебя, ни от Эде—ни слова; казалось, что у вас совесть не чиста. К тому же еще осторожные расспросы разных людей—так, между прочим,—как я отнушусь к этому делу, отказался ли я от сотрудничества и т. д. И, наконец, когда молчать уже было больше нельзя, милейший Эде заговорил об этом деле, со смущением и растерянностью, приличествуемыми при более неблаговидном поступке,—в то время как ничего дурного не произошло, за исключением этой смешной комедии, которая,

<sup>37</sup> Ibid. S. 6—7.

<sup>38</sup> Так в шутку называли Карла Каутского.

кстати, как может подтвердить Луиза<sup>39</sup>, доставила мне несколько поистине веселых минут.

Ну, хорошо. Вы поставили меня перед свершившимся фактом: „История социализма“ без моего сотрудничества. С этим фактом я с самого начала, не протестуя, согласился. Но этот вами же созданный факт вы не можете уже зачеркнуть, не можете его игнорировать, в случае если это вам почему-либо заблагорассудится. Точно так же и я не могу зачеркнуть этот факт. Если вы по зрелом размышлении захлопнули передо мной парадную дверь тогда, когда мой совет и моя помощь могли принести вам существенную пользу, то, пожалуйста, теперь не требуйте от меня, чтобы я пробирался к вам с черного хода, чтобы помочь выпутаться из затруднительного положения. Признаюсь, если бы нам пришлось поменяться ролями, то я бы очень и очень признался, прежде чем сделать тебе подобное предложение. Неужели так трудно понять, что каждый должен отвечать за последствия своих собственных поступков? *As you made you bed, as you must lie in it*<sup>40</sup>. Если в этом деле для меня нет места, то лишь потому, что вы сами так захотели.

Итак, с этим покончено. И сделай одолжение, считай этот мой ответ окончательным. Давай считать сей инцидент исчерпанным для нас обоих. Я и с Эде не стану об этом говорить, если только он не начнет сам»<sup>41</sup>.

Какая разница — и по содержанию, и по тону — с тем, что рассказывал Каутский об этом же письме при первой публикации! Пусть Энгельс и проявляет немалую сдержанность, само утаивание замысла создать «Историю социализма» и, тем более, последующее обращение к нему за помощью, явно его возмущают.

Письмо, в полном его виде, позиции Каутского не красит. Ему, вероятно, пришлось изрядно поломать голову над тем, какими пояснениями снабдить вторичную публикацию. Комментарий был пространнее самого документа.

«Помимо воли Энгельса это его письмо от 21 мая 1895 г., — начал „уточнять“ Каутский, — стало его прощальным письмом ко мне. Еще и сегодня я не могу читать его без глубочайшего потрясения. Оно одновременно заключало в себе строки вдохновляющие и подавляющие, было квинтэссенцией той противоречивой позиции, которую занял по отношению ко мне Энгельс после моего развода. Он одобрял мое политическое и научное

<sup>39</sup> Луиза Каутская (урожденная Штассер, по второму мужу Фрейбергер).

<sup>40</sup> Английская пословица, на русском языке ей соответствует: «Что посеешь, то и пожнешь» (Примеч. ред. т. 39 Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса).

<sup>41</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 397—398. На русском языке письмо было впервые опубликовано в журнале «Историк-марксист» (1936. № 2).

рвение, хотя кое-что и подвергал критике. Поэтому он сохранил дружбу со мной. Но вместе с тем в этом письме местами прорывается определенное ко мне недоверие. Правда, в своем письме Энгельс обращает упреки в такой же манере против Бернштейна, как и против меня. Хотя он находился с ним в постоянном устном общении, тем не менее Бернштейн никогда не сообщал мне о недовольстве, которое Энгельс испытывал по отношению к нам»<sup>42</sup>.

Ослабить весомость слов Энгельса Каутский хочет и ссылкой на Бернштейна. Раз тот никогда не сообщал о проявленном Энгельсом недовольстве, перед ним, вероятно, его не обнаруживали. Так, походя, Каутский бросает тень на искренность Энгельса: одному из «виновников» он, мол, высказал свое недовольство, другому — нет.

«Энгельс,— продолжал Каутский,— имел бы полнейшее право сетовать на нас, если бы дело обстояло именно так, как он считал. Т. е. если бы мы действительно составили план „Истории социализма в отдельных очерках“ и всех авторов, которые при этом имелись в виду, пригласили бы сотрудничать, за исключением его, от которого все начинание держалось в тайне. В действительности весь ход дела был совершенно другой»<sup>43</sup>.

Иными словами, Энгельс, по Каутскому, в своем последнем письме к нему изображает случившееся не так, как оно было на самом деле. И Каутский принимается пространно рассказывать: «Еще в 1887 г., в Лондоне, начал я изучать восстание Мюнцера, продолжал в Штутгарте, включив в область моего исследования и более поздних анабаптистов. С 1893 г. трудился я над соответствующим сочинением, о чем Энгельс прекрасно знал. Он высказывался об этом в публикуемых здесь письмах. Примерно в то же время и Бернштейн занимался социалистическими течениями в Английской революции середины XVII столетия. Поразительному случаю было угодно, чтобы и другой сотрудник „Neue Zeit“, доктор Г. Линдеман, одновременно занимался историей социалистической мысли во Франции, о чем он в „Neue Zeit“ в 1893 г. опубликовал большую серию статей»<sup>44</sup>.

Каутский притягивает на объективность, сыплет подробностями. Ничего не скажешь, ряд совпадений, но о каком «утаивании» может быть речь, коль скоро Энгельс знал и о его занятиях Мюнцером, и о штудиях Бернштейна?

«Именно тогда,— поясняет Каутский,— у Дица возник замысел более крупного научно-популярного труда, который он мог

<sup>42</sup> Aus der Frühzeit des Marxismus. S. 389.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

бы издавать выпусками. Само собой напрашивалось работы трех только что названных авторов объединить под общим заглавием „Предшественники новейшего социализма“ („Die Vorläufer des Neueren Sozialismus“). Чтобы труд этот сделать полным, нужны были еще лишь две работы — о Кампанелле и о „коммунизме иезуитов“ („Jesuitenkommunismus“) в Парагвае. Их взял на себя Лафарг. Больше мы никого сотрудничать над этим томом не приглашали. Энгельса, который это сотрудничество все равно бы решительно отклонил, тоже не пригласили. Ведь он был еще целиком поглощен изданием III тома „Капитала“ и жаловался на каждую помеху этой работе. Тем более не было причины держать от него в тайне все начинание. О том, что Бернштейн и я над этим работали, он знал, а работы о зарождении французского социализма, которые Линдеман опубликовал в „Neue Zeit“, были ему, конечно, также известны. Что же здесь было держать в тайне? Уж не участие ли в работе Лафарга?»<sup>45</sup>.

Действительно, в ту пору Энгельс был очень занят рукописями Маркса, относящимися к III тому «Капитала». Действительно, Энгельс отказывался от важных и заманчивых предложений ради главной работы. Об этом было широко известно. Каутский бьет здесь наверняка. Да и письма, им же опубликованные, подтверждают, что тогда значила для Энгельса работа над III томом «Капитала».

«И вот мы,— пишет Каутский,— по крайней мере Бернштейн и я, работая над „Предшественниками“, на месте не стояли. Диц одновременно договорился с Мерингом о написании „Истории немецкой социал-демократии“. Она должна была выйти как продолжение „Предшественников“. Совпадение во времени всех этих отдельных очерков из истории социализма навело в конце концов Бернштейна, как и меня, на мысль: труд, возникший в результате случая, планомерно расширить и стимулировать дальнейшие работы, дабы в конце концов прийти к „Общей истории социализма в отдельных очерках“. Эта мысль не была *предпосылкой* нашей работы над „Предшественниками“ и работы Меринга над его „Историей немецкой социал-демократии“. Она была их *результатом*. План у нас созрел лишь тогда, когда моя часть в „Предшественниках“, которой должен был открываться этот том, близилась уже к завершению.

Как только этот план был принят, мы поспешили его обнародовать: поспешность требовалась, ибо мы находились тогда уже непосредственно перед выходом в свет первого выпуска „Предшественников“. Еще перед публикацией нашего проспекта, т. е. сразу же после того, как мы пришли к нашему плану,

<sup>45</sup> Ibid. S. 390.

Бернштейн рассказал о нем Энгельсу. Правда, Энгельс, как кажется, заметил, что когда „милейший Эде“ заговорил об этом деле, то „со смущением и растерянностью, приличествуемыми при более неблаговидном поступке“<sup>46</sup>.

Достаточно подробный рассказ о том, как возникла «История социализма», Каутский завершает цитатой из письма Энгельса. Но сделано это с единственной целью: показать, что Энгельс якобы заблуждался. Каутский разражается каскадом риторических вопросов: «Но почему „милейший Эде“ должен был быть смущен и растерян? Разве не было бы прямо-таки идиотским желание сохранить в тайне от Энгельса план, который сами же мы несколько недель спустя опубликовали? И для чего утаивание? Чтобы отстранить Энгельса от участия в работе? Это стремление было бы не только жестоким вероломством, но и вдобавок безграничной глупостью. Да и по какой причине могли бы мы желать, чтобы Энгельс не помогал нам в создании „Истории социализма“? Что могло бы быть для нас ценнее при ее написании, чем его сотрудничество?»<sup>47</sup>.

Все эти красноречивые обороты искусно подводят читателя к мысли, которая тоже высказана поначалу в вопросительной форме: не изменила ли Энгельсу память? Каутский поясняет: «Он (Энгельс.—A. Ш.) будто бы заметил у Бернштейна „смущение“ и „растерянность“. Не ошибка ли тут памяти? Писал мне об этом Энгельс 21 мая 1895 г. Однако наш проспект „Истории социализма в отдельных очерках“ появился еще в августе 1894 г. Бернштейн, естественно, должен был говорить Энгельсу о нашем плане раньше. Следовательно, самое позднее в июле. Круглым счетом год прошел, следовательно, между этим эпизодом и высказываниями Энгельса в его последнем письме»<sup>48</sup>.

Указания на даты и подчеркнутый Каутским значительный срок — от разговора Энгельса с Бернштейном до письма, где о нем впервые и единожды упомянуто,— все должно подкрепить мысль: отнюдь не реальными событиями, связанными с изданием «Истории социализма», объясняется выраженное Энгельсом недовольство.

«Удивительно,— продолжает Каутский,— что Энгельс в течение всего этого года во всех своих письмах ко мне не дал заметить ни малейшей горечи относительно причиненной ему, по его мнению, обиды, не сделал он на это даже и легчайшего намека. Более того, еще в своем письме от 25 марта 1895 г. он

<sup>46</sup> Ibid. S. 390—391.

<sup>47</sup> Ibid. S. 391.

<sup>48</sup> Ibid.

занял благожелательную позицию по отношению к нашей „Истории социализма“. Ведь вообще не в характере Энгельса было замыкаться в молчании и таить обиду. Все, что его тяготило, он имел обыкновение сразу же высказывать. Если бы он и на сей раз поступил так же, то ему сразу бы стало ясно, что дела обстояли совсем иначе, чем он их воспринял»<sup>49</sup>.

Это «ложное восприятие» Каутский относил за счет постороннего «внушения» и тяжелой болезни Энгельса. Ни словом Каутский не упомянул здесь прежней своей жены. Но каждый, кто внимательно читал предыдущие страницы его публикации, знает предложенный Каутским ракурс: Луиза-де, словно злой дух, использовала свое присутствие в доме у Энгельса, чтобы любыми путями восстанавливать его против бывшего мужа. Схема эта проводится очень настойчиво.

Чтобы несколько смягчить тягостное впечатление, которое может вызвать у читателей такого рода объяснение, Каутский восклицает: «Ужасно подумать, что в последние дни Энгельса к страшнейшим физическим мукам могло прибавиться еще и столь мрачное состояние духа, что у него могли появиться сомнения в искренности и верности учеников и друзей, чью безграничную привязанность к нему никто не в силах пре-взойти»<sup>50</sup>.

Но патетическая концовка не убеждает. Письмо Энгельса, несмотря на горькие строки, проникнуто такой ясностью мысли и таким благожелательством к людям, чье поведение по отношению к нему было достаточно странным, что все оправдания Каутского цели не достигают. Контраст между этими двумя документами столь разителен, что Каутский начинает вызывать недоверие. Однако он приводит факты, даты, подробно рассказывает о том, как была задумана и писалась «История социализма в отдельных очерках». Каутский настойчиво подталкивает читателя к мысли, что большой Энгельс неоправданно бурно реагировал на давнишние события.

Но, помимо собственного истолкования всей этой истории, Каутский сообщает ряд сведений, которые могут быть проверены. Действительно, он давно занимался истоками социализма, выпустил книжку о Томасе Море, интересовался Мюнцером. Об этих его занятиях Энгельс знал и относился к ним с одобрением<sup>51</sup>. Действительно, Линдеман напечатал ряд статей о французских социалистах XVIII в. в «Neue Zeit» под псевдонимом К. Гого, как это удается установить по библиографическим указателям

<sup>49</sup> Ibid. S. 391—392.

<sup>50</sup> Ibid. S. 392.

<sup>51</sup> Briefwechsel. S. 328—329.

к журналу<sup>52</sup>. Особенno важна для нас дата, которую Каутский называет без всяких колебаний, дата опубликования проспекта — август 1894 г.

Нам удалось разыскать этот проспект: он подписан 15 августа 1894 г. В нем говорилось, что четырехтомная «История социализма в отдельных очерках» охватит социалистические движения от их зарождения до настоящего времени. Первый том — под редакцией Бернштейна и Каутского — посвящен предшественникам социалистов конца XVIII — первой половины XIX в.

«Современный социализм,— гласил проспект,— начинается с Томаса Мора. Однако представлялось необходимым рассмотреть и более ранние проявления сознательного коммунизма, т. е. сознательного стремления упразднить отрицательные последствия частной собственности путем введения общности имуществ, рассмотреть в той степени, в какой они („более ранние проявления сознательного коммунизма“.— А. Ш.), засвидетельствованные историей, влияли на развитие современных социалистических идей. Исследование же общественных форм первобытного коммунизма глубокой древности остается за рамками этой „Истории“»<sup>53</sup>.

Каждый том (объемом примерно в 40 печатных листов) будет издаваться выпусками. Каждый выпуск (2 печатных листа) будет выходить раз в две недели и стоить 20 пфенигов<sup>54</sup>.

Проспект этот печатался на обложках отдельных выпусков «Истории социализма», а также, с некоторыми сокращениями, в социал-демократической прессе. Например, в берлинской еженедельной газете «Sozialdemokrat», где он был опубликован 30 августа 1894 г.<sup>55</sup>

Итак, не подлежит никакому сомнению, что проспект «Истории социализма в отдельных очерках» был опубликован в августе 1894 г. Каутский, выходит, совершенно прав, когда назвал этот месяц?

\* \* \*

Книга Каутского «Из ранней истории марксизма» надолго предопределила, по крайней мере для тех читателей, которые не сомневались в надежности публикации, круг представлений, связанных с последним письмом Энгельса к Каутскому и созданием «Истории социализма в отдельных очерках».

Однако второе издание книги Каутского, предпринятое его сыном Бенедиктом, существенно изменило картину. Б. Каутский

<sup>52</sup> Wurm E. General-Register des Inhalts der Jahrgänge 1883 bis 1902 der «Neuen Zeit»... Stuttgart, 1905. S. 40.

<sup>53</sup> Der Sozialdemokrat. 1894. N 31. 30. Aug.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

не только пополнил публикацию новооткрытыми документами Энгельса, но и впервые предал гласности многие письма своего отца к Энгельсу<sup>56</sup>.

Прежде, когда было известно лишь небольшое число писем Каутского к Энгельсу, читатели зачастую вынуждены были принимать на веру многое из того, что в своих «поясняющих» воспоминаниях утверждал Каутский-публикатор. Теперь, когда увидели свет и другие, прежде не публиковавшиеся письма Каутского, круг фактических данных заметно расширился и, самое главное, стали возможны контрольные сопоставления.

Мы помним, что многое в письме Энгельса от 21 мая 1895 г. Каутский объяснял его «забывчивостью» и якобы неоправданно резкой реакцией на давние события. Но как ни старался Каутский выдвинуть на первый план соображения, связанные с будто бы ошибочным представлением Энгельса о «странной таинственности», которой было окружено возникновение «Истории социализма», концы не очень-то сходились с концами. Из письма Энгельса видно, что возмутило его не столько воспоминание о прошлом, сколько новое предложение: Энгельс должен был взять на себя «Историю Интернационала», чтобы помочь Каутскому и Бернштейну выпутаться из затруднительного положения<sup>57</sup>.

В этом суть того, почему именно тогда Энгельс и заговорил об обстоятельствах возникновения «Истории социализма». Ее-то, эту суть, Каутский и попытался упрятать в хитроумное примечание<sup>58</sup>, делая упор на другое. Собственное письмо Каутского, о содержании которого он «почти забыл» в 1935 г., когда публиковал свою книгу, не оставляет на сей счет никаких сомнений. Трудности с продолжением «Истории социализма», особенно с той ее частью, где речь должна была идти об Интернационале, вынудили Каутского обратиться к Энгельсу.

«Сообщение о твоей программе работы<sup>59</sup>, — читаем в его письме от 6 мая 1895 г., — я воспринял, как уже писал тебе в открытке, с величайшим интересом, и именно не только как марксист, что само собой разумеется, но и как один из редакторов „Истории социализма“. Мне пришла смелая идея предложить тебе выпустить твою работу о Марксе и Интернационале как часть „Истории социализма“. IV том должен охватить его новейшую историю в различных странах (за исключением Германии). Служить введением к ней должна история Интернационала. Есте-

<sup>56</sup> Briefwechsel. S. XI—XII.

<sup>57</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 398.

<sup>58</sup> Briefwechsel. S. 436.

<sup>59</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 368—369.

ственno, что она тесно соприкасается с историей социалистического движения в отдельных странах и повторов не избежать. Но это не причина, чтобы отказаться от специального раздела о Международном Товариществе Рабочих. Его внутренняя история, история Генерального совета и конгрессов и т. д. должна излагаться отдельно. Эта внутренняя история в существеннейших чертах не что иное, как история деятельности Маркса с начала 60-х до начала 70-х годов. Этот период, следовательно, полностью покрывается тем, что ты хочешь написать, и твоя работа совершенно свободно вошла бы в рамки нашей «Истории». К тому же ты — единственный, кто имеет необходимый материал, и было бы прямо-таки смешно, если бы мы кому-то другому доверили работу, о которой знаем, что делаешь ее ты»<sup>60</sup>.

Тон Каутского достаточно красноречив. Прежде, когда следовало, как он считал, обойтись без Энгельса, так и поступили. Когда же тупик стал очевиден, в обращении к Энгельсу увидели единственный выход. Каутский конкретизировал предложения, словно согласие Энгельса у него уже было: «Думаю, что существует лишь *единственная* серьезная причина, которая могла бы помешать твоему участию в „Истории социализма“,— необходимость уложиться в определенный срок. III том выйдет сразу же теперь после I (осенью), весной — II и осенью следующего года должна быть представлена рукопись IV тома. Это, конечно, очень короткий срок для такой работы, не говоря уже о том, что ты, вероятно, вообще не имеешь никакой охоты связывать себя определенным сроком. Но об этом можно было бы подумать. Весь труд в руках у нас так растет, что всю историю новейшего (*neuesten*) социализма мы вряд ли сможем вместить в один том. Твоя история Международного Товарищества Рабочих будет, вероятно, столь значительна по объему, 25—30 листов, что сама может составить том.

Итак, „Историю Международного Товарищества Рабочих“ выделим в отдельный том, IV, а из остального сделаем V том. Тогда после II появится V том, а после него — IV. Этот мог бы выйти весной 1897 г., пожалуй, еще позже, ибо нет нужды, чтобы тома выходили подряд и непрерывно. IV том как самостоятельная работа увидит свет именно тогда, когда будет готов.

Сейчас мы должны лишь знать, можем ли рассчитывать, что получим вообще в обозримое время сочинение об этой важнейшей и труднейшей части истории новейшего социализма, и можем ли мы обещать его читателям. Все другие важные части уже находятся в работе, лишь только для МТР мы не могли никого найти. Я ведь сам, как ты, вероятно, помнишь, имел намерение

<sup>60</sup> Briefwechsel. S. 431—432.

написать историю МТР, но продвинулся как раз настолько, что понял: она не может быть удовлетворительно написана на основании уже опубликованного в газетах, брошюрах и т. д. наличного материала»<sup>61</sup>.

Чувство меры изменило Каутскому. Предлагать Энгельсу писать ответственнейший раздел истории социализма, с которым они сами не могли справиться, писать после того, как его с самого начала отстранили от обсуждения даже замысла издания, да еще аргументировать это тем, что не нашли никого другого и необходимые материалы есть лишь у него одного,—не слишком ли это и впрямь «смелая идея»? Каутский понял, что необходимо взять другой тон: «Я испытал бы огромную радость, если бы мы могли присовокупить твое имя к именам авторов „Истории социализма“, которая в самом деле не что иное, как коллективная работа всей марксистской школы, и должна показать, на что та способна. Было бы отлично, если бы и ты был в этом с нами».

Достаточно выразительная оценка «Истории социализма» сменилась снова конкретными предложениями: «Разумеется, с Эде ты можешь обсудить дело так же хорошо, как и со мной, разумеется также, что о твоих намерениях я не сообщу третьим лицам, прежде чем ты не дашь определенно на это разрешения. Дело идет не о том, чтобы тут же объявить *urbi et orbi* о твоем согласии взять на себя историю Интернационала, а лишь о том, чтобы придать нам уверенность, что история МТР для нашего начинания будет тобою написана. Этим ты не берешь на себя никаких обязательств закончить работу к определенному сроку, а лишь одно: как только ее закончишь, ты представишь свою рукопись в наше распоряжение, естественно, на твоих условиях, о которых мы непременно приедем легко к соглашению»<sup>62</sup>.

Знакомство с этим письмом показывает всю нарочитость того, что в 1935 г. Каутский вспомнил и что «забыл». Одно это заставляет отнести к воспоминаниям Каутского, «комментирующим» письма Энгельса, с особой осмотрительностью и проверять, по возможности, даже те факты, которые на первый взгляд представляются вполне достоверными. В этом мы еще более убедимся, сопоставив комментарий Каутского к письму Энгельса от 21 мая с тем, что, отвечая Энгельсу, он на самом деле писал. А писал Каутский 25 мая 1895 г. следующее: «Дорогой Генерал!»<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Ibid. S. 432.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Так в шутку друзья называли Энгельса.

Вопреки твоему желанию считать дело исчерпанным, я должен еще раз к нему вернуться, поскольку ты исходишь из совершенно ошибочных предпосылок. Я глазам своим не верил, когда читал твое письмо, ибо если бы твои предпосылки были верны, то Бернштейн и я были бы двумя непорядочными, равно как и глупыми, простофиями, которые ищут себе подобного.

К счастью для нас, дело обстоит иначе. Идея „Истории“ созрела у нас зимой 1893/94 г., когда ты с головой был занят работой над III томом („Капитала“.—A. Ш.) и даже свою корреспонденцию, как ты мне писал, сократил до предела. После III тома, решил я по твоим более ранним признаниям, настанет черед IV. Следовательно, работа, которой ты будешь отдавать свои силы, на обозримое время определена. При таких обстоятельствах мне и Эде, вероятно, тоже — вопрос этот мы даже никогда и не поднимали — и во сне не снилось привлечь тебя сотрудничать в „Истории“. Я должен был бы ждать, что ты ответишь мне язвительным смехом: уж не думаю ли я, что наша „История“ важнее, чем наследие Маркса? Если тут и было неуважение, то не неуважение к твоей персоне или к твоим работам, а к нашему начинанию в сравнении с задачами, которые ты себе поставил.

Говоря откровенно, мне и теперь не пришло бы в голову приглашать тебя сотрудничать, если бы ты не развел передо мной своего плана работы на ближайшее время. Только тогда, когда я увидел, что твоей ближайшей целью является не IV том, а Маркс и Интернационал, мне пришла идея, что твоя работа как раз то, в чем мы нуждались, и что вообще возможно заполучить тебя для нашего дела. Думаю, моя позиция в этом вопросе столь проста и очевидна, что мне не следует развивать ее дальше»<sup>64</sup>.

Итак, мотивы «неприглашения» объяснены заботой о самом же Энгельсе.

«А теперь о нашем стремлении делать из всего тайну. Какую цель могли бы мы этим преследовать? — продолжает Каутский.— И как мог я, хотя бы один миг, надеяться сохранить в тайне от тебя то, о чем я вел переписку с Зорге, Бебелем, Адлером<sup>65</sup>, Лафарром, Лабриолой, Плехановым?

Тебе, правда, прямо я об этом не писал просто потому, что привык: известия, представляющие общий интерес, которые я направлял Эде, рассматривать как направленные тебе тоже. Предполагая, что Эде сообщает тебе о моих письмах, я и в данном случае считал это тем более само собой разумеющимся, что Эде говорил с тобой о нашей «Истории», поскольку он принимал

<sup>64</sup> Briefwechsel. S. 438.

<sup>65</sup> Речь идет о Викторе Адлере, австрийском социал-демократе.

в деле точно такое же участие, как и я сам. Я твердо был убежден, что он с тобой обсудил дело, и лишь из твоего письма узнаю, что этого не было.

Молчание Эде кажется мне, конечно, поразительным, но я все же слишком хорошего мнения о нем, чтобы допустить и малейшую возможность того, что это молчание надо отнести на счет желания сохранить дело в тайне от тебя.

Какие основания или обстоятельства сделали Эде немым, над этим я не хочу долго ломать голову. Прошу у тебя позволения сообщить ему о твоем письме, дабы узнать, какие мотивы им тогда руководили»<sup>66</sup>.

Мы обратим здесь внимание не на легкость, с которой Каутский перекладывал вину на плечи человека, считавшегося его ближайшим другом, а на удивительную выдержку Энгельса. Как бы глубоко ни задела его вся эта история, он никогда сам не поднимал этой темы. Выслушал путаные объяснения Бернштейна, ничего не сказал Каутскому. И только когда тот, много времени спустя, приобретенный его реакцией, сделал ему достаточно бес tactное предложение, Энгельс позволил себе высказать. Но и на этот раз возмутило его не столько воспоминание о прошлом («Вы поставили меня перед свершившимся фактом: „История социализма“ без моего сотрудничества. С этим фактом я с самого начала, не протестуя, согласился»), сколько расчет Каутского на то, что он, Энгельс, и в этой ситуации должен помочь им «выпутаться из затруднительного положения». Не будь этого предложения, мы, быть может, никогда бы и не узнали, как Каутский с Бернштейном «обошли» Энгельса. И исследователи, рассматривая «Историю социализма в отдельных очерках», были бы, вероятно, вынуждены ограничиться тем, что хотел внушить читателям Каутский: эта-де книга писалась при благожелательном внимании Энгельса и с учетом его советов.

Но вернемся к тому, как, оказавшись в весьма двусмысленном положении, Каутский оправдывался перед Энгельсом: «Наше поведение частично объясняется тем, как мы пришли к „Истории“. Она возникла не по твердому плану, а в результате ряда *faits accomplis*, которые гнали нас вперед.

Осенью 1893 г. Диц приобрел ряд биографий французских социалистов 40-х годов, которые он первоначально хотел опубликовать в „Jacob“<sup>67</sup>. Потом ему пришла идея сделать из этого отдельный томик. Я посоветовал ему, ради полноты, побудить Эде написать биографию Прудона, которая отсутствовала,

<sup>66</sup> Briefwechsel. S. 439.

<sup>67</sup> «Der wahre Jacob: Illustriertes humoristisch-satirisches Monatsblatt» — социал-демократический журнал, издававшийся в Штутгарте и Берлине в 1884—1933 гг.

а у Плеханова взять биографии Сен-Симона и Фурье. Я знал, что Плеханов работает над Сен-Симоном. Затем явился Линдеман и предложил мне первоначально для „*Neue Zeit*“ ряд биографий французских социалистов XVIII столетия. Эде предложил мне тогда „Лилбёрна“ Спарлинг<sup>68</sup> для „*Neue Zeit*“. Это натолкнуло меня на идею расширить сборник до компендиума французского и английского социализма — от Мора до Луи Блана и Прудона — в виде сборника биографий. Я привлек к этому Эде, но мы проектировали все еще скорее компиляторский труд, маленький том. Тем временем об этом от Дица узнал Бебель, и Диц сообщил мне, что Бебель готов сотрудничать. Кроме того, при дальнейшем размышлении мы пришли к выводу, что биографическая форма не годится, и лишь теперь у нас начали вырисовываться идеи „Истории социализма“ и расширяться задачи сотрудников, которые собирались вместе столь случайно,—мы оба, Плеханов и Линдеман»<sup>69</sup>.

Заметим, как существенно даже эта часть рассказа отличается от того, чем была сопровождена публикация письма Энгельса. Прежде всего дата. Уже с осени 1893 г. вопрос о возможном издании по истории социализма обсуждался не только между Каутским, Бернштейном и Дицем — Бебель тоже об этом знал. Энгельсу Каутский не пишет (как сделает 40 лет спустя), будто в самом начале были уже почти готовые работы Каутского о Мюнцере, Бернштейна об Английской революции, Линдемана о зарождении социалистической мысли во Франции. Бернштейну, согласно первоначальному замыслу, поручалась биография Прудона, а сам Каутский, судя по всему, должен был писать о Море, поскольку сюжеты ограничивались лишь французским и английским социализмом. Энгельс ведь знал, чем и когда занимались Бернштейн и Каутский. О Томасе Мюнцере, естественно, ни слова.

«Однако вся история оставалась еще весьма туманной,— продолжает Каутский,— когда Диц неожиданно придал ей четкие очертания. В один прекрасный день зимой 1894 г. (думаю, это было в январе) Диц явился из Берлина с вестью о том, что, во-первых, Меринг пишет историю немецкой социал-демократии, во-вторых, он (Диц.—*A. Ш.*) нашел форму нашему начинанию: это должен быть многотомный труд, который включит в себя „Историю“ Меринга и будет выходить отдельными выпусками. Но, во-втрех, сообщил он, Шёнланк замышляет подобное же дело, и необходимо его опередить, т. е. сейчас же опубликовать план всего труда.

<sup>68</sup> Г. Спарлинг — дочь Уильяма Морриса.

<sup>69</sup> Briefwechsel. S. 439.

Времени для раздумий не оставалось, я должен был на собственный страх и риск, не имея возможности спросить хотя бы Эде, решать, можем ли мы пойти на это. И как только я принял положительное решение, тут же был набросан и опубликован предварительный проспект, дабы воспрепятствовать любой конкуренции. Сам Эде был удивлен этой публикацией. С нами произошло то же самое, что у Эде с его „Лассалем“<sup>70</sup>. Чтобы зарождающуюся конкуренцию подавить в зародыше, мы должны были выступить прежде времени, еще до того, как дело назрело. Никому сие не было тягостней, чем мне, ибо я должен был писать первые выпуски, и, когда мы приступили к набору, у меня ничего не было готово, кроме нескольких глав, задуманных в качестве введения к компендиуму, которые я теперь несколько расширил, как и раздел о подмастерьях — он был готов еще в 1890 г., поскольку должен был служить введением к моему «Мюнцеру». Я полагал, что работа будет легче, чем она была, думал, что у меня весь материал собран, и лишь во время писания я понял, сколь многое мне еще не хватало»<sup>71</sup>.

Мы опять подчеркнем, насколько иначе излагал Каутский происшедшее самому Энгельсу, чем будущим читателям своей публикации. К «Мюнцеру» было написано, оказывается, лишь введение.

«История возникновения нашей „Истории“, — резюмировал Каутский, — вообще, стало быть, необычная. Как в „Тетушке Розмарин“<sup>72</sup>, сначала появляется младенец, затем происходит венчание и напоследок — влюбленность. Так и у нас все шло наоборот: сначала появились сотрудники, затем публикация проспекта, и лишь потом принялись мы вырабатывать твердый план. Диц рассеивал мои сомнения, говоря, что предварительный проспект не содержит никаких обязательств. Мы могли бы наш план еще сто раз изменить. Кроме того, план двух томов (III вообще нас не касается) был предопределен составом сотрудников, которых мы приняли и чьи доли незаметно и постепенно из отдельных биографий выросли в целые разделы»<sup>73</sup>.

Настораживает странное расхождение в датах, которое обнаруживается при сопоставлении двух версий. Когда все-таки был опубликован проспект? В самом начале 1894 г., как, казалось бы, явствует из того, что Каутский поведал Энгельсу, или лишь в августе, как уверял он позже?

<sup>70</sup> Публикацию речей и писем Лассалля Бернштейн был вынужден готовить в большой спешке, поскольку в социал-демократической прессе слишком поторопились объявить об этом издании. См.: Vorwärts: Berliner Volksblatt. 1891. N 110.

<sup>71</sup> Briefwechsel. S. 440.

<sup>72</sup> Речь идет о новелле Гейнриха Чокке (1771—1848).

<sup>73</sup> Briefwechsel. S. 441.

«Выйдем ли мы за пределы 1848 г.,— объяснял Каутский Энгельсу,— тогда еще не было твердо установлено: когда мы объявили о IV томе, то сделали это лишь с тем, чтобы обеспечить себе право на него. Год назад, когда я в Лондоне говорил с тобой об этом, Диц не принял еще относительно издания этого тома твердого решения. Кроме того, задания по ведущим странам были и здесь сразу же распределены: само собой разумелось, что Зорге возьмет на себя Америку, Лафарг — Францию, Плеханов — Россию, Адлер<sup>74</sup> — Австрию. Что Эде возьмет Англию, кажется мне желательным хотя бы ради непрерывности, поскольку он занимается ею в I и во II томах. Относительно других стран мне еще не все ясно, но с ними спешки нет, время еще терпит, и я отложил решение до следующего международного конгресса, где я смогу лично вести переговоры с людьми, после того, как с тобой и с Эде я об этом побеседовал»<sup>75</sup>.

Из слов Каутского видно, что в конце мая 1894 г. или первой половине июня, во время своего пребывания в Лондоне, он обсуждал с Энгельсом вопрос о IV томе. А как же прежнее уверение Каутского, будто Энгельс узнал о замышляемом издании от Бернштейна и самое позднее — в июле? Подчеркнем еще раз: и Энгельс, и Каутский свидетельствуют, что не Каутский, а именно Бернштейн сообщил Энгельсу о задуманном издании. Энгельс тогда уже знал об этом и через третьих лиц, и по печатному проспекту. Вынужденное признание «милейшего Эде» предшествовало приезду Каутского в Лондон.

«Единственное в IV томе,— оправдывается Каутский,— что причиняло мне головную боль, был Интернационал, как еще в прошлом году я объяснял тебе в Лондоне. И за эту тему нужно вскоре браться, работа эта — дело нелегкое. Если бы я имел представление, что ты сам в ближайшее время будешь заниматься этой темой, я бы, разумеется, просил тебя об этом еще год назад. Уже тогда я говорил Дицу, что ты единственный, кто может это сделать. Диц даже полагал, что я должен тебя к этому побудить. Я объявил идею смехотворной в силу приведенных выше причин: пока III и IV тома („Капитала“.— A. Ш.) не выйдут, об этом нечего и думать.

Конечно, если ты воспринимаешь дело иначе, веришь, что мы хотели тебя исключить и только теперь ввести с черного хода и использовать в качестве „дублера“, тогда ты имеешь полное право отказаться от всякого участия в нашем начинании. Я, конечно, должен смириться с твоим заявлением, что твой отказ окончен, однако об одном прошу тебя: не считай меня столь

<sup>74</sup> Здесь имеется в виду Виктор Адлер.

<sup>75</sup> Briefwechsel. S. 440—441.

мелочным, глупым и вульгарным, каким я был бы, если бы твои предположения соответствовали действительности. За Эде я не должен говорить. Он, вероятно, в состоянии сделать это сам»<sup>76</sup>.

Правда, в конце письма Каутский привел еще один пример «молчаливости Эде»: речь шла о событиях самого последнего времени, о планах реорганизации еженедельника «Neue Zeit», о которых тоже, видимо, Бернштейн в известность Энгельса не поставил. Это как бы еще раз подтверждало мысль: в «утаиваниях» виноват именно Бернштейн, хотя и отмечалось, что его «молчаливость может иметь и другие причины, чем желание что-то от тебя утаить»<sup>77</sup>.

Письмо Каутского от 6 мая 1895 г., в ответ на которое Энгельс разразился известными нам горькими и гневными строками, дает много интересных сведений и совершенно опровергивает предположение о возможной достоверности выдвинутой Каутским версии. Хотя Каутский в комментарии к публикации 1935 г. настойчиво уверял, будто Энгельс узнал о задуманной «Истории социализма» незадолго до издания проспекта (август 1894 г.), хотя мы разыскали этот проспект и убедились в правильности его датировки, новые сведения, почерпнутые из этого письма, заставляют прийти к неоспоримому выводу: Энгельс действительно знал об «Истории социализма» еще до того, как августовский проспект был опубликован. Вопрос о IV томе этого издания он обсуждал с Каутским во время его пребывания в Лондоне. Каутский на самом деле был там недолго в начале июня 1894 г., если не ранее<sup>78</sup>. Он трижды упомянул об этом в письме к Энгельсу от 6 мая 1895 г., упоминал и прежде<sup>79</sup>.

Что же выходит? Пусть Каутский в 1935 г. ошибся, полагая, что Бернштейн рассказал Энгельсу об их замысле самое позднее в июле, но главное в его утверждении оказывается правильным? Энгельс, несомненно, знал о готовившемся издании еще до публикации проспекта в августе. Но с каких пор? И какова здесь роль Бернштейна? Энгельс писал, что «милейший Эде» сделал свое запоздалое признание *после* издания проспекта, а Каутский уверял, что это случилось *до* опубликования проспекта. Кого же подвела память?

Мы уже обратили внимание на ту осмотрительность, с которой Каутский излагает происшедшее Энгельсу. Ему-то ведь не предложишь версию, где по собственной воле «передвинешь» события, как это легко сделать для мало осведомленных чита-

<sup>76</sup> Ibid. S. 441.

<sup>77</sup> Ibid. S. 442.

<sup>78</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 216, 218.

<sup>79</sup> Briefwechsel. S. 402.

телей 40 лет спустя. Энгельс сам в определенной степени — участник событий, ему, оправдываясь, можно предложить собственное их толкование, да и то с оглядкой. Каутский осторожно говорит о «предварительном проспекте», публикация которого в силу известных Энгельсу обстоятельств должна предшествовать по крайней мере лондонской беседе, состоявшейся в начале июня. Но ведь проспект, вне всякого сомнения, был датирован Дицем 15 августа!

Значит, Каутский вводит читателей в заблуждение, «сдвигая» события ко времени издания этого проспекта, когда Энгельс имел в виду другой, значительно более ранний проспект, тот, который в письме к нему сам Каутский осторожно назвал «предварительным».

Убежденность в том, что не «память изменила», как утверждал Каутский, тяжело больному Энгельсу, а что должен был существовать более ранний проспект, чем августовский, как вытекало теперь из слов Энгельса, помогла нам разыскать и этот проспект.

Если в письмах Энгельса к Каутскому, кроме известных нам — от 25 марта и 21 мая 1895 г., нет, на первый взгляд, никаких упоминаний об «Истории социализма», то в письмах Каутского к Энгельсу они должны были быть. Именно в то время, когда появился в печати первый, «предварительный» проспект. Вспомним, что Энгельсу Каутский писал не об августе, а о поре, непосредственно следующей за январем, если не о самом январе.

Естественно, что искать этот проспект надо прежде всего в социал-демократической прессе. Каутский редактировал еженедельник *«Neue Zeit»*, который издавал Диц. И вот там в № 18 (передовая датирована 24 января 1894 г.), на последней странице в разделе «Почтовый ящик» мы находим искомое. На запрос читателя из Гамбурга, существует ли обобщающая история развития общества, написанная с позиций материалистического понимания истории, редакция ответила, что такого труда еще нет, но издательство Дица давно его готовит. «Однако еще перед этой „Историей“ тем же самым издательством будет выпущена „История социализма и рабочего движения“, которая рассчитана на четыре тома. Первый том должен охватить период до Французской революции, второй — от начала Великой революции до революции 1848 г. и ее последних отголосков. Третий том представит историю немецкой социал-демократии до наших дней, четвертый — историю социализма и рабочего движения за пределами Германии с начала 60-х годов до наших дней. Каждый том будет самостоятельным целым. Первый том, издаваемый под редакцией Бернштейна и Каутского, появится уже в течение

этого года, так же как и третий том, написанный Францем Мерингом»<sup>80</sup>.

Этот первый *предварительный* проспект был напечатан в таком же виде (лишь без слов, относившихся к гамбургскому читателю) и в только что начавшей выходить еженедельной берлинской газете «Sozialdemokrat»<sup>81</sup>.

Дольше молчать уже было нельзя. Теперь, когда перед глазами Энгельса, как и других подписчиков «Neue Zeit», лежало объявление, гласившее, что уже в нынешнем году первый том «Истории социализма и рабочего движения» выйдет в свет, надо было как-то объяснять свое молчание. И должен был это сделать Каутский, как логично предположить, в письме к Энгельсу, написанному вскоре после обнародования предварительного проспекта. Так оно и было.

«О нашей „Истории социализма“ и об удивительном способе, как она возникла и росла, Эде, вероятно, тебе уже рассказывал,— писал Каутский Энгельсу 7 февраля 1894 г.— Теперь же я начинаю испытывать некоторый страх перед задачей, за которую мы взялись. Каждый шаг вперед открывает мне новые темы и новые трудности. Но мы не имели возможности долго раздумывать. Каплей, которая переполнила чашу и положила конец моей нерешительности, было сообщение, полученное Дицем, что Георг Адлер намеревается издать „Историю социализма“. Его, однако, мы должны опередить. Он не только подорвал бы нам сбыт, но и распространил бы в массах собственное представление вместо нашего. Теперь, когда мы опубликовали наш план, он, пожалуй, призадумается<sup>82</sup>. Во всяком случае перед читателями он нас не опередит»<sup>83</sup>.

Каутский неспроста упомянул о готовившейся Георгом Адлером «Истории социализма», которую надо было оставить позади: к воззрениям Г. Адлера Энгельс относился более чем критично<sup>84</sup>.

Энгельс, находившийся по нездоровью в Истборне, ответил Каутскому кратко — открыткой. Своего отношения к затее с «Историей социализма» он не выразил. И если бы не сопоставление с вопросом, заданным Каутским, то и единственный абзац, касающийся «Истории социализма», нетрудно было бы проглядеть<sup>85</sup>.

<sup>80</sup> Die Neue Zeit. 1894. N 18. S. 579.

<sup>81</sup> Der Sozialdemokrat. 1894. N 3. 17. Febr.

<sup>82</sup> Георг Адлер от замысла своего не отказался, хотя реализация его и затянулась. См.: Adler G. Geschichte des Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart. Leipzig, 1899. Bd 1: Bis zur Französischen Revolution.

<sup>83</sup> Briefwechsel. S. 400.

<sup>84</sup> См., например: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 176, 321, 323.

<sup>85</sup> Briefwechsel. S. 400, 401.

Письма Каутского, изданные его сыном, показывают, как относился составитель книги «Из ранней истории марксизма» к своему долгу публикатора. Карл Каутский был озабочен не тем, чтобы предельно точно рассказать о событиях, упоминаемых в письмах, а тем, чтобы представить документы в выгодном для себя свете. А для этого было пущено в ход многое: и замалчивание одних фактов, и «примысливание» других (вроде июльского объяснения Бернштейна с Энгельсом), и произвольное их смещение. При таком подходе к источнику ничего не стоило и из самого документа изъять при публикации наиболее «невыгодную» часть. Мы видели, как это делалось на примере с первоначальной публикацией письма Энгельса от 21 мая 1895 г.

Коль скоро мы, пользуясь лишь частью опубликованных документов, в том числе письмами самого Каутского, социал-демократической прессой тех лет, смогли восстановить историю того, как осуществлялся замысел «Истории социализма в отдельных очерках», то Каутский, даже если многого и не помнил, куда с большей легкостью, надо думать, воскресил бы при желании забытое.

Каутский не только «подправлял» события, чтобы доказать якобы необоснованность упреков Энгельса по его адресу. Он пытался создать у читателей ложное представление о последних неделях жизни Энгельса. Это, среди прочего, служило и освещению дела, в котором он чувствовал себя уязвленным: в отстранении его от обязанностей одного из тех, кому было доверено литературное наследие Энгельса<sup>86</sup>.

В мае 1895 г. Энгельса возмутило вовсе не воспоминание о том, как его «обошли», когда приступали к «Истории социализма». Это было давно, и с этим было покончено. Его возмутила беззастенчивость Каутского, который теперь как ни в чем не бывало рассчитывал на его помощь.

Энгельс отнюдь не притязал на то, чтобы выступать соавтором в столь поспешном начинании. Поражало то, что люди, выдававшие себя за его учеников, действовали у него за спиной, долго скрывали свои планы и поставили его в известность лишь тогда, когда через третьих лиц из опубликованного проспекта он уже знал о готовящемся издании. Ему даже не предложили в нем участвовать. Участие вовсе не подразумевает непременно авторскую работу. Для издания не менее важны были бы рекомендации Энгельса, касающиеся как структуры всего труда, так и выявления основных линий. Ведь именно с самого начала его советы и его помощь могли бы принести существенную пользу.

<sup>86</sup> Ibid. S. 445—457.

«Из всех людей на свете,— повторим слова Энгельса,— тогда был лишь один,— это я могу сказать наверняка,— сотрудничество которого в этом деле казалось совершенно необходимым, и это был я. Я могу даже сказать, что без моей помощи в подобной работе в настоящее время неизбежны ошибки и пробелы»<sup>87</sup>.

Действительно, ошибок и пробелов в «Истории социализма» оказалось достаточно.

Главным для всего начинания, и об этом надо постоянно помнить, были бы именно советы и рекомендации Энгельса. Поэтому ссылки Каутского на чрезвычайную загруженность Энгельса не более чем попытка оправдаться. К советам Генерала прибегали—и здесь не думали о его чрезмерной занятости,—когда многое нельзя уже было изменить, но уже после того, как поставили его перед свершившимся фактом. Каутский советовался с ним о названии труда<sup>88</sup>, сетовал, что не мог использовать его работу о первоначальном христианстве<sup>89</sup>. Более того, по просьбе Бернштейна Энгельс читал корректуры отдельных написанных им глав<sup>90</sup>—здесь опять не думали о его времени,—но читал тогда, когда первые выпуски «Истории социализма» были уже изданы. Именно в ту пору Каутский сожалел о том, что постыдился присыпать ему корректуры собственных разделов. Однако сетования были высказаны, когда первый полутом уже доставляли подписчикам<sup>91</sup>.

Вникая в детали всех этих событий, трудно избавиться от впечатления, что Каутский, вопреки уверениям, постоянно ставил Энгельса перед свершившимся фактом. Характерна, к примеру, история с освещением первоначального христианства. По плану Каутского, в первом томе «Истории социализма» целая глава отводилась «раннехристианскому коммунизму». Каутский знает, что Энгельс готовит к изданию давно им написанную статью «К истории первоначального христианства»<sup>92</sup>. Он сообщает Энгельсу, что с нетерпением ждет эту статью, чтобы использовать ее при работе над «Историей социализма», над главой о раннем христианстве, которую ему предстоит написать. Он хотел, находясь в Лондоне, попросить ее у Энгельса для прочтения, но в сутолоке тех дней забыл. Теперь, продолжает Каутский, он надеется скоро получить эту статью, дабы привлечь для консультаций<sup>93</sup>.

<sup>87</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 397.

<sup>88</sup> Briefwechsel. S. 400.

<sup>89</sup> Ibid. S. 402.

<sup>90</sup> Ibid. S. 423.

<sup>91</sup> Ibid.

<sup>92</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 465—492.

<sup>93</sup> Briefwechsel. S. 402.

Ровно через месяц он написал Энгельсу, что, получив ее, прочел с наслаждением и очень сожалеет, что собственная его глава о христианстве в «Истории социализма» уже напечатана. Ему, уверял Каутский, важно знать, как Энгельс расценивает их расхождения<sup>94</sup>.

Вежливость соблюдена, полагающиеся слова сказаны, но — всесилен случай! — Энгельс опять поставлен перед свершившимся фактом.

Эта тактика Каутского, вероятно, с самого начала и лежала в основе событий, связанных с замыслом «Истории социализма» и его осуществлением. Каутский сам, заметим, многоократно говорил о роли случая, о труде, порожденном случаем, и целом ряде поразительных совпадений.

Мы помним многочисленные риторические вопросы Каутского: ради чего они с Бернштейном стали бы устранять Энгельса от участия в «Истории социализма»? Разве в их интересах было не приглашать его сотрудничать? Разве существовали причины таиться от него?

Но мы помним и чеканные слова Энгельса: «У вас, следовательно, должно быть, были очень веские основания для того, чтобы исключить именно меня»<sup>95</sup>.

Каковы же могли быть эти «очень веские основания», толкнувшие Каутского и Бернштейна на обман человека, коего в ту пору они объявляли своим учителем?

И то, как развертывались события, и то, как их позже толковал Каутский, и то, главное, какое представление об истории социализма составило стержень книги,— все заставляет думать, что у Каутского и Бернштейна были основания до поры до времени скрывать от Энгельса свой замысел. Ведущая роль принадлежала здесь Каутскому. И если он не хотел, чтобы Энгельс с самого начала участвовал в работе, иначе говоря, возглавил ее, то не просто потому, что стремился сам задавать тон. Он, на наш взгляд, хотел и добился того, чтобы в основу издания была положена его собственная концепция возникновения социализма.

Если Энгельс считал, что по своей теоретической форме «современный социализм» выступает сначала только как дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII в.<sup>96</sup>, то Каутский уже в гуманистах начала XVI в. видел людей, способных создать теоретический социализм<sup>97</sup>. Каутский прямо утверждал, что «современный

<sup>94</sup> Ibid. S. 405—406.

<sup>95</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 397.

<sup>96</sup> См.: Там же. Т. 20. С. 16, 18. Cp.: Anti-Dühring. S. 396.

<sup>97</sup> Kautsky K. Thomas More und seine Utopie. S. 222.

социализм начинается с „Утопии“ Мора<sup>98</sup>. Разница как-никак в 300 лет!

Это расхождение не ограничивается, конечно, хронологическими соображениями, а важно по существу. Для Энгельса возникновение социализма есть историческая закономерность, связанная с совершенно определенным этапом развития противоположности между рабочими и капиталистами. В том-то и была, по Энгельсу, одна из великих заслуг материалистического понимания истории, что социализм «стал рассматриваться не как случайное открытие того или другого гениального ума, а как необходимый результат борьбы двух исторически образовавшихся классов — пролетариата и буржуазии»<sup>99</sup>.

Насколько различны были оценки Томаса Мора Энгельсом и Каутским, ясно из того, что Энгельс, видя в Море лишь одного из авторов «утопических изображений идеального общественного строя», появившихся в XVI—XVII вв., не причислил изложенное в «Утопии» учение к «уже прямо коммунистическим теориям». Впервые такие теории были созданы Морелли и Мабли<sup>100</sup>, принадлежавшими к числу великих французских просветителей<sup>101</sup>. Однако их теории были лишь первой формой проявления нового учения<sup>102</sup>. В ту пору пролетариат как сложившийся класс еще не существовал.

Даже творцы «собственно социалистических и коммунистических систем»<sup>103</sup>, Сен-Симон, Фурье и Оуэн, эти подлинные «основатели социализма»<sup>104</sup>, выступили со своими проектами, когда состояние капиталистического производства было незрелым — «незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории»<sup>105</sup>. Во Франции и во времена Сен-Симона, подчеркивал Энгельс, противоположность между буржуазией и пролетариатом находилась еще только в процессе возникновения<sup>106</sup>.

В капиталистическом развитии Англия, бесспорно, опережала Францию, но разве в такой степени, чтобы можно было утверждать, будто коммунистические представления автора «Утопии» порождены капитализмом? «Коммунизм Мора,— писал Каутский,— это ни платоновский и ни христианский коммунизм, а современный, и вырос он из капитализма»<sup>107</sup>.

<sup>98</sup> Die Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen. Erster Band. S. 466.

<sup>99</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 208—209.

<sup>100</sup> См.: Там же. С. 191.

<sup>101</sup> См.: Там же. Т. 20. С. 16, 18.

<sup>102</sup> См.: Там же. Т. 19. С. 191.

<sup>103</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 455.

<sup>104</sup> См.: Там же. Т. 19. С. 191, 194.

<sup>105</sup> См.: Там же. С. 194.

<sup>106</sup> См.: Там же. С. 195.

<sup>107</sup> Kautsky K. Thomas More und seine Utopie. S. 335.

Здесь уместно вспомнить слова Маркса о том, что «так называемое первоначальное накопление есть не иное, как исторический процесс отделения производителя от средств производства. Он представляется „предысторией капитала и соответствующего ему способа производства»<sup>108</sup>.

Каутский приписывал Мору заслугу, которой у него не было и не могло быть: автор «Утопии» проник якобы в суть капиталистического способа производства<sup>109</sup> и начертал свой идеал в результате глубокого понимания сущности экономических тенденций своей эпохи<sup>110</sup>.

Как видим, оценка Каутским роли «Утопии» в истории социалистической мысли существенно отличается от оценки, которую давал ей Энгельс: он вовсе не считал, что «современный социализм начинается с „Утопии“ Мора».

Вполне вероятно, что эти расхождения выявились уже несколько лет назад, когда в 1887 г. Энгельс читал книгу Каутского «Томас Мор и его утопия». Если это так, то тогда многое в поведении Каутского становится более понятным.

Готовя журнальную публикацию «Из последних писем Энгельса», Каутский склонен был, разумеется, всячески подчеркивать те положительные моменты, которые Энгельс находил в «Предшественниках»: читатель должен был уверовать, что книга писалась с одобрения Энгельса и с учетом его советов. «Вы можете радоваться, что написали книгу, которую не стыдно показать даже сейчас...» Мы не будем впадать в другую крайность и делать упор на второй половине фразы: «...когда имеется всего лишь, так сказать, первоначальный набросок». Надо, указывал Энгельс, продолжать исследование, чтобы через несколько лет подготовить издание, «отвечающее всем требованиям»<sup>111</sup>.

Так или иначе, но «История социализма в отдельных очерках» нуждается в объективной научной оценке. Сделать это тем более необходимо, что издание оказало известное влияние на советскую историографию социалистических учений в период ее становления. Отдельные стороны изложенной там концепции истории социализма и по сей день дают о себе знать в некоторых наших публикациях. Более того, без обстоятельного анализа «Истории социализма в отдельных очерках» осложняется не только историографическая работа по целостному рассмотрению различных концепций развития утопического социализма и создание нового

<sup>108</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 727.

<sup>109</sup> Kautsky K. Thomas More und seine Utopie. S. 219.

<sup>110</sup> Ibid. S. 340.

<sup>111</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 400.

коллективного труда по истории социалистических учений, но и, что особенно важно, определение самой структуры такого труда. Расценивать «Историю социализма в отдельных очерках» как произведение, написанное с полного одобрения Энгельса и с учетом его советов,— значит совершать ошибку, чреватую осложнениями.

Привлекая внимание исследователей социалистической мысли к новым материалам, которые здесь разбирались, надеемся, что они будут содействовать более четкому разграничению между взглядами Энгельса, касающимися возникновения социализма, и взглядами авторов названного издания.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

\*

Завершая книгу, можно посвятить ее последние страницы либо обобщению выводов, либо наметить определенные перспективы исследований, связанные с необходимостью дальнейшей разработки рассмотренных проблем. Мы предпочтем некий средний путь, дабы, с одной стороны, не докучать читателю повторением изложенного, а с другой — не оставлять ощущение известной недосказанности.

В книге немало говорилось о том, что и почему Маркс и Энгельс не считали утопическим социализмом (или коммунизмом). Однако в наши дни, когда новоявленные политологи, понимающие под «плюрализмом» прежде всего торжество принципа «кто во что горазд», который легко позволяет безответственно подменять знание предмета пленительной свободой самовыражения, все с большей страстью спорят о признаках «социалистичности» и хулят либо превозносят разные «модели» ее воплощения. Мы не станем рассуждать о тех, кто в самой идее социализма не видит ничего, кроме утопичности. Нас, признаемся, больше заботили и заботят историки и философы, которые не удосуживались подчас вникнуть в смысл высказываний Маркса и Энгельса, на коих обильно ссылались, а повторяли расхожие стереотипы.

Итак, что же такое социализм, социализм, чуть ли не с момента своего возникновения проявившийся в различных формах? Ясно, что если существовали разные виды социализма и все они были, несомненно, законнорожденными, поскольку являли собой ответ разных классов на сложившуюся тогда обстановку в передовых странах Европы, то нельзя одно течение утопического социализма превозносить как единственное подлинное, а все другие оптом объявлять ложными, нежизнеспособными, обреченными на скорую смерть. Если, помимо критически-утопического социализма, существовал и буржуазный социализм, и феодальный, то нам следует задуматься не над отличительными особенностями различных его течений, а прежде всего над тем, что их объединяет — над самим понятием «социализм».

Здесь нам мало помогут и самые тонкие этимологические разыскания<sup>1</sup>, и ссылки на появление в периодике слов «коммунист»

<sup>1</sup> В названной выше книге Ганса Мюллера собран огромный материал, однако анализ его далеко не всегда отличается объективностью.

и «социалист»<sup>2</sup>. Перед нами историческая реальность: к моменту создания «Манифеста Коммунистической партии» существовало несколько разновидностей социализма. В «Манифесте» нет фразы, которая бы давала определение общему понятию «социализм», поэтому у наших обществоведов не было и подходящей цитаты, избавившей бы их от сколастических поисков «критериев социалистичности» тех или иных доктрин.

Однако читатель «Манифеста» не был брошен его авторами на произвол судьбы, правда, они переоценили степень понятливости многих своих грядущих истолкователей. Социализм как учение<sup>3</sup> — это учение о необходимости преодоления отрицательных последствий победы капиталистического способа производства. Представители различных классов и социальных слоев по-разному воспринимали установление новых производственных отношений и поэтому по-своему понимали социализм и его задачи.

Уже на заре капитализма многие люди почувствовали на себе его ужасающие стороны. Вспомним хотя бы об огораживаниях в Англии. Так, может быть, правы все-таки те, кто относит зарождение социализма к XVI в.? В «Манифесте» дан совершенно четкий ответ. Процитируем отрывок, которому, на наш взгляд, уделяли обычно слишком мало внимания: «Социалистическая и коммунистическая литература Франции, возникшая под гнетом господствующей буржуазии и являющаяся литературным выражением борьбы против этого господства, была перенесена в Германию в такое время, когда буржуазия там только начала свою борьбу против феодального абсолютизма»<sup>4</sup>.

Подчеркнем: социализм и коммунизм<sup>5</sup> появляются как выражение борьбы против *господства* буржуазии, под *гнетом* такого господства. Эта мысль подтверждается также при характеристике «феодального социализма» и «мелкобуржуазного социализма»<sup>6</sup>. Обе эти разновидности социалистической литературы выражают борьбу соответствующих классов против буржуазии, их нежелание смириться с понесенным поражением или ухудшающимися условиями жизни<sup>7</sup>. Отсюда их стремление вернуться к утраченному положению, их реакционность.

<sup>2</sup> Немало примеров, почерпнутых из прессы, читатель найдет в той же книге.

<sup>3</sup> Не будем упускать из виду, что для Маркса и Энгельса социализм, как и коммунизм, прежде всего фактически существующее движение, а не просто доктрина.

<sup>4</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 451.

<sup>5</sup> Излишне повторять, что «аскетический коммунизм», а тем паче предшествующие ему призывы к общности имущества относятся к более раннему этапу истории общественной мысли, хотя их отголоски слышались не только в середине XIX в., но и значительно позже.

<sup>6</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 448—451.

<sup>7</sup> См.: Там же. С. 448—449.

Но стремление избавить сложившееся, буржуазное, общество от присущих ему недугов разделяли не только представители так или иначе ущемленных классов. Среди победившей буржуазии стали появляться идеологи, которые хотели упрочить ее господство, сделав его менее взрывоопасным за счет приглушения революционных настроений пролетариата и ослабления его ненависти к капиталистическим отношениям. Этот вид социализма создатели «Манифеста» назвали «консервативным, или буржуазным», отметив и другую его «более практическую форму», когда рабочему классу внушают выгодность отказа от революционной борьбы ради мирного улучшения материальных условий<sup>8</sup>.

В последней, третьей, главе этого раздела «Манифеста» речь шла о «критически-утопическом социализме и коммунизме». Выше мы достаточно говорили о ее первых двух абзацах. Сейчас обратим внимание лишь на одну интересную подробность: первые попытки пролетариата непосредственно осуществить собственные классовые интересы терпели крушение из-за неразвитости самого пролетариата и из-за «отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи»<sup>9</sup>. Здесь есть над чем задуматься. Похоже, что приход «буржуазной эпохи» знаменует не просто ниспровержение феодального общества, а скорее — появление материальных условий освобождения пролетариата, иными словами, крупной промышленности.

Поскольку к социалистической литературе отнесены произведения различных видов социализма, страстное неприятие авторами «Манифеста» идей Бабёфа все еще остается одной из не выясненных до конца загадок. Тем более, что в Марковом наброске плана третьей главы особый пункт был посвящен «критически-утопической литературе», который развертывался так: «Системы Оуэна, Кабе, Вейтлинга, Фурье, Сен-Симона, Бабёфа»<sup>10</sup>.

По ходу осуществления замысла из шести создателей систем в тексте сохранились только Сен-Симон, Фурье и Оуэн. Остальные в лучшем случае подразумевались в сокращении «и т. д.». Кабе был косвенно упомянут в сердитых словах о «маленькой Икарии»<sup>11</sup>. Однако наибольшему развенчанию подвергся Бабёф, он был выведен из числа создателей систем, а его сочинения оказались исключенными из критически-утопической литературы, т. е. их принадлежность к критически-утопическому коммунизму была перечеркнута.

<sup>8</sup> См.: Там же. С. 453—454.

<sup>9</sup> Там же. С. 455.

<sup>10</sup> Там же. Т. 42. С. 365.

<sup>11</sup> См.: Там же. С. 457.

О причинах этой перемены можно только гадать. Предположение о влиянии на текст «Манифеста» сложной обстановки в Союзе коммунистов, вызванной ростом грубоуравнительных тенденций среди вейтлингианцев и бабувистов, позволительно высказать, но из-за нехватки документов нельзя доказать.

Тем с большим вниманием надо отнести к догадке, объясняющей перемену в статусе Бабёфа не столько реакционным — в теоретическом плане — содержанием написанного им, сколько уточнением исходного принципа: принадлежность сочинений Бабёфа к революционной литературе не оспаривается, оспаривается их принадлежность к произведениям критически-утопического коммунизма.

Мы настолько привыкли подчеркивать полнейшее единомышление Маркса и Энгельса, что и слабая попытка указать на какое-то конкретное расхождение в их точках зрения прежде немедленно встречала отпор и квалифицировалась как вражеское пополнование «вбить клин» и т. д. Поэтому совместно написанные работы подчас воспринимались так, словно были сочинены одним автором. Даже когда публикаторы, обладая необходимыми материалами, указывали, кому принадлежит та или иная часть сочинения, многие, цитируя, предпочитали по обыкновению отмечать: «как писали основоположники марксизма».

Понятно, сколь сложно пытаться установить «личный вклад» каждого из соавторов, когда рукописи не сохранились, а подготовительные материалы почти полностью отсутствуют, особенно если речь идет о таком важном документе, как «Манифест Коммунистической партии».

Тем не менее выскажем несколько соображений. Сравнительное изучение «Проекта коммунистического символа веры», «Принципов коммунизма» Энгельса и наброска Маркса, их сопоставление с текстом «Коммунистического манифеста» позволяет прийти к выводу, что первоначальное разделение социалистов<sup>12</sup> на три категории принадлежало Энгельсу. Позже Маркс записал мысль о трех разновидностях социализма. Причем если первую категорию социалистов Энгельс называет «реакционными социалистами», а вторую — «буржуазными», отмечая стремление последних сохранить буржуазное общество, то Маркс в своем наброске прямо пишет о реакционном социализме и буржуазном социализме, уточняя в «Манифесте»: «консервативный, или буржуазный, социализм»<sup>13</sup>.

Расхождение возникает, когда надо найти определение третьей категории социалистов. Энгельс предлагал «демократи-

<sup>12</sup> См.: Там же. Т. 4. С. 337: «Так называемые социалисты...»

<sup>13</sup> См.: Там же. Т. 42. С. 365; Т. 4. С. 453.

ческих социалистов». Маркса это не удовлетворило, он ищет другое название, и хотя начатый ряд: «реакционный социализм», «консервативный»... как бы подсказывает — «прогрессивный» (или «демократический»?), он предпочитает другой вариант. Набросок фиксирует: «критически-утопическая литература», в «Манифесте» — «критически-утопический социализм и коммунизм»<sup>14</sup>.

Необходимо отметить, что еще задолго до того, как в конце XIX в. среди изучавших историю социалистических идей появилась прямо-таки страсть вычерчивать «генеалогические древа» социализма и множить его «ветви», придумывая им новые названия, нечто подобное существовало и на заре его истории. Приведем для иллюстрации один пример. Карл Грюн в 1845 г. писал о всходах, появившихся из «семенной коробочки» сенсимонизма: «Он содержит [в себе] демократический социализм, который в нынешние дни поднимает голос и в палате депутатов; сенсуалистический социализм благодаря своей эманципации женщин; сенсуалистический коммунизм как самое настоящее последствие этой эманципации; религиозный социализм благодаря своему призыву к новой вере и новому папе; политэкономический социализм, ибо он сам сначала социализировал политическую экономию; наконец, научный социализм, так как Сен-Симон всю свою жизнь искал новую науку»<sup>15</sup>.

В дальнейшем четкая, хотя и несколько громоздкая, формулировка из «Манифеста» («критически-утопический социализм и коммунизм») претерпела сокращение: стали говорить просто об «утопическом социализме», а иногда и вовсе об «утопизме» как чуть ли не синониме «утопического социализма». Подобная простота запутала тех историков, кто, подбирая подходящие цитаты из высказываний Маркса и Энгельса, давал им такое толкование, которое далеко отходило от смысла подлинника. Ассоциация была навязчивой, но ложной: «утопический социализм» — «утопизм» — «утопия» — «Утопия» Томаса Мора.

Было бы бесполезно рассуждать, насколько в дни создания «Манифеста» понятие «критически-утопический социализм» казалось предпочтительней понятия «демократический социализм», однако обратим внимание на одну существенную деталь: в политическом обиходе давно уже фигурировали и «демократические социалисты», и упреки в утопичности тех или иных проектов.

Для Маркса и Энгельса многие здравые мысли Сен-Симона, Фурье и Оуэна имели еще совершенно утопический характер в силу того, что высказавшие их люди не видели на стороне

<sup>14</sup> См.: Там же. Т. 42. С. 365; Т. 4. С. 455.

<sup>15</sup> Grün K. Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien: Briefe und Studien. Darmstadt, 1845. S. 82.

пролетариата никакой исторической самодеятельности и отвергали всякое революционное действие. Вместе с тем их сочинения «нападают на все основы существующего общества. Поэтому они дали в высшей степени ценный материал для просвещения рабочих»<sup>16</sup>.

Вероятно, не случайно именно этот критический стержень социалистических систем оказался в формулировке «Манифеста» на первом месте. Критика всех основ буржуазного общества — достоинство такого рода социализма, а фантастическое стремление возвыситься над борьбой классов — дань утопическим упованиям.

Постоянно повторяемый тезис об *утопическом социализме* как одном из источников марксизма (или научного социализма) заставлял нередко многих из нас невольно забывать, что речь в действительности идет о *критически-утопическом социализме и коммунизме*. Это тем более важно помнить, поскольку Маркс и Энгельс, когда работали над «Манифестом», еще не называли свое учение научным коммунизмом. Даже в конце октября 1847 г. Маркс писал о «*критическом коммунизме*», о различиях, проводимых Энгельсом «между *утопическими коммунистическими системами и критическим коммунизмом*»<sup>17</sup>. Но в статье Энгельса «Коммунисты и Карл Гейнцен», в защиту которой выступил Маркс, нет ни упоминаний об «*утопических коммунистических системах*», ни о «*критическом коммунизме*». Маркс обобщил содержание того важного отрывка, где речь шла о различном понимании коммунизма. Ошибочно видеть в нем некую *доктрину*, «которая исходит из определенного теоретического принципа, как из своего ядра, и делает отсюда дальнейшие выводы... Коммунизм не доктрина, а *движение*. Он исходит не из принципов, а из *фактов*. Коммунисты имеют своей предпосылкой не ту или иную философию, а весь ход предшествующей истории и, в особенности, его современные фактические результаты в цивилизованных странах. Коммунизм есть следствие крупной промышленности и ее спутников... Коммунизм, поскольку он является теорией, есть теоретическое выражение позиции пролетариата в этой борьбе (с буржуазией.— А. Ш.) и теоретическое обобщение условий освобождения пролетариата»<sup>18</sup>.

Резюме, сделанное Марксом, позволяет лучше оттенить известную генетическую близость марксизма (тогда «*критического коммунизма*») с «*критически-утопическим социализмом и коммунизмом*», чем упоминание в данном контексте просто «*утопического социализма*».

<sup>16</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 455—456.

<sup>17</sup> См.: Там же. С. 320.

<sup>18</sup> Там же. С. 281—282.

Не станем приписывать Марксу и Энгельсу особую скромность, исходя из того обстоятельства, что они не поторопились объявить свое учение «научным социализмом». В ту пору подобные притязания не были редкостью: вернемся к приведенной выше цитате из книги Грюна и добавим, что в сочинении Штейна одна из глав так и называлась — «Всеобщий научный характер социализма», часть же целиком была посвящена Сен-Симону, сенсимонистам и фурьеизму<sup>19</sup>. Да и в «Манифесте» не без иронии говорилось о поисках основателями утопий такой «социальной науки», которая создала бы материальные условия освобождения пролетариата, и о их фанатической вере в ее чудодейственную силу<sup>20</sup>.

Буквальное восприятие мысли о том, что именно утопический социализм был одним из источников марксизма, оказывало на наших историков и философов двоякое влияние: во-первых, прилагательное «утопический» стало мало-помалу утрачивать свои отрицательные черты, нередко вместо «критически-утопического социализма» стали словно синонимом пользоваться выражением «социалистический утопизм», а один автор и вовсе уверял, будто социальный утопизм есть наивысшее выражение общественной мысли, запамятовав, вероятно, о том, что существовали утопии самого ретроградного толка.

Во-вторых, постепенно вызревало противопоставление хорошего «утопического социализма» порочному «ложесоциализму», его разновидностям, «реакционному» и «консервативному». Все сильнее отходила на задний план мысль о том, что этим последним направлениям утопичность присуща<sup>21</sup> еще в большей степени, чем учениям Сен-Симона, Фурье и Оуэна.

В отличие от ранних утопий социализм появился на свет как попытка разрешить «социальный вопрос» (в его первоначальном смысле), т. е. как попытка избавиться от отрицательных последствий промышленной революции и появления пролетариата, ею порожденного.

Осознание того, что привычные общественные связи распадаются, а обострение противоречий уже действительно ввергло мир в «войну всех против всех», грозящую неисчислимыми бедами, заставляло бить в набат и призывать к возрождению «социальности», возрождению чувства «общинности» как единственного надежного противовеса анархии безбрежного эгоизма. Одни стремились спасти собственные интересы, другие — все человечество. Социализм социализму воистину рознь.

<sup>19</sup> Stein L. Op. cit. S. 129.

<sup>20</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 455—457.

<sup>21</sup> См.: Там же. С. 450. Здесь о мелкобуржуазном социализме говорится, что «он одновременно и реакционен и утопичен».

Немало путаницы породил тезис о том, что после появления «Коммунистического манифеста» утопический социализм приказал долго жить. По крайней мере, авторы «Манифеста» так не считали и продолжали яростно бороться с его адептами.

Мы вряд ли бы правильно оценили обстановку, если бы решили, что в прошлые десятилетия у нас процветало изучение «критически-утопического социализма», пусть в ущерб другим направлениям социалистической мысли. При массе прочтенных лекций «про утопический социализм» действительно серьезных исследований было мало. (Лучшими, на наш взгляд, остаются работы А. Р. Иоаннисяна и И. И. Зильберфарба.) Тезис о том, что социализм бывает разным, растолковали так: «разный», т. е. отличный от марксизма, следовательно, «ложный» — нечего оный и изучать, клеймить куда как проще.

Если мы действительно хотим постичь роль социалистических движений и идей в становлении современной Европы, надо основательно исследовать, какие ветви «социалистического древа» и почему принесли плоды, а другие засохли.

В этой книге мы неоднократно высказывались против «расширительного истолкования социализма», когда его родоначальников находят во глубине веков. Но не плодотворней ли будет исследовать идеи современников и ближайших предтеч Сен-Симона, Фурье и Оуэна, этих бесспорных создателей социализма, чтобы понять наконец влияние на судьбы Европы и остальных направлений социалистической мысли? Ведь все они порождены европейской цивилизацией одного и того же периода, периода промышленной революции и появления пролетариата.

Публицисты и политики, обращающиеся с историей собственной страны как с заурядным текстом, написанным мелом на школьной доске, который легко стереть и заменить новым, подчас не довольствуются знаком равенства между «утопией» и «социализмом», а словно наперегонки выискивают самые уничижительные эпитеты, чтобы посильнее «пригвоздить» социализм — «рабовладельческий», «феодальный», «крепостнический», «груборавнительный», «казарменный» и т. д. и т. п.

Однако развал нашей командно-административной системы — вовсе не всемирно-историческое поражение социализма. Тем больше оснований серьезно разобраться в том, что рождало тоталитарные тенденции ряда политических учений и справедливо ли мнение, будто в любой социальной утопии по природе заложено «казарменное» зерно<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> См.: Штекли А. Э. Истоки тоталитаризма: виновен ли Томас Мор? // Анархия и власть. М., 1992.

Будем объективны по отношению к революционерам 1917 г. Их вера в быструю реализацию желанных преобразований имела весьма колоритных предшественников. Вспомним хотя бы Вейтлинга. Это он не уставал говорить о необходимости захватить власть любой ценой и «ввести коммунизм» с помощью гильотины, да еще так, чтобы воплощенная в кратчайший срок общность имущества не позволила бы бывшего богача отличить от пролетария<sup>23</sup>.

«Задумано это было ради беднейших и несчастнейших людей. В первые же гри дня,— полагал Вейтлинг,— надо осуществить такие меры, чтобы ни один человек не мог бы выявить свое движимое, а насколько возможно и недвижимое имущество среди обобществленной собственности (*Gesamteigentum*) и чтобы по внешнему виду никого нельзя было бы распознать, был ли он прежде богат или беден». Революционное нетерпение не давало Вейтлингу покоя. Он постоянно возвращался к той же мысли: «Я не кровопийца. Я хочу, чтобы каждый сохранял свою голову и свою свободу, но взамен отказался бы от собственности, [принаследжающей по праву нам]. Моя крайняя мера заключалась бы в том, чтобы по возможности в 24 часа по всей стране уничтожить все границы собственности, все отличительные черты различных сословий и классов, всю собственность сделать настолько неразличимой, дабы никто впредь не распознал принадлежавшего ему»<sup>24</sup>.

Насколько допустимо насилие<sup>25</sup> и где его границы? Можно ли вбивать обретенную истину, признаваемую спасительной, в людские головы прикладами ружей<sup>26</sup>. Достаточно ли одной воли к захвату власти или все-таки надо считаться с реальными историческими условиями<sup>27</sup>? Или следует во что бы то ни стало завладеть властью, а там соответствующими распоряжениями декретировать «коммунизм» и создавать нового человека как агитационно-пропагандистскими, так и насильственными методами? Что все-таки предпочтительней — диктатура вождя<sup>28</sup> или

<sup>23</sup> Цит. по: *Barnikol E. Weitling der Gefangene und seine «Gerechtigkeit»: Eine kritische Untersuchung über Werk und Wesen des frühsozialistischen Messias.* Kiel, 1929. S: 125—126.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> См.: Союз коммунистов, 1836—1849. С. 76—79; *Der Bund der Kommunisten.* Bd. 1. S. 218—221.

<sup>26</sup> См.: Там же. С. 77; Ibid. S. 220.

<sup>27</sup> См.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 582.*  
<sup>28</sup> Вейтлинг видел в самом себеmessию, призванного освободить человечество. Он грезил о близкой победе коммунистической революции. Декларируя свое отвращение к властованию, он тем не менее убежден, что «наилучшая общность в переходный период может нуждаться лишь в одном руководящем уме. Так было бы и в отношении коммунистов» (*Barnikol E. Op. cit. S. 124*).

завоевание демократии<sup>29</sup>? И не ошибался ли молодой Энгельс, когда, обдумывая возможность бескровной революции<sup>30</sup>, провозглашал: «В наши дни демократия это — коммунизм»<sup>31</sup>.

Глубоки корни и вопроса о переходном периоде к совершенно му «строю общности». Столь ли уж необходим диктатор, как полагали некоторые поборники рабочего коммунизма? Да и во-обще, как осуществить коммунистическую революцию — рассчи-тывать ли на всякий сброд, по замыслу Вейтлинга,— на разбой-ников и проституток, которые умело разграбят собственность богачей и подорвут основу эксплуататорского государства<sup>32</sup>? Или не компрометировать революционное движение ролью та-коего, состоящего из воров, «пролетариата»<sup>33</sup>, по саркастическому замечанию Маркса? Проблема, в самой ее общей форме, стано-вится истинным проклятием многих движений, выступавших под лозунгом свободы и социальной справедливости: оправдывает ли цель средства?<sup>34</sup>

Мы проявили бы излишнее благодушие, если бы стали при-глушать остроту идеиной борьбы, напряженной и продолжитель-ной, которую вынуждены были вести Маркс и Энгельс с различ-ными рецидивами стихийного рабочего коммунизма. И дело тут, разумеется, не в их прежде широко провозглашаемой «постоян-ной правоте» и неизменном торжестве над идеиными противни-ками в рабочем движении. Борьба эта была драматичней и слож-нее, чем мы привыкли думать. Если настаивать на всегдашней бескомпромиссности Маркса и Энгельса, то многие обстоятель-ства в мучительном процессе слияния революционной теории с движением пролетариата удовлетворительно объяснить не уда-ется. Реальная историческая ситуация, случалось, вынуждала Ма-ркса и Энгельса не высказываться в печати против любимых рабочими и ремесленниками лидеров, сколь бы бредовыми ни были их идеологические установки. Один из наиболее разитель-ных тому примеров — их позиция в оценке Вейтлингова проекта использо-вания люмпенов в качестве зачинщиков и главной удар-ной силы грядущей коммунистической революции. И Энгельс, и Маркс знали о его намерениях<sup>35</sup>, но предпочли темы этой не касаться. Почему они решили до поры до времени смотреть

<sup>29</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 332, 446.

<sup>30</sup> См.: Там же. Т. 2. С. 527, 537—538, 543—545, 554.

<sup>31</sup> Там же. С. 599.

<sup>32</sup> Der Bund der Kommunisten. Bd. 1. S. 158—164, 166—167, 218.

<sup>33</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 214.

<sup>34</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 62, 65; Т. 2. С. 406; Der Bund der Kommunisten. Bd. 1. S. 229—230.

<sup>35</sup> См.: Штекли А. Э. Кто назвал Вейтлинга «лидером немецких коммунистов»? // Новые материалы о жизни и деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса и об издании их произведений. М., 1989. Вып. 5.

сквозь пальцы на столь авантюрно-безответственные убеждения Вейтлинга?

Для многих поборников уравнительного рабочего коммунизма была характерна неприязнь ко всякого рода «образованным», к «писательским элементам», даже если те и держались коммунистических воззрений. Эта вражда в особенно трагической форме проявилась во время раскола Союза коммунистов, когда подавляющее большинство его лондонской организации выступило против Маркса и Энгельса: они вместе с восемью сторонниками были исключены из Союза<sup>36</sup>. А ведь это случилось через два с половиной года после обнародования «Манифеста Коммунистической партии»! В 1843—1844 гг.<sup>37</sup>, когда Союза коммунистов еще не существовало, а в Союз справедливых ни Маркс, ни Энгельс не вступили, их, сторонников «философского коммунизма», отношение к первой, «чисто народной» партии немецких коммунистов было достаточно сложным: Вейтлинг являлся ее создателем<sup>38</sup>.

Выяснение того, с каким трудом в начальный период коммунистического движения приходилось преодолевать глубоко укоренившиеся среди мастерового люда примитивно-утопические взгляды, не только показатель интереса к далекому прошлому. Многое, что на протяжении десятилетий мы относили к «пережиткам» и «родимым пятнам капитализма» или, на худой конец, к проявлениям «мелкобуржуазной стихии», было по существу иного социального происхождения: весьма живучие идеи совершенно грубого и неосмыслиенного коммунизма, свидетельствующие о неразвитости самого пролетариата, в лице своих явных и тайных приверженцев пытались взять реванш у научной теории, созданной Марксом и Энгельсом.

Даже беглое перечисление «проклятых вопросов», исстари тяготевших над коммунизмом, показывает, что изучение идейной борьбы, происходившей на первых этапах коммунистического движения, изучение, вызванное настоятельной необходимостью осмыслить, в частности, пережитое нашей страной, далеко не исчерпано существующими работами и может действительно представлять интерес не только для узких специалистов. Пусть история, как уверяют скептики, и ничему не учит людей. Будем надеяться, что, хотя бы иногда, она заставляет их задуматься. Попытки отыскать подлинные истоки «казарменного коммунизма», надо полагать, окажутся небесполезными.

<sup>36</sup> Der Bund der Kommunisten. Bd. 2. S. 722.

<sup>37</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 221.

<sup>38</sup> См.: Там же. Т. 1. С. 379, 443—444, 535—537.

Не сама по себе идея общности, столь милая сердцу античных философов и ревнителей первоначального христианства, породила «казарменный коммунизм», и не создатели утопий XVI—XVII вв. стояли у его колыбели. Он появился после поражения Французской революции, когда на историческую сцену вышли поборники «совершенного равенства», не отягощенные особыми знаниями, но зато обуреваемые неутоленной жаждой навязывать свои идеи силой.

В нескольких местах этой книги мы настойчиво твердили, что социализм возник на заре XIX в., и постоянно ссылались на трех его великих создателей. Начало религий откровения, да и то условно, можно связывать с именами первых законоучителей. Но такое многообразное и сложное явление, каким явился социализм, результат определенной стадии европейской цивилизации, достигавшейся и в наиболее развитых странах совсем не одновременно, не возник в трех, пусть и гениальных, головах.

Быть может, стоит, остановившись на рубеже XVIII и XIX столетий, остыть от полемического задора и внимательно оглядеться окрест?

Книга закончена. Работа продолжается.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	3
Государственные рабы в «бесклассовом обществе» .....	14
Что за равенство без привилегий? .....	34
«Утопия» как выражение социальных чаяний, или Способ «революционизировать» переводы .....	50
Жажда преобразовать природу? .....	76
Томас Мюнцер и Томас Мор .....	94
Карл Каутский, истолкователь «Золотой книжечки» .....	118
«Евдемон» Каспара Штюблина (1555) .....	136
«Аскетический коммунизм» (Морелли и Мабли). .	156
Какую литературу породил Бабёф? .....	182
Левеллеры, исчезнувшие из текста .....	198
Непонятая «предыстория» .....	224
Заключение .....	259

Научное издание

*Издание осуществлено  
при содействии МП «Литера»*

**Штекли Альфред Энгельбертович**  
**УТОПИИ И СОЦИАЛИЗМ**

Утверждено к печати  
Институтом всеобщей истории  
Российской академии наук

Редактор издательства Н. Л. Петрова  
Художник А. А. Кущенко  
Художественный редактор В. Ю. Яковлев  
Технический редактор Н. Н. Кокина  
Корректоры Ю. Л. Косорыгина, Е. Л. Сысоева

ИБ № 147

Л.Р. № 020297  
от 27 ноября 1991 г.

Сдано в набор 07.07.93  
Подписано к печати 27.09.93  
Формат 60 × 84 1/16  
Гарнитура таймс  
Печать офсетная  
Усл. печ. л 15,81. Усл. кр. отт. 16,11. Уч.-изд. л. 18,8.  
Тираж 3000 экз. Тип. зак. 3467.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Наука»  
117864, ГСП-7, Москва, В-485,  
Профсоюзная ул., 90

Санкт-Петербургская типография № 1  
BO «Наука»  
199034, Санкт-Петербург,  
В-34, 9 линия, 12